

Белла Ахмадулина



*Белла
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 3

3

Белла Ахмадулина

Белла
Ахмадулина
СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 3

3



Белла
Ахмадулина
СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 3

*Белла
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ



ПАН • КОРОНА-ПРИНТ
МОСКВА 1997

*Белла
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 3

ПОЭМЫ

ПОЭТИЧЕСКИЕ ПОСВЯЩЕНИЯ

И ДАРСТВЕННЫЕ НАДПИСИ

СТИХИ ДЕТЯМ

ПЕРЕВОДЫ

ИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭЗИИ

ПОЭТ О ПОЭТЕ

СТАТЬИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЯ

РЕЦЕНЗИИ

«ПОСВЯЩЕНИЕ ДАМАМ

И ГОСПОДАМ ...»

ПАН • КОРОНА-ПРИНТ

МОСКВА 1997

УДК 882

СОСТАВЛЕНИЕ
И ПОДГОТОВКА ТЕКСТА
Б.МЕССЕРЕРА
О.ГРУШНИКОВА

КОММЕНТАРИИ
О.ГРУШНИКОВА

ХУДОЖНИК
А.КОНОПЛЕВ

В ОФОРМЛЕНИИ
ИСПОЛЬЗОВАН РИСУНОК
«ГРАММОФОН»
Б.МЕССЕРЕРА

*Издание осуществлено
при финансовой поддержке
коммерческого инновационного банка
«АЛЬФА-БАНК»*



БКК 84 (2Рос-рус)6-5

- © Б. Ахмадулина, 1997
- © Б. Мессерер, О. Грушников.
Составление, 1997
- © О. Грушников. Комментарии, 1997
- © А. Коноплев. Оформление, 1997
- © ООО Издательство «ПАН», 1997



*Белла
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 3

ПОЭМЫ

Хвораю, что ли, — третий день дрожу,
как лошадь, ожидающая бега.
Надменный мой сосед по этажу
и тот вскричал:
— Как вы дрожите, Белла!

Но образумьтесь! Странный ваш недуг
колеблет стены и сквозит повсюду.
Моих детей он воспаляет дух
и по ночам звонит в мою посуду.

Ему я отвечала:
— Я дрожу
всё более — без умысла худого.
А впрочем, передайте этажу,
что вечером я ухожу из дома.

Но этот трепет так меня трепал,
в мои слова вставлял свои ошибки,
моей ногой приплясывал, мешал
губам соединиться для улыбки.

Сосед мой, перевесившись в пролёт,
следил за мной брезгливо, но без фальши.
Его я обнадежила:
— Пролог
вы наблюдали. Что-то будет дальше?

Моей болезни не скучал сюжет!
В себе я различала, взглядом скорбным,

мельканье диких и чужих существ,
как в капельке воды под микроскопом.

Всё тяжелей меня хлестала дрожь,
вбивала в кожу острые гвоздочки.
Так по осине ударяет дождь,
наказывая все ее листочки.

Я думала: как быстро я стою!
Прочь мускулы несутся и резвятся!
Мое же тело, свергнув власть мою,
ведет себя надменно и развязно.

Оно всё дальше от меня! А вдруг
оно исчезнет вольно и опасно,
как ускользает шар из детских рук
и ниточку разматывает с пальца?

Всё это мне не нравилось.
Врачу
сказала я, хоть перед ним робела:
— Я, знаете, горда и не хочу
сносить и впредь непослушанье тела.

Врач объяснил:
— Ваша болезнь проста.
Она была б и вовсе безобидна,
но ваших колебаний частота
препятствует осмотру — вас не видно.

Вот так, когда вибрирует предмет
и велика его движений малость,
он зрительно почти сведён на нет
и выглядит как слабая туманность.

Врач подключил свой золотой прибор
к моим приметам неопределенным,
и острый электрический прибор
охолодил меня огнём зеленым.

Белла Ахмадулина

И ужаснулись стрелка и шкала!
Взыграла ртуть в неистовом подскоке!
Последовал предсмертный всплеск стекла,
и кровь из пальцев высекли осколки.

Встревожся, добрый доктор, оглянись!
Но он, не озадаченный нимало,
провозгласил:
— Ваш бедный организм
сейчас функционирует нормально.

Мне стало грустно. Знала я сама
свою причастность этой высшей норме.
Не уместаясь в узости ума,
плыл надо мной ее чрезмерный номер.

И, многозначной цифрою мытарств
наученная, нервная система,
пробившись, как пружины сквозь матрац,
рвала мне кожу и вокруг свистела.

Уродующий кисть огромный пульс
всегда гудел, всегда хотел на волю.
В конце концов казалось: к черту! Пусть
им захлебнусь, как Петербург Невою!

А по ночам — мозг наострится, ждет.
Слух так открыт, так взвинчен тишиною,
что скрипнет дверь иль книга упадет,
и — взрыв! и — всё! и — кончено со мною!

Да, я не смела укротить зверей,
в меня вселенных, жрущих кровь из мяса.
При мне всегда стоял сквозняк дверей!
При мне всегда свеча, вдруг вспыхнув, гасла!

В моих зрачках, нависнув через край,
слезы светлела вечная громада.
Я — всё собою портила! Я — рай
растлила б грозным неуютом ада.

Врач выписал мне должную латынь,
и с мудростью, цветущей в человеке,
как музыку по нотным запятым,
ее читала девушка в аптеке.

И вот теперь разнежен весь мой дом
целебным поцелуем валерьяны,
и медицина мятным языком
давно мои зализывает раны.

Сосед доволен, третий раз подряд
он поздравлял меня с выздоровлением
через своих детей и, говорят,
хвалил меня пред домоуправлением.

Я отдала визиты и долги,
ответила на письма. Я гуляю,
особо, с пользой делая круги.
Вина в шкафу держать не позволяю.

Вокруг меня — ни звука, ни души.
И стол мой умер и под пылью скрылся.
Уставили во тьму карандаши
тупые и неграмотные рыльца.

И, как у побежденного коня,
мой каждый шаг медлителен, стреножен.
Всё хорошо! Но по ночам меня
опасное предчувствие тревожит.

Мой врач еще меня не уличил,
но зря ему я голову морочу,
ведь всё, что он лелеял и лечил,
я разом обожгу иль обморожу.

Я, как улитка в костяном гробу,
спасаюсь слепотой и тишиною,
но, поболев, пощекотав во лбу,
рога антенн воспрянут надо мною.

Белла Ахмадулина

О звездопад всех точек и тире,
зову тебя, осыпья! Пусть я сгину,
подрагивая в чистом серебре
русалочьих мурашек, жгущих спину!

Ударь в меня, как в бубен, не жалея,
озноб, я вся твоя! Не жить нам розно!
Я — балерина музыки твоей!
Щенок озябший твоего мороза!

Пока еще я не дрожу, о нет,
сейчас о том не может быть и речи.
Но мой предусмотрительный сосед
уже со мною холоден при встрече.

1962

СКАЗКА О ДОЖДЕ
в нескольких эпизодах
с диалогами и хором детей

1

Со мной с утра не расставался Дождь.
— О, отвяжись! — я говорила грубо.
Он отступал, но преданно и грустно
вновь шел за мной, как маленькая дочь.

Дождь, как крыло, прирос к моей спине.
Его корила я:
— Стыдись, негодник!
К тебе в слезах взывает огородник!
Иди к цветам!
Что ты нашел во мне?

Меж тем вокруг стоял суровый зной.
Дождь был со мной, забыв про всё на свете.
Вокруг меня приплясывали дети,
как около машины поливной.

Я, с хитростью в душе, вошла в кафе
и спряталась за стол, укрытый нишей.
Дождь под окном пристроился, как нищий,
и сквозь стекло желал пройти ко мне.

Я вышла. И была моя щека
наказана пощёчиною влаги,
но тут же Дождь, в печали и отваге,
омыл мне губы запахом щенка.

Я думаю, что вид мой стал смешон.
Сырым платком я шею обвязала.

Белла Ахмадулина

Дождь на моём плече, как обезьяна,
сидел.

И город этим был смущен.

Обрадованный слабостью моей,
Дождь детским пальцем щекотал мне ухо.
Сгущалась засуха. Всё было сухо.
И только я промокла до костей.

2

Но я была в тот дом приглашена,
где строго ждали моего привета,
где над янтарным озером паркета
всходила люстры чистая луна.

Я думала: что делать мне с Дождем?
Ведь он со мной расстаться не захочет.
Он наследит там. Он ковры замочит.
Да с ним меня вообще не пустят в дом.

Я толком объяснила: — Доброта
во мне сильна, но всё ж не безгранична.
Тебе ходить со мною неприлично. —
Дождь на меня смотрел, как сирота.

— Ну, черт с тобой, — решила я, — иди!
Какой любовью на меня ты пролит?
Ах, этот странный климат, будь он проклят! —
Прощенный Дождь запрыгал впереди.

3

Хозяин дома оказал мне честь,
которой я не стоила. Однако,
промокшая всей шкурой, как ондатра,
я у дверей звонила ровно в шесть.

Дождь, притаившись за моей спиной,
дышал в затылок жалко и щекотно.
Шаги — глазок — молчание — щеколда.
Я извинилась: — Этот Дождь со мной.

Позвольте, он побудет на крыльце?
Он слишком влажный, слишком удлинённый
для комнат.
— Вот как? — молвил удивлённый
хозяин, изменившийся в лице.

4

Признаться, я любила этот дом.
В нём свой балет всегда вершила лёгкость.
О, здесь углы не ушибают локоть,
здесь палец не порежется ножом.

Любила всё: как медленно хрустят
шелка хозяйки, затенённой шарфом,
и, более всего, пленённый шкафом —
мою царевну спящую — хрусталь.

Тот, в семь румянцев розовевший спектр,
в гробу стеклянном, мёртвый и прелестный.
Но я очнулась. Ритуал приветствий,
как опера, станцован был и спет.

5

Хозяйка дома, честно говоря,
меня бы не любила непременно,
но робость поступить несовременно
чуть-чуть мешала ей, что было зря.

— Как поживаете? (О блеск грозы,
смирённый в слабом горлышке гордячки!)
— Благодарю, — сказала я, — в горячке
я провалялась, как свинья в грязи.

Белла Ахмадулина

(Со мной творилось что-то в этот раз.
Ведь я хотела, поклонившись слабо,
сказать:

— Живу хоть суетно, но славно,
тем более что снова вижу вас.)

Она произнесла:

— Я вас браню.

Помилуйте, такая одаренность!

Сквозь дождь! И расстояний отдалённость! —

Вскричали все:

— К огню ее, к огню!

— Когда-нибудь, во времени другом,
на площади, среди музыки и брани,
мы свидимся опять при барабане,
вскричите вы:

„В огонь ее, в огонь!”

За всё! За Дождь! За после! За тогда!
За чернокнижье двух зрачков чернейших,
за звуки с губ, как косточки черешен,
летающие без всякого труда!

Привет тебе! Нацель в меня прыжок.

Огонь, мой брат, мой пёс многоязыкий!

Лиж мне руки в нежности великой!

Ты — тоже Дождь! Как влажен твой ожог!

— Ваш несколько причудлив монолог, —
проговорил хозяин уязвленный. —
Но, впрочем, слава поросли зеленой!
Есть прелесть в поколенья молодом.

— Не слушайте меня! Ведь я в бреду! —
просила я. — Всё это Дождь наделал.
Да, это Дождь меня терзал, как демон.
Да, этот Дождь вовлёл меня в беду.

И вдруг я увидала — там, в окне,
мой верный Дождь один стоял и плакал.
В моих глазах двумя слезами плавал
лишь след Дождя, оставшийся во мне.

6

Одна из гостей, протянув бокал,
туманная, как голубь над карнизом,
спросила с неприязнью и капризом:
— Скажите, правда, что ваш муж богат?

— Богат ли муж? Не знаю. Не вполне.
Но он богат. Ему легка работа.
Хотите знать один секрет? — Есть что-то
неизлечимо нищее во мне.

Его я научила колдовству —
во мне была такая откровенность, —
он разом обратит любую ценность
в круг на воде, в зверька или траву.

Я докажу вам! Дайте мне кольцо.
Спасем звезду из тесноты колечка! —
Она кольца мне не дала, конечно,
в недоуменье отстранив лицо.

— И, знаете, еще одна деталь —
меня влечет подохнуть под забором.
(Язык мой так и воспялялся вздором.
О, это Дождь твердил мне свой диктант.)

7

Всё, Дождь, тебе припомнится потом!
Другая гостья, голосом глубоким,
осведомилась:
— Одаренных Богом
кто одаряет? И каким путем?

Белла Ахмадулина

Как погремушкой, мной гремел озноб:
— Приходит Бог, преласков и превесел,
немного старомоден, как профессор,
и милостью ваш осеняет лоб.

А далее — летите вверх иль вниз,
в кровь разбивая локти и коленки
о снег, о воздух, об углы Кваренги,
о простыни гостиниц и больниц.

Василия Блаженного, в зубцах,
тот острый купол помните? Представьте —
всей кожей об него!
— Да вы присядьте! —
она меня одернула в сердцах.

8

Тем временем, для радости гостей,
творилось что-то новое, родное:
в гостиную впускали кружевное,
серебряное облако детей.

Хозяюшка, прости меня, я зла!
Я всё лгала, я поступала дурно!
В тебе, как на губах у стеклодува,
явился выдох чистого стекла.

Душой твоей насыщенный сосуд,
дитя твое, отлитое так нежно!
Как точен контур, обводящий нечто!
О том не знала я, не обессудь.

Хозяюшка, звериный гений твой
в отчаянье вседенном и всенощном
над детищем твоим, о, над сыночком
великой поникает головой.

Дождь мои губы звал к ее руке.
Я плакала:

— Прости меня! Прости же!
Глаза твои премудры и пречисты!

9

Тут хор детей возник невдалеке:

— Ах, так сложилось время —
смешинка нам важна!
У одного еврея —
хе-хе! — была жена.

Его жена корпела
над тягостным трудом,
чтоб выросла копейка
величиною с дом.

О, капелька металла,
созревшая, как плод!
Ты солнышком вставала,
украсив небосвод.

Всё это только шутка,
наш номер, наш привет.
Нас весело и жутко
растит двадцатый век.

Мы маленькие дети,
но мы растём во сне,
как маленькие деньги,
окрепшие в казне.

В лопатках — холод милый
и острия двух крыл.
Нам кожу алюминий,
как изморозь, покрыл.

Чтоб было жить не скушно,
нас трогает порой

Белла Ахмадулина

искусствочко, искусство,
ребёночек чужой.

Родителей оплошность
искупим мы. Ура!
О, пошлость, ты не подлость,
ты лишь уют ума.

От боли и от гнева
ты нас спасешь потом.
Целуем, королева,
твой бархатный подол.

10

Лень, как болезнь, во мне смыкала круг.
Мое плечо вело чужую руку.
Я, как птенца, в ладони грела рюмку.
Попискивал ее открытый клюв.

Хозяюшка, вы ощущали грусть
над мальчиком, заснувшим спозаранку,
в уста его, в ту алчущую ранку,
отравленную проливая грудь?

Вдруг в нём, как в перламутровом яйце,
спала пружина музыки согбенной?
Как радуга — в бутоне краски белой?
Как тайный мускул красоты — в лице?

Как в Сашеньке — непробужденный Блок?
Медведица, вы для какой забавы
в детёныше влюбленными зубами
выщелкивали Бога, словно блох?

11

Хозяйка налила мне коньяка:
— Вас лихорадит. Грейтесь у камина. —
Прощай, мой Дождь!

Как весело, как мило
принять мороз на кончик языка!

Как крепко пахнет розой от вина!
Вино, лишь ты ни в чём не виновато.
Во мне расщеплен атом винограда,
во мне горит двух разных роз война.

Вино мое, я твой заблудший князь,
привязанный к двум деревьям склоненным.
Разъединяй! Не бойся же! Со звоном
меня со мной пусть разлучает казнь!

Я делаюсь всё больше, всё добрей!
Смотрите — я уже добра, как клоун,
вам в ноги опрокинутый поклоном!
Уж мне тесно́ средь окон и дверей!

О Господи, какая доброта!
Скорей! Жалеть до слёз! Пасть на колени!
Я вас люблю! Застенчивость калеки
бледнит мне щеки и кривит уста.

Что сделать мне для вас хотя бы раз?
Обидьте! Не жалейте, обижая!
Вот кожа моя — голая, большая:
как холст для красок, чист простор для ран!

Я вас люблю без меры и стыда!
Как небеса, круглы мои объятья.
Мы из одной купели. Все мы братья.
Мой мальчик Дождь! Скорей иди сюда!

12

Прошел по спинам быстрый холодок.
В тиши раздался страшный крик хозяйки.
И ржавые, оранжевые знаки
вдруг выплыли на белый потолок.

Белла Ахмадулина

И — хлынул Дождь! Его ловили в таз.
В него впивались веники и щётки.
Он вырывался. Он летел на щёки,
прозрачной слепотой вставал у глаз.

Отплясывал нечаянный канкан.
Звенел, играя с хрусталем воскресшим.
Но дом над ним уж замыкал свой скрежет,
как мышцы обрывающий капкан.

Дождь с выраженьем ласки и тоски,
паркет марая, полз ко мне на брюхе.
В него мужчины, подымая брюки,
примерившись, вбивали каблуки.

Его скрутили тряпкой половой
и выжимали, брезгуя, в уборной.
Гортанью, вдруг охрипшей и убогой,
кричала я:
— Не трогайте! Он мой!

Дождь был живой, как зверь или дитя.
О, вашим детям жить в беде и мýке!
Слепые, тайн не знающие руки
зачем вы окунули в кровь Дождя?

Хозяин дома прошептал:
— Учти,
еще ответишь ты за эту встречу! —
Я засмеялась:
— Знаю, что отвечу.
Вы безобразны. Дайте мне пройти.

13

Страшил прохожих вид моей беды.
Я говорила:
— Ничего. Оставьте.
Пройдет и это. —

На сухом асфальте
я целовала пятнышко воды.

Земли перекалялась нагота,
и горизонт вокруг города был розов,
Повергнутое в страх Бюро прогнозов
осадков не сулило никогда.

1962

Тбилиси—Москва

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Вычисляя свою родословную, я не имела в виду сосредоточить внимание читателя на долгих обстоятельствах именно моего возникновения в мире: это было бы слишком самоуверенной и несвоевременной попыткой. Я хотела, чтобы героем этой истории стал Человек, любой, еще не рожденный, но как – если бы это было возможно – страстно, нетерпеливо желающий жизни, истомленный ее счастливым предчувствием и острым морозом тревоги, что оно может не сбыться. От сколького он зависит в своей незащищенности, этот еще не существующий ребенок: от малой случайности и от великих военных трагедий, наносящих человечеству глубокую рану ущерба. Но всё же он выиграет в этой борьбе, и сильная, горячая, вечно прекрасная Жизнь придет к нему и одарит его своим справедливым, несравненным благом.

Проверив это удачей моего рождения, ничем не отличающегося от всех других рождений, я обратилась благодарной памятью к реальным людям и событиям, от которых оно так или иначе зависело.

Девичья фамилия моей бабушки по материнской линии – Стопани – была привнесена в Россию итальянским шарманщиком, который положил начало роду, ставшему впоследствии совершенно русским, но всё же прочно, во многих поколениях украшенному яркой чернотой волос и глубокой, выпуклой теменью глаз. Родной брат бабушки, чьё доброе влияние навсегда определило ее судьбу, Александр Митрофанович Стопани, стал известным революционером... Разумеется, эти стихи, упоминающие его имя, скажут о нём меньше, чем живые и точные воспоминания близких ему людей, из коих многие ныне здравствуют.

Дед моего отца, тяжело терпевший свое казанское

сиротство в лихой и многотрудной бедности, именем своим объясняет простой секрет моей татарской фамилии.

Люди эти, познавшие испытания счастья и несчастья, допустившие к милому миру мои дыхание и зрение, представляются мне прекрасными – не больше и не меньше прекрасными, чем все люди, живущие и грядущие жить на белом свете, вершащие в нём непреклонное добро Труда, Свободы, Любви и Таланта.

1

...И я спала все прошлые века
светло и тихо в глубине природы.
В сырой земле, черней черновика,
души моей лишь намечались всходы.

Прекрасна мысль – их поливать водой!
Мой стебелёк, желающий прибавки,
вытягивать магнитную звездой –
поторопитесь, прадеды, прабабки!

Читатель милый, поиграй со мной!
Мы два столетья вспомним в этих играх.
Представь себе: стоит к тебе спиной
мой дальний предок, непреклонный Игрек.

Лицо его пустынно, как пустырь,
не улыбнется, слова не проронит.
Всех сыновей он по миру пустил,
и дочери он монастырь пророчит.

Я говорю ему:
– Старик дурной!
Твой лютый гнев чья доброта поправит?
Я б разминуться предпочла с тобой,
но всё ж ты мне в какой-то мере прадед.

Белла Ахмадулина

В унылой келье дочь губить не смей!
Ведь, если ты не сжалишься над нею,
как много жизней сгинет вместе с ней,
и я тогда родиться не сумею!

Он удивлен и говорит:

— Чур, чур!

Ты кто?

Рассейся, слабая туманность! —

Я говорю:

— Я — нечто.

Я — чуть-чуть,

грядущей жизни маленькая малость.

И нет меня. Но как хочу я быть!

Дождусь ли дня, когда мой первый возглас

опустошит гортань, чтоб пригубить,

о Жизнь, твой острый, бьющий в ноздри воздух?

Возражение Игрека:

— Не дождешься, шиш! И в том

я клянусь кривым котом,

приоткрывшим глаз зловещий,

худобой вороны вёщей,

крылья вскинувшей крестом,

жабой, в тине разомлевшей,

смертью, тело одолевшей,

белизной ее белейшей

на кладбище роковом.

(Примечание автора:

Между прочим, я дождусь,

в чём торжественно клянусь

жизнью вечной, влагой вешней,

каждой веточкой расцветшей,

зверем, деревом, жуком

и высоким животом

той прекрасной, первой встречной,
женщины добросердечной,
полной тайны бесконечной,
и красавицы притом.)

— Помолчи. Я — вечный Игрек.
Безрассудна речь твоя.
Пусть я изверг, пусть я ирод,
я-то — есть, а нет — тебя.
И не будет! Как не будет
с дочерью моей греха.
Как усопших не разбудит
восклицанье петуха.
Холод мой твой пыл остудит.
Не бывать тебе! Ха-ха!

2

Каков мерзавец! Пусть он держит речь.
Нет полномочий у его злодейства,
чтоб тесноту природы уберечь
от новизны грядущего младенца.

Пускай договорит он до конца,
простака недобрый, так и не прознавший,
что уж слетают с отчего крыльца
два локотка, два крылышка прозрачных.

Ах, итальянка, девочка, пра-пра-
прабабушка! Неправедны, да правы
поправшие все правила добра,
любви твоей проступки и забавы.

Поникни удрученной головой!
Поверь лгуну! Не промедляй сомненья!
Не он, а я, я — искуситель твой,
затем, что алчу я возникновенья.

Белла Ахмадулина

Спаси меня! Не плачь и не тяни!
Отдай себя на эту злую милость!
Отсутствуя в таинственной тени,
небытием моим я утомилась.

И там, в моей до-жизни неживой,
смертельного я натерпелась страху,
пока тебя учил родитель твой:
„Не смей! Не знай!” — и по щекам с размаху.

На волоске вишу! А вдруг тверда
окажется науки той твердыня?
И всё. Привет. Не быть мне ни-ко-гда.
Но, милая, ты знала, что творила,

когда в окно, в темно, в полночный сад
ты канула давно, неосторожно.
А он — так глуп, так мил и так усат,
что, право, невозможно... невозможно...

Благословляю в райском том саду
и деревá, и яблоки, и змия,
и ту беду, Бог весть в каком году,
и грешницу по имени Мария.

Да здравствует твой слабый, чистый след
и дальновидный подвиг той ошибки!
Вернется через полтора года лет
к моим губам прилив твоей улыбки.

Но Боговым суровым облакам
не жалуйся! Вот вырастет твой мальчик —
наплачешься. Он вступит в балаган.
Он обезьяну купит. Он — шарманщик.

Прощай же! Он прощается с тобой,
и я прощусь. Прости нас, итальянка!
Мне нравится шарманщик молодой,
и обезьянка не чужда таланта.

Песенка шарманщика:

В саду личинка
выжить старается.
Санта Лючия,
мне это нравится!

Горсточка мусора —
тяжесть кармана.
Здравствуйте, музыка
и обезьяна!

Милая Генуя
нянчила мальчика,
думала — гения,
вышло — шарманщика!

Если нас улица
петь обязала,
пой, моя умница,
пой, обезьяна!

Сколько народу!
Мы с тобой — невидаль.
Стража, как воду,
ловит нас неводом.

Добрые люди,
в гуще базарной,
ах, как вам любы
мы с обезьяной!

Хочется мускулам
в дали летящие
ринуться с музыкой,
спрятанной в ящике.

Ах, есть причина,
всему причина,

Белла Ахмадулина

Са-анта-а Лю-учия,
Санта-а Люч-ия!

3

Уж я не знаю, что его влекло:
корысть, иль блажь, иль зов любви неблизкой —
но некогда в российское село —
ура, ура! — шут прибыл италийский.

(А кстати, хороша бы я была,
когда бы он не прибыл, не прокрался.
И солнцем ты, Италия, светла,
и морем ты, Италия, прекрасна.

Но, будь добра, шарманщику не снись,
так властен в нём зов твоего соблазна,
так влажен образ твой между ресниц,
что он — о, ужас! — в дальний путь собрался.

Не отпускай его, земля моя!
Будь он неладен, странник одержимый!
В конце концов он доведет меня,
что я рожусь вне родины родимой.

Еще мне только не хватало: ждать
себя так долго в нетях нелюдимых,
мужчин и женщин стольких утруждать
рождением предков, мне необходимых,

и не рождаться столько лет подряд, —
рожусь ли? — всё игра орла и решки, —
и вот непоправимо, невпопад,
в чужой земле, под звуки чуждой речи,

вдруг появиться для житья-бытья.
Спасибо. Нет. Мне не подходит это.

Во-первых, я — тогда уже не я,
что очень усложняет суть предмета.

Но, если б даже, чтобы стать не мной,
а кем-то, был мне грустный пропуск выдан, —
всё ж не хочу свершить в земле иной
мой первый вздох и мой последний выдох.

Там и останусь, где душе моей
сулили жизнь, безжизньем истомили
и бросили на произвол теней
в домарксовом, нематерьяльном мире.

Но я шучу. Предупредить решусь:
отвергнув бремя немощи досадной,
во что бы то ни стало я рожусь
в своей земле, в апреле, в день десятый.)

...Итак, сто двадцать восемь лет назад
в России остается мой шарманщик.

4

Одновременно нужен азиат,
что нищенствует где-то и шаманит.

Он пригодится только через век.
Пока ж — пускай он по задворкам ходит,
старьё берёт или вершит набег,
пускай вообще он делает, что хочет.

Он в узкоглазом племени своем
так узкоглаз, что все давались диву,
когда он шел, черно кося зрачком,
большой ноздрёй принюхиваясь к дыму.

Он нищ и гол, а всё ж ему хвала!
Он сыт ничем, живет нигде, но рядом —

Белла Ахмадулина

его меньшей сынок Ахмадулла,
как солнышком, сияет желтым задом.

Сияй, играй, мой друг Ахмадулла,
расти скорей, гляди продолговато.
А дальше так пойдут твои дела:
твой сын Валея будет отцом Ахата.

Ахатовной мне быть наверняка,
явиться в мир, как с привязи сорваться,
и усеченной полумглой зрачка
всё ж выразить открытый взор славянства.

Вольное изложение татарской песни:

Мне скакать, мне в степи озираться,
разорять караваны во мгле.
Незапамятный дух азиатства
тяжело колобродит во мне.

Мы в костре угольки шуровали.
Как врага, я ловил ее в плен.
Как тесно облекли шаровары
золотые мечети колен!

Быстроту этих глаз, чуть косивших,
я, как птиц, целовал на лету.
Семью семь ее черных косичек
обратил я в одну темноту.

В поле — пахарь, а в воинстве — воин
будет тот, в ком воскреснет мой прах.
Средь живых — прав навеки, кто волен,
среди умерших — бессмертен, кто прав.

Эге-гей! Эта жизнь неизбывна!
Как свежо мне в ее ширине!
И ликует, и свищет зазывно,
и трясет бородой шурале.

Меж тем шарманщик странно поражен
лицом рябым, косицею железной:
чуть голубой, как сабля из ножен,
дворяночкой худой и бесполезной.

Бедняжечка, она несла к венцу
лба узенького детскую прыщавость,
которая ей так была к лицу
и за которую ей всё прощалось.

А далее всё шло само собой:
сближались лица, упали руки,
и в сумерках губернии глухой
старели дети, подрастали внуки.

Церквушкой бедной перекрещена,
упрощена полями да степями,
уже по-русски, ударяя в „а”,
звучит себе фамилия Стопани.

О, старина, начало той семьи —
две барышни, чья маленькая повесть
печальная, осталась там, вдали,
где ныне пусто, лишь трава по пояс.

То ль итальянца темная печаль,
то ль этой жизни мертвенная скудость
придали вечный холодок плечам,
что шалью не утешить, не окутать.

Как матери влюбленная корысть
над вашей красотой колдовала!

Шарманкой деда вас не укорить,
придавлена приданым кладовая.

Но ваших уст не украшает смех,
и не придать вам радости приданым.
Пребудут в мире ваши жизнь и смерть
недобрым и таинственным преданьем.

Недуг неимоверный, для чего
ты озарил своею вспышкой белой
не гения просторное чело,
а двух детей рассудок неумелый?

В какую малость целишь свой прыжок,
словно в Помпею слабую — Везувий?
Не слишком ли огромен твой ожог
для лобика Офелии безумной?

Ученые жить скупы да с умом,
красавицы с огромными глазами
сошли с ума, и милосердный дом
их обряжал и орошал слезами.

Справка об их болезни:

„Справка выдана в том...”
О, как гром в этот дом
бьет огнем и метель колесом колесит.
Ранит голову грохот огромный.
И в тон
там, внизу, голоса голоски клавесин.

О, сестра, дай мне льда. Уж пробил и пропел
час полуночи. Льдом заострилась вода.
Остудить моей памяти черный пробел —
дай же, дай же мне белого льда.

Словно мост мой последний, пылает мой мозг,
острый остров сиротства замкнув навсегда.

О Наташа, сестра, мне бы лёд так помог!
Дай же, дай же мне белого льда.

Малый разум мой вырос в огромный мотор,
вкруг себя он вращает людей, городá.
Не распутать мне той карусели моток.
Дай же, дай же мне белого льда.

В пекле казни горю Иоанною д'Арк,
свист зевак, лай собак, а я так молода.
Океан Ледовитый, пошли мне свой дар!
Дай же, дай же мне белого льда!

Справка выдана в том, что чрезмерен был стон
в малом горле.
Но ныне беда —
позабыта.
Земля утешает их сон
милосердием белого льда.

7

Конец столетья. Резкий крен основ.
Волнение. Что там? Выстрел. Мешанина.
Пронзительный русалочий озноб
вдруг потрясает тело мещанина.

Предчувствие серьезной новизны
томит и возбуждает человека.
В тревоге пред-войны и пред-весны,
в тумане вечеряющего века —

мерцает лбом тщеславный гимназист,
и, ширясь там, меж Волгою и Леной,
тот свежий свет так остросеребрист
и так существенен в судьбе Вселенной.

Тем временем Стопани Александр
ведет себя опально и престранно.
Друзей своих он увлекает в сад,
и речь его опасна и пространна.

Он говорит:

— Прекрасен человек,
принявший дар дыхания и зренья.
В его коленях спит грядущий бег
и в разуме живет инстинкт творенья.

Всё для него: ему назначен мёд
земных растений, труд ему угоден.
Но всё ж он бездыханен, слеп и мёртв
до той поры, пока он не свободен.

Пока его хранимый Богом враг
ломает прямизну его коленей
и примеряет шутовской колпак
к его морщинам, выдающим гений,

пока к его дыханию приник
смертельно-душной духотою гóря
железного мундира воротник,
сомкнувшийся вокруг пушкинского горла.

Но всё же он познает торжество
пред вечным правосудием природы.
Уж дерзок он. Стесняет грудь его
желание движенья и свободы.

Пусть завершится зрелостью дерев
младенчество зеленого побега.
Пусть нашу волю обостряет гнев,
а нашу смерть вознаградит победа.

Быть может, этот монолог в саду
неточно я передаю стихами,

но точно то, что в этом же году
был арестован Александр Стопани.

Комментарии жандарма:

— Всем, кто бунты разжигал, —
всем студентам
(о стыде-то
не подумают),
жидам,
и певцу, что пел свободу,
и глупцу, что быть собою
обязательно желал, —
всем отвечу я, жандарм,
всем я должное воздам.

Всех, кто смелостью повадок
посягает на порядок
высочайших правд, парадов, —
вольнодумцев неприятных,
а поэтов и подавно, —
я их всех тюрьмой поражаю
и засов задвину сам.
В чём клянусь верностью Государю-императору
и здоровьем милых дам.

О, распущенность природы!
Дети в ней — и те пророки,
красок яркие мазки
возбуждают все мозги.
Ликовала, оживала,
напустила в белый свет
леопарда и жирафа,
Леонардо и Джордано,
всё кричит, имеет цвет.
Слава Богу, власть жандарма
всё, что есть, сведет на нет.

Белла Ахмадулина

(Примечание автора:

Между прочим, тот жандарм
ждал награды, хлеб жевал,
жил неважно, кончил плохо,
не заметила эпоха,
как подох он.

Никто на похороны
копеечки не дал.)

— Знают люди, знают дети:
я — бессмертен. Я — жандарм.
А тебе на этом свете
появиться я не дам.

Как не дам идти дождям,
как не дам, чтобы в народе
помышляли о свободе,
как не дам стоять садам
в бело-розовом восходе...

8

Каков мерзавец! Пусть болтает вздор,
повелевают вечность и мгновенность —
земле лететь, вершить глубокий вздох
и соблюдать свою закономерность.

Как надобно, ведет себя земля
уже в пределах нового столетья,
и в май маёвок бабушка моя
несет двух глаз огромные соцветья.

Что голосок той девочки твердит
и плечики на что идут войною?

Над нею вновь смыкается вердикт:
„Виновна ли?“ — „Да, тягостно виновна!“

По следу брата, веруя ему,
она вкусила пыль дорог протяжных,
переступала из тюрьмы в тюрьму,
привыкла к монотонности присяжных.

И скоро уж на мужниных щеках
в два солнышка закатится чахотка.
Но есть все основания считать:
она грустит, а всё же ждет чего-то.

В какую даль теперь ее везут
небыстрые подковы Росинанта?
Но по тому, как снег берет на зуб,
как любит, чтоб сверкал и расстился,
я узнаю твой облик, россиянка.
В глазах черно от белого сиянья!
Как холодно! Как лошади несут!

Выходит. Вдруг — мороз ей нов и чужд.
Сугробов белолобые телята
к ладоням льнут. Младенческая чушь
смешит уста. И нежно и чуть-чуть
в ней в полщеки проглянет итальянка,
и в чистой мгле ее лица таятся
движения неведомых причуд.

Всё ждет. И ей — то страшно, то смешно.
И похудела. Смотрит остроносо
куда-то ввысь. Лицо усложнено
всезнающей улыбкой астронома!

В ней сильный пульс играет вкось и вкривь.
Ей всё нужней, всё тяжелей работа.
Мне кажется, что скоро грянет крик
доселе неизвестного ребёнка.

Грянь и ты, месяц первый, Октябрь,
на твоём повороте мгновенном
электричеством бьёт по локтям
острый угол меж веком и веком.

Узнаю изначальный твой гул,
оглашающий древние своды,
по огромной округлости губ,
называющих имя Свободы.

О, три слога! Рёв сильных широт
отворенной гортани!
Как в красных
и предельных объёмах шаров —
тесно воздуху в трёх этих гласных.

Грянь же, грянь, новорожденный крик
той Свободы! Навеки и разом —
распахни треугольный тупик,
образованный каменным рабством.

Подари отпущение мук
тем, что бились о стены и гибли, —
там, в Михайловском, замкнутом в круг,
там, в просторно-угрюмом Египте.

Дай, Свобода, высокий твой верх
видеть, знать в небосводе затихшем,
как бредущий в степи человек
близость звёзд ощущает затылком.

Приближай свою ласку к земле,
совершающей дивную дивность,
навсегда предрешившей во мне
свою боль, и любовь, и родимость.

Ну что ж. Уже всё ближе, всё верней
расчёт, что попаду я в эту повесть,
конечно, если появиться в ней
мне Игрека не помешает происк.

Всё непременно чередом идет,
двадцатый век наводит свой порядок,
подрагивает, словно самолёт,
предслыша небо серебром лопаток.

А та, что перламутровым белком
глядит чуть вкось, чуть невпопад и странно,
ступившая, как дети на балкон,
на край любви, на остриё пространства,

та, над которой в горлышко, как в горн,
дудит апрель, насытивший скворешник, —
нацеленный в меня, прости ей, гром! —
она мне мать, и перемен скорейших

ей предстоит удача и печаль.
А ты, о Жизнь, мой мальчик-непоседа,
спеши вперед и понукай педаль
открывшего крыла велосипеда.

Пусть роль свою сыграет азиат —
он белокур, как белая ворона,
как гончую, его влечет азарт
по следу, вдаль, и точно в те ворота,

где ждут его, где воспринять должны
двух острых скул опасность и подарок.
Округлое дитя из тишины
появится, как слово из помарок.

Я — скоро. Но покуда нет меня.
 Я — где-то там, в преддверии природы.
 Вот-вот окликнут, разрешат — и я
 с готовностью возникну на пороге.

Я жду рожденья, я спешу теперь,
 как посетитель в тягостной приёмной,
 пробить бюрократическую дверь
 всем телом — и предстать в ее проёме.

Ужо рожусь! Еще не рождена.
 Еще не пала вещь щеколда.
 Никто не знает, что я — вот она,
 темно, смешно. Апчхи! В носу щекотно.

Вот так играют дети, прячась в шкаф,
 испытывая радость отдаленья.
 Сейчас расхожусь! Нет сил! И ка-ак
 вдруг вывалюсь вам всем на удивленье!

Таюсь, тянусь, претерпеваю рост,
 вломлюсь птенцом горячим, косоротым —
 ловить губами воздух, словно гроздь,
 наполненную спелым кислородом.

Сравнится ль бледный холодок актрис,
 трепещущих, что славы не добьются,
 с моим волненьем среди тех кулис,
 в потёмках, за минуту до дебюта!

Еще не знает речи голос мой,
 еще не сбылся в лёгких вздох голодный.
 Мир наблюдает смутной белизной,
 сурово излучаемой галёркой.

(Как я смогу, как я сыграю роль
 усилием безрассудства молодого?)

О, перейти, преодолевая боль,
от немоты к началу монолога!

Как стеклодув, чьи сильные уста
взрастили дивный плод стекла простого,
играть и знать, что жизнь твоя проста
и выдох твой имеет форму слова.

Иль как печник, что краснотою труб
замаранный, сидит верхом на доме,
захохотать и ощутить свой труд
блаженною усталостью ладони.

Так пусть же грянет тот театр, тот бой
меж „да” и „нет”, небытием и бытом,
где человек обязан быть собой
и каждым нерожденным и убитым.

Своим добром он возместит земле
всех сыновей ее, в ней погребенных.
Вершит всевечный свой восход во мгле
огромный, голый, золотой Ребёнок.)

Уж выход мой! Мурашками, спиной
предчувствую прыжок свой на арену.
Уже объявлен год тридцать седьмой.
Сейчас, сейчас — дадут звонок к апрелю.

Реплика доброжелателя:

О, нечто, крошка, пустота,
еще не девочка, не мальчик,
ничто, чужого пустяка
пустой и маленький туманчик!

Зачем, неведомый радист,
ты шлешь сигналы пробужденья?
Повремени и не родись,
не попади в беду рожденья.

Белла Ахмадулина

Нераспрямленный организм,
закрученный кривой пружинкой,
о, образумься и очнись!
Я — умник, много лет проживший, —

я говорю: потом, потом
тебе родиться будет лучше.
А не родишься — что же, в том
всё ж есть своё благополучье.

Помедли двадцать лет хотя б,
утешься беззаботной ленью,
блаженной слепотой котят,
столь равнодушных к утоплению.

Что так не терпится тебе,
и, как птенец в тюрьме скорлупок,
ты спешку точек и тире
всё выбиваешь клювом глупым?

Чем плохо там — во тьме пустой,
где нет тебе ни слёз, ни горя?
Куда ты так спешишь? Постой!
Родится что-нибудь другое.

(Примечание автора:

Ах, умник! И другое пусть
родится тоже непременно, —
всей музыкой озвучен пульс,
прям позвоночник, как антенна.

Но для чего же мне во вред
ему прийти и стать собою?
Что ж, он займет весь белый свет
своею малой худобою?

Мне отведенный кислород,
которого я жду веками,

неужто он до дна допьет
один, огромными глотками?

Моих друзей он станет звать
своими? Всё наглей, всё дальше
они там будут жить, гулять
и про меня не вспомнят даже?

А мой родимый, верный труд,
в глаза глядящий так тревожно,
чужою властью новых рук
ужели приручить возможно?

Ну, нет! В какой во тьме пустой?
Сам там сиди. Довольно. Дудки.
Наскучив мной, меня в простор
выбрасывают виадуки!

И в солнце, среди синевы
расцветшее, нацелясь мною,
меня спускают с тетивы
стрелюю с тонкою спиною.

Веселый центробежный вихрь
меня из круга вырвать хочет.
О Жизнь, в твою орбиту вник
меня таинственный комочек!

Твой золотой круговорот
так призывает к полнокровью,
словно сладчайший огород,
красно дразнящий рот морковью.

О Жизнь любимая, пускай
потом накажешь всем и смертью,
но только выуди, поймай,
достань меня своею сетью!

Белла Ахмадулина

Дай выгадать мне белый свет —
одну-единственную пользу!)

— Припомнишь, дура, мой совет
когда-нибудь. Да будет поздно.

Зачем ты ломишься во вход,
откуда нет освобождения?
Ведь более удачный год
ты сможешь выбрать для рожденья.

Как безопасно, как легко,
вне гнева вѣка или ветра —
не стать. И не принять лицо,
талант и имя человека.

12

Каков мерзавец? Но, средь всех затей,
любой наш год — утешен, обнадёжен
неистовым рождением детей,
мельканьем ножек, пестротой одежек.

И в их великий и всемирный рѣв,
захлѣбом насыщая древний голод,
гортань прорезав чистым остриём,
вонзился мой, ожегший губы голос!

Пусть вечно он благодарит тебя,
земля, меня исторгшая, родная,
в печаль и в радость, и в трубу трубя,
и в маленькую дудочку играя.

Мне нравится, что Жизнь всегда права,
что празднует в ней вечная повадка —

топырить корни, ставить дерева
и меж ветвей готовить плод подарка.

Пребуду в ней до края, до конца,
а пред концом — воздам благодаренье
всем девочкам, слетающим с крыльца,
всем людям, совершающим творенье.

13

Что еще вам сказать?

Я не знаю.

И не знаю: я одобрена вами
иль справедливо и бегло охаяна.

Но проносятся пусть надо мной
ваши лица и ваши слова.

Написала всё это Ахмадулина

Белла Ахатовна.

Год рождения — 1937. Место рождения —
город Москва.

1963

**ПРИКЛЮЧЕНИЕ
В АНТИКВАРНОМ МАГАЗИНЕ**

Зачем? — да так, как входят в глушь осин,
для тишины и праздности гулянья, —
не ведая корысти и желанья,
вошла я в антикварный магазин.

Недобро глянул старый антиквар.
Когда б он не устал за два столетья
лелеять нежной ветхости соцветья,
он вовсе б мне дверей не открывал.

Он опасался грубого вреда
для слабых чаш и хрусталя больного.
Живая подлость возраста иного
была ему враждебна и чужда.

Избрав меня меж прочими людьми,
он кротко приготовился к подвоху,
и ненависть, мешающая вздоху,
возникла в нём с мгновенностью любви.

Меж тем искала выгоды толпа,
и чужеземец, мудростью холодной,
вникал в значенье люстры старомодной
и в руки брал бессвязный хор стекла.

Недосчитавшись голоска одной,
в былых балах утраченной подвески,
на грех ее обидевшись по-детски,
он заскучал и захотел домой.

Печальную пылинку серебра
влекла старуха из глубин юдоли,
и тяжела была ее ладони
вся невесомость быта и добра.

Какая грусть — средь сумрачных теплиц
разглядывать осеннее предсмертье
чужих вещей, воспитанных при свете
огней угасших и минувших лиц.

И вот тогда, в открывшейся тиши,
раздался оклик запаха иль цвета:
ко мне взывал и ожидал ответа
невнятный жест неведомой души.

Знакомой боли маленький горнист
трубил, словно в канун стихосложенья, —
так требует предмет изображенья,
и ты бежишь, как верный пёс на свист.

Я знаю эти голоса ничьи.
О плач всего, что хочет быть воспето!
Навзрыд звучит немая просьба эта,
как крик: — Спасите! — грянувший в ночи.

Отчаявшись, до крайности дойдя,
немое горло просьбу излучало.
Я ринулась на зов, и для начала
сказала я: — Не плачь, моё дитя.

— Что вам угодно? — молвил антиквар. —
Здесь всё мертво и не способно к плачу. —
Он, всё еще надеясь на удачу,
плечом меня теснил и оттирал.

Сведённые враждой, плечом к плечу
стояли мы. Я отвечала сухо:
— Мне, ставшею открытой раной слуха,
угодно слышать всё, что я хочу.

Белла Ахмадулина

— Ступайте прочь! — он гневно повторял.
И вдруг, среди слабоумия сомнений,
в уме моём сверкнул случайно гений
и выпалил: — Подайте тот футляр!

— Тот ларь? — Футляр. — Фонарь? — Футляр! — Фуляр?
— Помилуйте, футляр из черной кожи. —
Он бледен стал и закричал: — О Боже!
Всё, что хотите, но не тот футляр.

Я вас прошу, я заклинаю вас!
Вы молоды, вы пахнете бензином!
Ступайте к современным магазинам,
где так велик ассортимент пластмасс.

— Как это мило с вашей стороны, —
сказала я, — я не люблю пластмассы. —
Он мне польстил: — Вы правы и прекрасны.
Вы любите непрочность старины.

Я сам служу ее календарю.
Вот медальон, и в нём портрет ребёнка.
Минувший век. Изящная работа.
И всё это я вам теперь дарю.

...Печальный ангел с личиком больным.
Надземный взор. Прилежный лоб и локон.
Гроза в июне. Воспаленье в лёгком.
И тьма небес, закрывшихся за ним...

— Мне горестей своих не занимать,
а вы хотите мне вручить причину
оплакивать всю жизнь его кончину
и в горе обезумевшую мать?

— Тогда сервиз на двадцать шесть персон! —
воскликнул он, надеждой озарённый. —
В нём сто предметов ценности огромной.
Берите даром — и вопрос решен.

— Какая щедрость и какой сюрприз!
Но двадцать пять моих гостей возможных
всегда в гостях, в бегах неосторожных.
Со мной одной соскучится сервис.

Как сто предметов я могу развлечь?
Помилуй Бог, мне не по силам это.
Нет, я ценю единственность предмета,
вы знаете, о чём веду я речь.

— Как я устал! — промолвил антиквар. —
Мне двести лет. Моя душа истлела.
Берите всё! Мне всё осточертело!
Пусть всё мое теперь уходит к вам.

И он открыл футляр. И на крыльцо
из мглы сеней, на волю из темницы
явился свет и опалил ресницы,
и это было женское лицо.

Не по чертам его — по черноте,
ожегшей ум, по духоте пространства
я вычислила, сколь оно прекрасно,
еще до зренья, в первой слепоте.

Губ полусмехом, полумраком глаз
лицо ее внушало мысль простую:
утратить разум, кануть в тьму пустую,
просить руки, проситься на Кавказ.

Там — соблазнять ленивого стрелка
сверкающей открытостью затылка,
раз навсегда — и всё. Стрельба затихла,
и в небе то ли Бог, то ль облака.

— Я молод был сто тридцать лет назад, —
проговорился антиквар печальный. —
Сквозь зелень лип, по желтизне песчаной
я каждый день ходил в тот дом и сад.

Белла Ахмадулина

О, я любил ее не первый год,
целуя воздух и камень сада,
когда проездом — в ад или из ада —
вдруг объявился тот незванный гость.

Вы Ганнибала помните? Мастак
он был в делах, достиг чинов немалых.
Но я о том, что правнук Ганнибалов
случайно оказался в тех местах.

Туземным мраком горячо дыша,
он прыгнул в дверь. Всё вмиг переместилось.
Прислуга, как в грозу, перекрестилась.
И обмерла тогда моя душа.

Чужой сквозняк ударил по стеклу.
Шкаф отвечал разбитою посудой.
Повеяло палёным и простудой.
Свеча погасла. Гость присел к столу.

Когда же вновь затеяли огонь,
склонившись к ней, переменившись разом,
он всем опасным африканским рабством
потупился, как укрощенный конь.

Я ей шепнул: — Позвольте, он урод.
Хоть ростом скромн, и на том спасибо.
— Вы думаете? — так она спросила. —
Мне кажется, совсем наоборот.

Три дня гостил, — весь кротость, доброта, —
любой совет считал себе приказом.
А уезжая, вольно пыхнул глазом
и засмеялся красным пеклом рта.

С тех пор явился горестный намёк
в лице ее, в его простом порядке.
Над непосильным подвигом разгадки
трудился лоб, а разгадать не мог.

Когда из сна, из глубины тепла
всплывала в ней незрячая улыбка,
она пугалась, будто бы ошибка
лицом ее допущена была.

Но нет, я не уехал на Кавказ.
Я сватался. Она мне отказала.
Не изменив намерений нимало,
я сватался второй и третий раз.

В столетье том, в тридцать седьмом году,
по-моему, зимою, да, зимою,
она скончалась, не послав за мною,
без видимой причины и в бреду.

Бессмертным став от гóря и любви,
я ведаю этим ничтожным храмом,
толкую с хамом и торгую хламом,
затерянный меж Богом и людьми.

Но я утешен мнением молвы,
что всё-таки убит он на дуэли.
— Он не убит, а вы мне надоели, —
сказала я, — хоть не виновны вы.

Простите мне желание руки
владеть и взять. Поделим то и это.
Мне — суть предмета, вам — краса портрета:
в награду, в месть, в угоду, вопреки.

Старик спросил: — Я вас не вверг в печаль
признаньем в этих бедах небывалых?
— Нет, вспомнился мне правнук Ганнибалов, —
сказала я, — мне лишь его и жаль.

А если вдруг, вкусивший всех наук,
читатель мой заметит справедливо:
— Всё это ложь, изложенная длинно, —
отвечу я: — Конечно, ложь, мой друг.

Белла Ахмадулина

Весьма бы усложнился трезвый быт,
когда б так поступали антиквары
и жили вещи, как живые твари,
а тот, другой, был бы и впрямь убит.

Но нет, портрет живет в моём дому!
И звон стекла! И лепет туфель бальных!
И мрак свечей! И правнук Ганнибалов
к сему причастен — судя по всему.

1964

ДАЧНЫЙ РОМАН

Вот вам роман из жизни дачной.
Он начинался в октябре,
когда зимы кристалл невзрачный
мерцал при утренней заре.
И Тот, столь счастливо любивший
печаль и блеск осенних дней,
был зренья моего добычей
и пленником души моей.

Недавно, добрый и почтенный,
сосед мой умер, и вдова,
для совершенья жизни брэнной,
уехала, а дом сдала.
Так появились брат с сестрою.
По вечерам в чужом окне
сияла кроткою звездою
их жизнь, неведомая мне.

В благовоспитанном соседстве
поврозь мы дождались зимы,
но, с тайным любопытством в сердце,
невольню сообщались мы.
Когда вблизи моей тетради
встречались солнце и сосна,
тропинкой, скрытой в снегопаде,
спешила к станции сестра.
Я полюбила тратить зренью
на этот мимолётный бег,
и длилась целое мгновенье
улыбка, свежая, как снег.

Белла Ахмадулина

Брат был свободней и не должен
вставать, пока не встанет день.
„Кто он? — я думала. — Художник?“
А думать дальше было лень.
Всю зиму я жила привычкой
их лица видеть поутру
и знать, с какою электричкой
брат пустится встречать сестру.
Я наблюдала их проказы,
снежки, огни, когда темно,
и знала, что они прекрасны,
а кто они — не всё ль равно?
Я вглядывалась в них так остро,
как в глушь иноязычных книг,
и слаще явного знакомства
мне были вымыслы о них.
Их дней цветущие картины
растила я меж сонных век,
сослав их образы в куртины,
в заглохший сад, в старинный снег.

Весной мы сблизились — не тесно,
не участив случайность встреч.
Их лица были так чудесно
ясны, так благородна речь.
Мы сиживали в час заката
в саду, где липа и скамья.

Брат без сестры, сестра без брата,
как ими любовалась я!
Я шла домой и до рассвета
зрачок держала на луне.
Когда бы не несчастье это,
была б несчастна я вполне.

Тёк август. Двум моим соседям
прискучила его жара.
Пришли, и молвил брат: — Мы едем.
— Мы едем, — молвила сестра.

Простились мы — скорей степенно,
чем пылко. Выпили вина.
Они уехали. Стемнело.
Их ключ остался у меня.

Затем пришло письмо от брата:
„Коли прогневаются Вы,
я не страшусь: мне нет возврата
в соседство с Вами, в дом вдовы.
Зачем, простак недалновидный,
я тронул на снегу Ваш след?
Как будто фосфор ядовитый
в меня вселился — еле видный,
донныне излучает свет
ладонь...” — с печалью деловитой
я поняла, что он — поэт,
и заскучала...

Тем не мене
отвыкшие скрипеть ступени
я поступью моей бужу,
когда в соседний дом хожу,
одна играю в свет и тени
и для таинственной затеи
часы зачем-то завожу
и долго за полночь сижу.
Ни брата, ни сестры. Лишь в скрипе
зайдетса ставня. Видно мне,
как ум забытой ими книги
печально светится во тьме.

Уж осень. Разве осень? Осень.
Вот свет. Вот сумерки легли.
— Но где ж роман? — читатель спросит. —
Здесь нет героя, нет любви!

Меж тем — всё есть! Окрест крепчает
октябрь, и это означает,
что Тот, столь счастливо любивший

печаль и блеск осенних дней,
идет дорогою обычной
на жадный зов свечи моей.
Сад облетает первобытный,
и от любви кровопролитной
немеет сердце, и в костры
сгребают листья... Брат сестры,
прощай навеки! Ночью лунной
другой возлюбленный безумный,
чья поступь молодому льду
не тяжела, минует тьму
и к моему подходит дому.
Уж если говорить: люблю! —
то, разумеется, ему,
а не кому-нибудь другому.

Очнись, читатель любопытный!
Вскричи: — Как, намертво убитый
и прочный, точно лунный свет,
тебя он любит?! —
Вовсе нет.
Хочу соврать и не совру,
как ни мучительна мне правда.
Боюсь, что он влюблён в сестру
стихи слагающего брата.
Я влюблена, она любима,
вот вам сюжета грозный крен.
Ах, я не зря ее ловила
на робком сходстве с Анной Керн!
В час грустных наших посиделок
твержу ему: — Тебя злодей
убил! Ты заново содеян
из жизни, из любви моей!
Коль Ты таков — во мглу веков
назад сошлю! —
Не отвечает
и думает: „Она стихов
не пишет часом?“ — и скучает.

Вот так, столетия подряд,
все влюблены мы невпопад,
и странствуют, не совпадая,
два сердца, сирых две ладьи,
ямб ненасытный услаждая
великой горечью любви.

1973

Стихи к симфониям Гектора Берлиоза

Посвящается

Гектору Берлиозу,

Генриетте Смитсон

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

Поэтическое изложение сцен
симфонии Гектора Берлиоза по трагедии
Уильяма Шекспира

1 Вступление

Итак, в Вероне, столько лет назад,
сколь звёзд полночных над тобой, Верона,
случилось саду ненавидеть сад
и брату брата. Два старинных рода
забыли, в чём причина их вражды,
не забывая враждовать извечно.
Но коли вы под этот свод вошли,
вам, без сомненья, всё это известно.
Вдруг спросите: а не с ума ль сошед
затеял некто излагать сюжет,
что и невежде с малолетства ведом?
Как белый свет твои слова, поэт:
чем дольше мы глядим на белый свет,
тем меньше сил расстаться с белым светом.
И лишь затем мой неумелый стих
осмелился средь стен священных сих
вотще дерзить безмолвию органа,
чтоб возвестить: нас миг врасплох застиг,
за краткость наших горестей земных
нам музыка — награда и отрада.
Ее озноб сквозит вдоль наших спин,
и, словно мало музыки для слуха,
лишь рождены — уже нас ждет Шекспир.

Заранее вознаграждена заслуга
возвысить дух и преклонить чело.
Я больше не скажу вам ничего.
Однако не послушать ли Эскала?
Вы помните, что он — Вероны князь
и говорит: — Вы обрекли на казнь
ту тишину, что музыки искала.
Забыли вы среди попранных олив,
что род людей — один и он делим
не на Монтекки и на Капулетти,
на тех, кто был убит и кто убил,
а лишь на тех, кто любит и любим
вослед Ромео и вослед Джульетте.
О, тишины и жизни палачи!
Пролитье крови вашу кровь накажет.
Умолкла я. И ты, Эскал, молчи.
Всё остальное музыка доскажет.

II Концерт и бал

Еще Ромео слов не произнес.
Два нераздельных сердца бьются розно.
Здесь пауза. Так хочет Берлиоз.
А я хочу восславить Берлиоза
и ту, что Генриеттою звалась.
Как мучила! А ныне — тень, загадка,
но чудный звук ее живая власть
диктует неподвластью музыканта,
бал впархивает в чопорный дворец.
Джульетта, с днём рожденья! с днём свиданья
с избранником твоим! Уже венец
всех звёзд над вами держит мирозданье!
Есть лишь любовь! Нет смерти на земле!
Джульетта, вот подарки посвящений.
Живи всегда! При утренней заре
не время думать о заре вечерней.
Жалела бы, что пауза мала.
Глагол любви мои уста неволит.

Белла Ахмадулина

Но музыка сама себе хвала,
сама любовь и о любви глаголет.

III Королева Маб. Монолог Меркуцио

Меркуцио, пока ты не испил
хмель бытия, раскинув ум, как сети
для простаков, пока тебе Шекспир
паясничать велит пред ликом смерти,
суди-ряди про королеву Маб!
Хвали ее причуды и проказы!
В кошачий март и соловьиный май
всех девственниц, которые прекрасны,
чужды страстям, привержены к сладостям,
с улыбкой королева Маб прощает,
нашепчет вздор, забыв про стыд и срам,
и лбы их непорочные прыщавит.
Их сон невинный в предрассветный час
из грёз слагает образ кавалера,
но неизбежность их грядущих чад
к ним тяжело примеряет королева.
Коль вдруг: „апчхи!“ — и падают очки
со лба того, кто денди слыл дотоле, —
то королева Маб — дитя, учти, —
в его ноздре летит на фаэтоне.
Маб, как известно, повитуха фей.
Фей, как известно, искушает эхо.
Ах, страх! и — ах! — в руках у Маб — трофей,
и к прочим эльфам мы прибавим эльфа.
Если вельможа, чей высокий сан —
над нами, как звезда над звездочётом,
худеет, предается странным снам,
гнушается богатством и почётом,
знай: королева Маб над ним в ночи
стихи шептала, музыкой гремела,
и он ей внял.
— Меркуцио, молчи,
ты — пустомеля. (То слова Ромео.)

И впрямь молчи, задира, коновод,
шутник убитый и шалун бессмертный.
Умы глупцов столетья напролёт
напрасно ты дразнил твоей беседой.
А я? Вдруг спросят: белый лист вам мал,
что вы сюда явились? Бог и люди,
всё это — козни королевы Маб,
Маб — королевы выдумки и плутни.

iv Сцена в саду

Еще луна светла меж облаков
и вещей звёзд сияет Божья милость.
Но лишь Джульетта выйдет на балкон,
погаснет всё, что некогда светилося.
Пред ней луна — завистливый урод,
подслеповаты звёзды рядом с нею.
Джульетта, света твоего урок
не выучить вовек свече и снегу.
Ты — гений там, где глуповат огонь:
держат ладонь в его отверстой пасти —
легко. Но, протянув к тебе ладонь,
сожжешь о воздух пальцы и запястья.
Джульетта, чем играешь? Ты дитя,
так чем играешь? Кружевом, атласом,
стеклом венецианского дутья
иль вечностью светил? Я быть согласен
любой твоей забавой, быть ничем,
быть сургучом для перстенька-печатки,
перчаткой быть! О, нет, большая честь!
Быть пуговицей от твоей перчатки!

Луной, как снегом, землю замело.
Луна и снег равно черны для взора.
Ромео, имя рода моего —
безделицы названье, кличка вздора.
Не жаль мне сотни, тысячу отдам
усопших и грядущих Капулетти,

Белла Ахмадулина

чтоб вымолвить: Монтекки. Высший дар
небес — устам лелеять звуки эти.
Ромео, я боялась водяных,
покойников, лягушек, вурдалаков.
Коль скажут: жди Ромео среди них,
их поцелуй мне будет мил и лаком.
Вся нечисть мира чище и добрей,
чем жаворонок, что сулит разлуку.
Коль в смерть войдешь, не закрывай дверей
за бытием, пока не дашь мне руку.
Смешны мне те, кто говорит: не тронь!
не надо! я страшусь твоей любви!
Ромео, только протяни ладонь —
всё то, что я, падет в твои ладони.

Необратим бег роковой ладьи
и гонит парус наущенье Бога.
Но ты умрешь, Джульетта. Ночь любви
у нас одна. Ночей у смерти — много.
Ребёнок, ангел, жизнь моя, жена,
убить Тебя — божественно живую,
чтоб всяк, кто есть, в иные времена
оплакивал ту рану ножевую!

Ромео, ты младенец, а не я.
Смерть — это краткость,
боли блеск мгновенный,
а ночь любви — длинней житья-бытья.
Она у нас — как вечность у Вселенной.
Что смерть, когда любовью занят ум!
Наш срок с тобою счётом не измеришь.
Мы — длительней небес, прочнее лун.
Столетия пройдут. Ты мне поверишь.

v Ромео в гробнице Капулетти

Угодник музыки, зато хозяин ямба,
я лгать хочу, мне будет ложь легка.

Аптекарь не дает Ромео яда.
Тогда зачем Джульетте хлад клинка?
В тот раз всё обошлось на белом свете:
и не было чумы, и карантин
не помешал монаху. И о смерти
мы знать не знаем, если не хотим.
Но смею ль я лишить вас чудной мўки
смотреть, как после яда и клинка
Ромео и Джульетта тянут руки
друг к другу сквозь века́ и облака.
Величие нельзя переиначить,
оно нас учит, а не веселит.
Коль станем лгать, не выжить внукам нашим,
а мне их жаль, и мир на том стоит,
что нет блаженства, если нет трагедий.
Вы о Шекспире знаете, что гений —
Шекспир. Так плачьте, но не сожалейте
о нём, и о Ромео и Джульетте.

vi Эпилог

Не умерли еще. Ужель умрут,
оставив нам безвыходность подсчёта:
а сколько лет им ныне? — вечный труд
поэзии и музыки, и что-то,
то ли намёк на то, то ли указ
о том, что смерть еще не знает средства,
нас умертвив, избавить мир от нас.
Любовь — есть гений и спасенье сердца.

И нет тому счастливее примера,
чем повесть о Джульетте и Ромео.

1976

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ

1 Мечтания. Страсти

Меж двух огней, меж музыкой и словом,
я не надеюсь лепетом поэм
симфонию украсить смыслом новым
и смысл ее вам без прикрас повам.

Вообразим, что некогда и где-то
артист, поэт, безумец был влюблен.
О, нет! Влюбленным можно быть в поэта,
поэт — любил, и жаждал смерти он.

Перед коварством слабоумен гений.
Доверчивый герой наш выпил яд
и пошутил: — Коль огненной геенной,
любовь моя, мне приходилась явь,

так пекло ада станет мне эдемом,
там отдохну от милостей твоих.
Блаженно спи, мой рыжекудрый демон,
и мне плевать на то, в объятьях чьих.

На что я тратил драгоценный разум?
Звездой лба я бился в толщу стен:
схватила в поединке безобразном
ты с кем-то, стены, говорите — с кем?

Тому, кто был твоим взлелеян адом,
бесхитростный потусторонний ад —
каникулы блаженства: Баден-Баден,
иль как там у богатых говорят.

...Вижу то время, в котором тебя еще нет.
О, как просторно, как пусто... Мгновение выжду...
Чу, занимается неукоснительный свет.
Вижу надежду, что вскоре тебя я увижу.

В доме бывает: всё тихо, и свечка тепла,
знает лишь ветер, что дом будет предан пожару.
Я — и свеча, и сквозняк. Я не знаю тебя.
Как же я знаю уже, что тебя обожаю?

Разве Господь, обрекая меня ремеслу
неимоверному, милостью страшной второю
мне положил — отслужив до рождения сну,
сразу увидеть тебя, как глаза я открою?

Выйдешь Офелией... станешь цветы пустоты,
плача, собирать... нет лужайки — а всё ж беспредельна...
я обожаю тебя...
Кто — Офелия? Ты?
Если Офелия — ты, кто — продажная девка?

Что я! Над девками — бедных мадонн ореол.
Девки — на хлеб, на детей, на лечение недуга.
Ты — не излишек всего, что блестит. „Одеон”
свечи погасит — ты примешь богатого друга.

Вот твоя лучшая, вот твоя главная роль.
Мало ль тряпья у тебя — так прикрылась бы шалью!
Я — уж не плоть. Я — висящая в воздухе боль.
Я проклинаяю тебя.
Я тебя обожаю.

Бога я звал, чтобы музыка не умерла.
Бог мне отвечивал: — Музыку я обещаю.
Ты меня звал — я услышал. Ты любишь меня?
— Кто ты такой? — я спросил. — Я ее обожаю.

II Бал

Бал, это бал, это бала летучего благо,
бал белизны, разлетевшихся тувфелек бал,
взбалмошный бал, обольщающий баловней бала,
вальсу подвластны подвязка, подвеска и бант.

Был и блистал бал болтуний и бал балагуров,
брезжущей музыкой мозг мой тебе подражал.
Доблесть какая — быть рыжей среди белокурых!
Наглость какая — ирландством дразнить парижан!

Вальс, и напиток щекотный мороз, и трагедий
всех смехотворность. Буфетчик — умён, я — маньяк.
Я говорил: — Ты — маньяк наливанья, я — гений.
Что же мне делать, коль это действительно так?

Думал, ты спросишь: кто тот, чьи чужие перчатки
так несвежи, в чём не станем его упрекать?
Гений непризнанный? Ах, в мире столько печали... —
и не взглянула, хоть страшен мой фрак напрокат.

Бал для блаженства божеств — боль он и старость
мне причинил. Я твердил: я — маньяк, я — дурак,
ладно! но вот совершенство движения — страус,
стал же он веером бала в белейших руках.

Ба! Осенило: тапёр на балу у болванов
всяк, кого небо своим припекло сургучом.
Я обожаю тебя средь Парижских бульваров!
И только вальс, только вальс не повинен ни в чём.

Балуйся балом! Навек он тебе уготован.
Вальс будет длиться, кружась, и губя, и томя.
Дурочка! Что тебе бал? Там, где Бах и Бетховен,
мы с тобой встретимся. Я обожаю тебя.

III Поле

Как вернуться в обитель осин и осок?
Я устал. Я не знаю пароля.
Я — исчадьё твое, твой щенок-сосунок,
дай мне млека, о мать природа.

Пропадаю без ласки целебной твоей.
Дай припасть к животворному зелью.
Стану — трав соучастник, сподвижник корней
и всего, что пробилось сквозь землю.

Я очнулся. Цветок возле глаза белел.
Млело стадо. Гусята с гусыней
шли к ручью.
Да не втиснут ли я в гобелен?
Не вишу ли я в чьей-то гостиной?

Чур меня! Нависелся! Со всеми знаком!
Вдох исторгли глубокие недра:
то природа лизала меня языком
по́ля, озера, леса и неба.

Шли пастух и пастушка. Свирель и рожок
толковали о том, что забыто.
Пел рожок: — Я тебя обожаю, дружок.
И свирель отвечала: — Взаимно!

Ишь, какие. И сколько румяных детей
наплодите, румяные дети.
Обожайте друг друга. От этих затей
я отрекся. Привет Генриетте!

Я целую траву. Я лежу на лугу.
Я — младенец во чреве природы.
Никому я не лгу. Никого не люблю.
Что мне музыка, страсти, пороки?

Эй, ирландка гривастая! Слышишь — в траву
я влюблен и она мне послушна!

Белла Ахмадулина

Благо, мы в сновиденье, а не наяву,
хочешь, станем — пастух и пастушка?

Это — верное дело, я — чудный пастух.
Доказать, что среди кротких пастушек
конюх выберет лучшую из потаскух, —
вот твой первый пастуший поступок.

Лучше станем овечками. Сладок и чист
вкус травы в день закланья зловещий.
Не бойшься, лукавейшая из волчиц?
Как прекрасна ты в шкуре овечьей!

Солнце... облако... радуга... Кости трещат!
За любовь мы с тобой постояли.
Будут маленьких неслухов мамки страшать
чудом нашей с тобой пасторали!

Умер, жив ли — не знаю. Мне страшно в раю.
Отпусти меня, мать природа.
Я — урод, я на детскую кротость твою
навлекаю грозу небосвода.

Не пора еще... тихо и рано... о, как
обожаю... кого? — я не помню.
Всех и вся. И слезой проплывает в зрачках
благодарность зеленому полю.

Но над полем зеленым в цветах и росе
зреет сумрак. О, только б скорее!
Я дарю вам на память о близкой грозе
детский лепет рожка и свирели.

IV Шествие на казнь

Гнев неистовый множился, не убывал.
Ты молилась ли на ночь, не скажешь?
Я пришел, чтоб убить.

О, не так убивал
тебя трагик, намазанный сажей!

И раздался ответ из грядущих времён:
— Что мне в этих угрозах, уликах?
Когда лампы свои возжигал „Одеон”,
я молилась в предсмертных кулисах.
О, убей меня прежде, чем страшный фиакр
я покину убогой калекой,
побирушкою нищей покину театр,
став твоею женою нелепой.
Убивай, пока бредишь. О, только б успеть!
Дай мне отдыха в нетях промозглых.
Я — артистка, и мне совершенная смерть
безразличней, чем смерть на подмостках.

Я убил тебя. И приговора суда
я не слышал. Вела меня стража.
Я спросить поленился: ведёте куда?
Коль — туда, что так скушно, не страшно?
Упоительный марш меня вдаль провожал.
Было весело скрипкам и трубам.
Славно вторили им голоса горожан,
но их тембр показался мне грубым.
А когда я в помосте узнал эшафот,
я подумал: как странно, однако, —
тело дышит, пульсирует, мирно живет.
Ждет палач указания и знака.
Всё, что есть, чего нет, обращаю я в звук.
Что же даст мне мгновение это?
Мне не нужен ожог ослепительных мук.
Всё бессмысленно, что не воспето.
И раздался ответ из грядущих времён:
— Я была твоей му́кой воспетой,
но и тем, кто несчастен, отвергнут и мёртв,
слабой женщиной и Генриеттой.
Умирай! Я в твореньях твоих проживу!
Звал звездой, поклонялся таланту,
будет день — ты покинешь хромую жену,

Белла Ахмадулина

чтоб потешить ту дрянь-итальянку.
Всё мне выпадет: ревность, вино, паралич.
Ничего я воспеть не сумею.
Все мученья твои — лишь уют, парадиз
по сравнению с му́кой моею.

Ты о чём, моя радость? Из рук палача
рвется жизнь, о, позор трепыханья!
Это горло — мое лишь! В нём кровь горяча.
Оно надобно мне для дыханья.
На меня с любопытством взирала толпа.
Там, где прежде душа не бывала,
я услышал себя: — Обожаю тебя!
Значит, смерть ничего не меняла.

v Шабаш

Раз навсегда я тобой покорён.
Жить не давала и смерти мешаешь.
Звон колокольный и крики ворбн.
Ты, подгуляв в честь моих похорон,
нечисть и нежить сзываешь на шабаш.
Ты среди ведъм так гола и нагла —
диву даюсь, хоть о многом наслышан.
Дразнишь: — Вот этот, с копытом нога,
мил тебе? Я с ним не буду строга.
Я отвечаю: — Хорош, да не слишком.
Есть и получше — вон славный упырь,
тешься до петухов и до света.
Значит, тебя я не вовсе убил.
Как засмеялась: — Ты разве забыл?
Я же воспета тобой и бессмертна.
Ластишься, жмешься и льнешь к упырю.
Господи, славься! На всё Твоя воля.
Ведьма, ты ведаешь участь твою?
Я уж убил тебя, снова убью,
снова казнят, и, ликуя и воя,
ты поцелуешь в зловонье клыков

оборотня и спалишь его жаром.
Невероятный удел наш таков —
делай что хочешь во веки веков.
Дай мне смотреть на тебя с обожаньем.

VI Эпилог

Генриетта Смитсон, мадам Берлиоз.
Известная актриса, с особенным успехом выступавшая
в ролях шекспировских героинь.
Снискала пылкую благосклонность публики.
Познала неудачи, горестный упадок судьбы.
Сломала ногу, выходя из фиакра.
Претерпела тяжкие нравственные и физические страдания.
Умерла.

Ночь. Горячая мысль не умеет угнаться за смыслом:
та ирландка, чей цвет розовее, чем пламя свечи,
что актёркой была и звалась Генриеттою Смитсон,
кем приходится мне, чтобы ночь на нее извести?

Мало ей музыканта, она возжелала поэта.
Впрочем, что ей хвала! Всё прискучило, всё не впервой.
Ничего мне не жаль. Я тебе отслужу, Генриетта,
щедрость — мýку дарить, искушать и качать головой.

Я люблю твою власть — быть красавицей, плакать, лукавить.
Принимай меня в дар, а потом прогони, разобидь.
На колени пред вечною тайной твоей! Не легка ведь
эта каторга счастья: любить, разлюбить и любить.

Совершенная женственность, чудо белейшего света,
где шалишь, чем играешь, бессмертье и славу терпя?
Ты повинна лишь в прелести. Где ты ни есть, Генриетта,
я тебе присягаю и благословляю тебя!

1977

Кто знает: вечность или миг
мне предстоит бродить по свету...
За этот миг иль вечность эту
равно благодарю я мир.

Что б ни случилось — не клянусь,
а лишь благословляю лёгкость:
печали вашей мимолётность,
моей кончины тишину...

Аттила Йожеф

В чём вера и расчёт небесных тел,
в орбите огнедышащего круга
какая сила и какой прицел
им позволяют миновать друг друга?

Казалось бы, только закрыть глаза,
и — вдребезги! Пожар благословенный!
Какие золотые тормоза
хранят благополучие Вселенной?

Я бы решил, что это — власть причуд
любви между планетой и планетой,
но так многозначителен прищур,
мигающий над бедной бездной этой.

И мотыльки ночные над огнём
теряют пыль, столкнувшись при круженье.
И странен мир. И странно пуст мой дом.
И нет тебя. И всё вокруг в движенье.

Показания Яноша Бозы,
приёмщика багажа со станции
Балатонсарсо:

*Я как раз шел на службу, принимать груз малой скорости.
Вижу, состав стоит на станции. Я замедлил шаг, думаю, всё
равно, мол, не успею перейти, а работа... что же, работа
подождет, никуда не денется...*

ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

АТТИЛЫ ЙОЖЕФА

ОБРЁЛ Я РОДИНУ

В отчаянье моём я обретал отчизну,
и бредил, и в бреду я знал, что обрету.
Очищу ум от мук, бред бытия отрину
и обрету навек отчизны доброту.

Зароют как-нибудь, прибавят праху праха,
напишут, как зовут то, что лежит в земле,
и, коль не переврут, восторжествует правда:
то, как зовут меня, — вот правда обо мне.

Я одиноким был не более, чем буду
там, посреди корней и маленьких существ.
Хоть многие пришли и удивлялись чуду:
как одиноко жил, кто жил с ума сошед.

Да так ли уж сошед? То, что в уме блистало, —
устало и ушло, за темный край зашло.

Белла Ахмадулина

Я вам не причинил страдания нимало,
но много взял себе и не спросил: за что?

Что лето, что весна! Зимой очаг — желанней,
коль есть очаг. Зима жизнь начала свою,
ну, а — мою? Стою, смотрю на сумрак ранний.
Я скоро обрету отчизну, кров, семью...

Показания Яноша Бозы,
приёмщика багажа:

*...Аттила Йозеф тоже стоял у шлагбаума. Я знал его
раньше, не раз бывал у них в пансионате Хорват. Я еще даже
поздоровался с ним. Ничего особенного я в нём не заметил,
такой же он был печальный, как обычно...*

Такой же был печальный, как обычно,
не более печальный, чем всегда.
Звезда сияла так же безобидно.
И так же точно знали поезда,
куда им ехать, что им должно делать.
И поклонился кротко, как всегда,
но чуть смущенно: не взыщите, дескать,
что тороплюсь, на этот раз — весьма...

Показания Яноша Бозы,
приёмщика багажа:

*...Стою это я у переезда, а он вдруг поспешно так проходит
мимо меня, ложится под вагоны, в промежуток между
буферами, лицом вниз и хватается руками за рельс...*

Аттила Йожеф

НЕБОСВОД ЖЕЛЕЗНОГО ЦВЕТА

Железен небосвод иль только цвет железа
у неба, где мотор, крутятся, вскормил звезду —
другую, а не ту, что жизнь мою жалела.
Я б губы разомкнул, да огонь держу во рту.

Как прошлое спешит, когда несется мимо,
по звуку: тишина, по цвету: синева.
Меч вечности блестит, он занесён так зримо.
Не головы мне жаль, мне жаль, что в ней — слова.

Я б что-нибудь сказал, да говорить мне не с кем.
Вдруг ощутил усы, как гусеницы жир,
сжирающей мне рот. И с шелковистым треском
жизнь рвется, но еще боится и дрожит.

Показания Яноша Бозы,
приёмщика багажа:

*...Конечно, когда он миновал меня так поспешно, я мог бы его
окликнуть. Да только куда мне было в такие дела
вмешиваться? Еще могли бы подумать, будто я подослан
кем...*

ИЗ ТАК НАЗЫВАЕМОГО
„ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО БЛОКНОТА“
АТТИЛЫ ЙОЖЕФА

Я — этот несчастливец, неиз—
неиз—
неизмеримо жаждущий любви.
Пусть мне мерещится, что это — нелюдь, нечисть,
я вас люблю и буду звать людьми.

Белла Ахмадулина

Когда б любовь людей своих посулов
не отняла, я б жил иначе: жил.
Я бы не совершил поступков,
какие совершил.

Когда б меня — то давнее дитя —
любовь не прогнала, а приласкала,
я бы остановился — не дойдя
до края крайнего, до полустанка.

Жар. И мираж: любви влекущий водоём.
Рот пересох. Что мне совет: „Мужайся!“
Ужасно, если человек так одинок.
Всё, что за этим следует, — не так ужасно.

Мне чудилось: я в рот взял газовый рожок
и к лакомству приник всем пеклом пересохшим.
Как просто был вопрос запутанный решён:
я пил и целовал спасительный источник.

Какая малая и лёгкая цена!
Уж не снедал меня тоски голодный поёб.
И шея у меня еще была цела —
еще ее не перерезал поезд.

Показания Яноша Бозы,
приёмщика багажа:

*...Когда я увидел его на рельсах, уже было поздно. Потому как
едва только он лёг на рельсы, поезд сей момент и тронулся...
— Эй, стой, остановись! — заорал я, но состав уже загромычал
по переезду. Я подбежал туда, но не мог к нему подобраться,
железная приступка тормозной будки мешала.
Десятитонный вагон-порожняк толкнул его колёсами,
перевернул на спину, наехал на него...*

ИЗ БЛОКНОТА АТТИЛЫ ЙОЖЕФА

Сказали мне, что у меня — заскок.
Мысль скачет. Этот вот ее прыжок — конечен.
Ах, если б из-под спичек коробок
взял в плен тебя, мой бедный ум-кузнечик.

В Моноре — хорошо себя я вёл.
О Боже,
Ты видел сам: я был послушен, кроток, хил:
Так тщился я уллучиться! Но больше
б ы т ь — не могу (хорошим иль плохим).

Показания Яноша Бозы,
приёмщика багажа:

*...Вагон аж приподняло... Состав шел медленно, но его
протащило метров двадцать, не меньше, пока поезд не
остановился...*

Что, Йозеф Аттила, ты делал в Моноре,
когда хорошо себя вёл, вёл себя —
туда, куда велено: к заданной норме?
Идти туда надо. Дойти — не судьба.

Но — как это, где это, что там, в Моноре?
Там — прелесть, должно быть, там — сад и луна.
Лишь там обитает — твое ли, мое ли —
предписанное поведение ума.

Ты — собственность сердца, родимое горе,
теперь хорошо ли ведёшь ты себя?
Что ж, Йозеф Аттила, до встречи в Моноре
иль где-нибудь дальше — уже навсегда!

Белла Ахмадулина

Показания Яноша Бозы,
приёмщика багажа:

*...Тут я и вытащил его из-под вагона. Лёгкий он был, бедняга.
Должно, всего-то и весу в нём было кило сорок восемь, не
больше...*

Агтила Йожеф

НИКТО МЕНЯ НЕ ПОДНИМЕТ

Никто не поднимет меня, ибо очень
я тяжек — всей тяжестью канул я в грязь.
Дай, Господи Боже, мне жалости Отчей.
Глянь в сторону бедствия. Смилуйся, глянь.

Содей меня снова, Всевысший формовщик
всех форм! Я — бесформенной муки расплыв.
Коль сердце уверует или возропщет —
и к вере, и к ропоту будь справедлив.

Ведь сердце мое — лишь ребёнок заблудший,
что яд отречения принял за мёд.
Не отрекись от меня! Не забудь же,
что я не воскресну, коль сделаюсь мёртв.

Я грешен лишь в том, что я был милосердней,
чем Ты, о прости, если Ты милосерд.
Той бездне, где я, ее сырости серой
пошли Твой живой и прощающий свет.

Смягчи всех жестоких, возлюбленных мною.
В их душах — темно, как в дремучем лесу.
Ответствуй мне музыкой иль тишиною —
но прежде, чем в жертву себя принесу.

Показания Яноша Бозы,
приёмщика багажа:

...Жизнь еще теплилась в нём, он у меня на руках разок-другой дернулся, а там и кончился... Крови не видать было, только обод от колеса глубоко так в поясницу ему врезался... Пришли судья, врач, стали между собой совещаться, нанять ли повозку. Сперва положили его на тачку, а потом на четырёхколёсную тележку и прикрыли картой железных дорог Венгрии от 1914 года...

ОЧЕНЬ БОЛЬНО

ОЧЕНЬ БОЛЬНО. Во мне и вовне
боль обитает. Ум ранен — навряд ли смыслёным
он просльвёт, хоть звезду себе взял он у Бога.
Гением дрожи — трепещущий смерти мышонок
знает: как больно.

ОЧЕНЬ.

Но он не захочет,
не сможет сказать, ему некогда: он умирает.
И раем уж веет,
из рая сквозит и воняет
каким-то плодом переспелым, там, видимо, осень,
о, как там тихо, как блёкло.
Знаю, Аттила, — насколько, я знаю, что — ОЧЕНЬ.
— Жить очень больно, а через мгновенье — не больно.
Нет, милосердный обманщик, не верю. Убытка
боли такой — не бывает, ей смерть — не помеха.
Тело простёрто, и взмыла душа, как улыбка
уст, утаить пожелавших, что им не до смеха.
Я не о том, о мой Йозеф Аттила безумный.
Ночью безлунной ты — сон моего скудоумья.
Мы не на равных играем.
И раем, всё раем
кто-то прельщает.

Белла Ахмадулина

Окно говорит: скоро утро.
Этот рассвет — весть от тебя. Ну, а скудный
разум — прости и скажи:
очень больно
сырым огнём населять пустоту небосклона?
И так благосклонно ты отвечаешь:
— Не бойся. Не больно нисколько.

Показания Яноша Бозы,
приёмщика багажа:

...Янош Байз, сезонный рабочий, отвёз на тележке тело в морг; его же мы послали и сестёр оповестить. Я наказал ему сообщить им осторожно и не сразу, а постепенно их подготовить...

Справка выдана в том...
О, как гром в этот дом бьет огнём
и метель колесом колесит.
Ранит голову грохот огромный, и в тон
там, внизу, голоса голоски клавесин.

О, сестра, дай мне льда! Уж пробил и пропел
час полуночи! Льдом обострилась вода.
Остудить моей памяти черный пробел —
дай же, дай же мне белого льда.

Малый разум мой вырос в огромный мотор,
вкруг себя он вращает людей, городá.
Не распутать мне той карусели моток!
Дай же, дай же мне белого льда.

Словно мост мой последний, пылает мой мозг,
острый остров сиротства замкнув навсегда.
Очень больно, сестра, мне бы лёд так помог!
Дай же, дай же мне белого льда!

Справка выдана в том, что чрезмерен был стон
в слабом горле. Но ныне беда —
позабыта. Земля упокоит наш сон
милосердием белого льда.

Донесение Управления Венгерских королевских
железных дорог:

*Честь имею доложить, что 3-го числа текущего месяца поезд
№ 1284 на станции Балатонсарсо, между пикетами 1963 и
1964, насмерть задавил Аттилу Йожефа, 32 лет,
неженатого, жителя Балатонсарсо, писателя. Поезд
остановился в Балатонсарсо для приёмки груза. Приёмка
продолжалась от 19.32 до 19.35 — после чего поезд тронулся.
Во время стоянки состава переезд был закрыт, шлагбаум
находился в опущенном положении...*

ИЗ БЛОКНОТА АТТИЛЫ ЙОЖЕФА
(ДОСЛОВНО)

А соразмерно ли
мне это: всё, что ныне?
Я — тесен и тяжёл себе, как туче — снег.
В столь обитаемой и столь большой пустыне
приткнуться негде — вот, схожу на нет.

А после — что? Про ПОСЛЕ надо ли
мне знать? Я не успел воспеть
всё то, что ныне есть. ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ли
мне то, что ныне есть?

Не соразмерный меркам, разум меркнет. Верно ли,
что для чрезмерных мера — смерть, удавка?

Белла Ахмадулина

Не соразмерен и не современен времени,
в грядущее иду. Иду куда-то.

(реплика)

Не соразмерен времени, где жил:
уходит он в какое-то другое.
Слова Цветаевой: Поэт, Собака, Негр и Жид –
во всяком времени – изгой.

Аттила Йожеф

КИШЗОМБОРСКАЯ ПЕСНЯ

Ты – мастерица пуганицы вечной.
Затем, наверно, средь моей беды
мне снится сон таинственный и вещей.
Ты выглядишь в нём каплею воды.

Пою о том, что песня моя спета.
Как ты мила к товарищам моим!
Но всё ж округлым воплощеньем спектра
ты снишься мне, как ты не снишься им.

Мои печали без того печальны,
но это слишком – смыслу вопреки
у господина Шандора перчатки,
и зябнут мои бедных две руки!

А праздник – пьёт, изнемогает в плясках,
сегодня тяжелы его труды.
А я – всё сплю, всё сохраняю в пальцах
сияющую капельку воды.

Аттила Йожеф — Михаю Бабичу

г-ну Михаю Бабичу,
редактору „Нюгата”,
попечителю Литературного
фонда Баумгартена.
Будапешт.

Будапешт, 28.I.1933.

VI. Ул. Берталана Секейя 27, III, 47.

Глубокоуважаемый господин Бабич!

Обстоятельства вынуждают меня просить Вас, как попечителя Литературного фонда Баумгартена, оказать мне помощь из материальных средств Фонда. Причину такой просьбы я полагаю возможным изложить — отбросив естественную для поэта стыдливость — следующим образом.

Уже долгое время я и моя жена в буквальном смысле слова голодаем. Вот факт, который Вы можете проверить: Хозяйственная ассоциация писателей выделила мне в кафе „Клуб” в качестве обеда кофе с булочкой. Этой помощью я пользовался несколько месяцев, пока она, с 1-го января сего года, не прекратилась. Жена моя обедала у знакомых, помогая им по дому, но это уже становится неудобным.

Мои „доходы” в текущем году составили 15 (пятнадцать) пенгё. Эту сумму — как и кофе — я получил от Хоз. ассоциации писателей.

Почти всё наше имущество — включая постельное бельё! — находится в ломбарде. Из-за просроченной квартплаты я вынужден опасаться, что потеряю и ту однокомнатную квартиру, в которой мы сейчас живем. С 8 сентября я не мог оплатить счётá за электричество. Сегодня я получил сводный счёт за четыре месяца на сумму 19,35 п. и должен оплатить его до понедельника (сегодня — суббота), в противном случае освещение будет отключено.

Печь мы не топим. У меня нет обуви. То есть я ношу ботинки на пуговицах, 43 размера, подкладывая туда стель-

Белла Ахмадулина

ки, а мой размер — 39. На двери у нас уже полгода как слома-
на ручка...

Аттила Йожеф

Хорошо бы стать богатым,
есть, пока не надоест.
Сон о леденце так сладок,
как же сладок леденец!

Сколько снега, сколько хлада
в жизнь людей зима внесла.
Стать богатым очень надо,
но богатым стать нельзя.

Хорошо бы стать богатым!
Но богатым если стать,
станет ли свечи огарок
освещать мою тетрадь?

Я предавался волокитам
и бедствиям нужды крутой.
Меня считали вундеркиндом,
а был я просто сиротой.

Я чуть от голода не умер.
Не знал поблажек никогда.
Лишь в этом смысле был я „вундер”,
а в остальном же был я „кинд”.

Аттила Йожеф — Михаю Бабичу

...Конечно, намалёванные язвы куда эффектней, чем
раны невидимые, — я мог бы сказать, чтоб вызвать жалость,

что мы живём на сухарях и воде. Но в том-то и заключается истина, что, например, вчера вечером, оставшись без ужина и сигарет, я сосал чёрствые куски хлеба, которые жена когда-то давным-давно отложила на сухарики. Должен заметить, что к этому принудил меня не голод, а отсутствие сигарет. К голоду я привык...

Гортань, затеявшая речь
неслыханную, — так открыта:
довольно, чтоб ее пресечь,
и меньшего усердья быта.

Ему — особенный почёт,
двойкое злорадство неба:
певец, снабжённый кляпом в рот,
и лакомка, лишенный хлеба.

Из мемуаров: Мандельштам
любил пирожные... Я рада
узнать об этом, но дышать —
не хочется, да и не надо.

Так, значит, пребывать творцом,
за спину заломившим руки,
и безымянным мертвецом —
всё ж недостаточно для мўки?

И в смерти надо знать беду
той, не утихшей ни однажды,
беспечной, выжившей в аду,
неутолимой детской жажды?

В моём кошмаре, в том раю,
где жив он, где его я прячу, —
он сыт! А я — его кормлю
огромной сладостью. И плачу.

Белла Ахмадулина

Аттила Йожеф — Михаю Бабичу

...Привык. Почему же я выбрал этот момент, чтобы протянуть руку за горьким подаянием? Целую неделю я лежал в жару, с температурой около 40 градусов. У нас единственный узкий диван, на котором мы спим вдвоём. Спать с больным, под одним одеялом — любви для этого мало. Жена устроила себе постель на полу, положив одеяло и накрывшись пальто. Когда у меня температура снизилась до 37 с лишним, у нее поднялась до 39. Так что теперь она лежала на диване, а я на полу. Теперь, что ни день, на диване спит тот, кто хуже себя чувствует. У кого выше температура, кто сильнее кашляет и потеет — и так далее.

Мне крайне неприятно, что приходится просить денег у Вас, у человека, которому я когда-то причинил обиду. Очень неприятно мне и то, что досаждаю Вам своими намалёванными язвами.

Прошу принять заверения в моём почтении.

Аттила Йожеф

Аттила Йожеф

ТЕНИ

Длиннеют тени, как худые дети,
и так печальны силуэты эти,
игру свою творящие во мгле.

Отсутствие твое, словно планета,
вершит круженье среди тьмы и света,
как будто в небе сумрачном, во мне.

Как сладострастны выдохи растений,
и тяжек образ зрительных смещений,
и очертанья мира не верны.

Прошу тебя – войди в мое пространство,
будь так добра и поступи пристрастно –
освободи от этой глубины.

Аттила Йожеф

СТИХИ МОИ, СТРЕМГЛАВ НЕСИТЕСЬ

Стихи мои, вы – не мои, а всех,
кому нужны. И обитать вам где же,
как не везде? Я – есмь, и время есть,
не прозевать бы только миг надежды.

Когда богат, кто хочет быть богат, –
стихи мои, потворствуйте, прощайте!
Богатство алчных – безвоздушный ад,
где бедствуют их души-попрошайки.

Стихи мои, ненадобно геройств.
Нежней и млечней, чем мычит телёнок,
утешьте тех, кто сердцем чист и прост.
Стихи мои, спасите обделённых.

1980

Какое-то время назад мне довелось быть в больнице в Питере, на Васильевском острове. Я читала Пушкина и Гоголя. Но вот ещё что я читала (тогда впервые и в старом издании, со старой орфографией) – Антония Погорельского (это псевдоним Алексея Перовского). Пушкин писал брату из Михайловского, что он сразу узнал автора повести „Лафертовская маковница“, где действует мистический Кот. Прямо перед окном палаты был дом, который казался мне таинственным. В нём то зажигался, то гас огонь свечи и мерцали глаза кошек. Я выходила в больничный двор. Возвращаясь в палату, читала Погорельского, а вблизи стоящий дом с чердаком опять был освещён мерцанием свечи и глазами кошек. Всё это происходило на Васильевском острове (так писали в то время), но это был о с т р о в, и я нечаянно думала о Гогене, и никто не возбранял мне этого мечтания.

4 мая 1995

Посвящается Антонию Погорельскому

Кхе-кхе... кхе-кхе... а завтра Рождество.
 На площадях, курчавясь и пылая,
 Рождественское древо проросло.
 По европейским мостовым гуляя,
 друзья мои, вспомните Руссо:
 уединеньем душу утоляя,
 живу. Но алчно ропщет естество:
 де, где дары Святого Николая?

Не встать — в канун Рождественского дня.
Напасть и страсть берутся ниоткуда.
Ни месяца, ни прочего огня
нет в небесах. Опять кузнец Вакула
взнуздал, какого — не скажу, коня.
Во дни печали и в часы разгула,
друзья мои, вспомните меня!
Вставай, трудись, бездельница-простуда!

Кхе-кхе... кхе-кхе... идет на ум декохт,
поверх капота — накрест шаль, да кофта.
Не душегреен этот хлам! Доколь,
прах вас возьми, мне ожидать декохта!
Вздор ваш декохт! Подать настой, да тот,
до чьих достоинств барина охота
и в снах мне утешенья не дает.
Слёз у вдовы поболе, чем дохода.

Иль лучше так: кхе-кхе — и над платком
на миг один потуплены ресницы.
Хочу на бал — плясать со всем полком,
как толстые уездные девицы.
Не я плоха — ваш врач в уме плохом,
суёт флакон и всё бубнит о Ницше.
И кто-нибудь (вдруг я) — Бог весть о ком
вздохнет, завидев русский крест близ Ниццы.

Вообще, я примечаю, что недуг,
смирив мой дух, сам пребывает в духе.
Ходили гости — более нейдут:
уронит руки, как умела Дузе,
и спросит: — Друг мой, Вы — магистр наук,
что скажете о блохах и о дусте?
Недуг надует всех, его найдут
и мне вернут — его земной обузе.

Недавно заглянул через балкон
книг сочинитель. Все страшились брани.
Из-под бобра так и блестит белком

Белла Ахмадулина

и бровью водит: есть на свете баре.
Какая ласка в голосе больном,
изъявленном поблекшими губами:
— Хвалю Ваш труд. В России век благой.
Вы поняли значенье финской бани.

Вот — как султан, вкушает солутан,
тюрбаном нарядив температуру.
Хворь-прихвостень, как вертихвостка-тварь:
— кхе-кхе! — вдогон дурному каламбуру.
— Съезжай-ка в Тверь или в другую старь,
читай Минею и смирай натуру.
Опять дерзит: — Найду ли соли там?
И праведно ль подвергнуть Тверь недугу?

Но что „кхе-кхе”, коль есть пенициллин?
Приходит доктор, многодумный отрок.
Он хворь мою беретса исцелить,
кусая плоть касаньем жалец острых,
но надобно меня переселить
на остров. Нет ли жалоб и вопросов?
О нет! Словно в изгнанье — властелин,
вспять волн и славы, я плыву на остров.

Взирайте, мореплаванья отцы,
надвинув шляпы и плащи накинув,
завидуйте, молодые храбрецы,
чьё прилежанье пестует Нахимов
и будит мысль про чуждых стран красы
отель напротив, полный пилигримов.
Прощаюсь! Слезы леденят усы.
Склонились к муфтам дамы в пелеринах.

Не осерчай, суровый Крузенштерн.
Люблю твой лик, когда позёмка вьется.
Не спрашивай, куда плывет, зачем
гадательное затверденье воска.
Лишь бы спроста ревнитель шхун и шхер
на след мой слабый не науськал вёсла.

Я добралась и озираю в щель
мой остров, что Васильевским зовется.

Шутила я — но боле не шучу.
Васильевского острова всех линий
понятна схема детскому шажку,
и шагу мужа в лад со шпагой длинной,
и ножке, коей я хвалу шепчу,
невидимой, но несомненно дивной.
О чём грущу? Что рассказать хочу
Рождественскою ночью нелюдимой?

Начну: я этих стен абориген,
пристрастный к лампе, тумбочке и стулу.
С брезгливой скукой сосчитал рентген
костей незанимательную сумму.
Пока я суп, на стуле сидя, ем,
из близости гавань окликает сушу:
— Островитянин должен быть — Юген!
Всех прочих — гнать! Не наливать им супу!

К окну вплотную подведён чердак.
Он хладен, как потухшая геенна.
В нём кошки — то ли в сумрачных чадрах,
то ль впрямь черны, как нагота Гарлема.
Чердак не прост и волшебством чреват:
в пустом окне вчера свеча горела.
Из гавани подуло в ум: — Чем так
есть суп, не лучше ль думать про Югена?

Навряд ли б этот остров уберёт
скитальца от остуды и осады.
Зачем ему триумф чужих ворот
и все эти фасады и ансамбли?
Здесь слишком грузен верховодный рок! —
как вдруг из очарованной мансарды
явились таитянки грудь и рот
и туши манго млели и мерцали.

Белла Ахмадулина

В окне — чердак. Но и само окно —
вечернего мороза измышление.
— Предмет иль факт, по мнению Кокто,
для остроумца — крапина мишени, —
сказал вошедший, догадайтесь — кто.
Меня ль желал он повидать, мышей ли, —
вторжение гостя сердце увлекло,
и сказка — чем ночнее, тем смешнее.

— Не всем дано сидеть в кафе „Куполь”
под Рождество, — промолвил Кот печально.
— Не всем дано сидеть в окне с Котом
под Рождество, — Коту я отвечала.
— От лишних слов меня уволь. — Изволь.
(Уж мы на ты!) Он смолк — и я молчала.
— Халат с мочалом не войдут в „Куполь”,
где был Гоген! — Донёсса смех причала.

— Причал помешан, мало что коряв, —
Кот расплетал таинственные нити. —
Один корабль, дырявый, как карман,
соврал ему, что плывал на Таити,
и розовый показывал коралл —
небось, украл. Всем велено: таите
причала страсть к полуденным краям.
Причал вскричал: — Рты лживые заткните!

Кот спросил: — Когда врачи взойдут?
Обходы их излишни и опасны.
В моих покоях я храню сундук.
Что атласы? Глядят во тьму алмазы,
из чьих сверканий огонь любви воздут, —
какие ими венчаны альянсы!
Камзолы, звёзды, парики — всё тут.
Но всё это не подлежит огласке.

— Мой Кот, стремглав влюбилась я в чердак.
Пусть при чертях служил твой предок всякий, —
я всей душой люблю тебя и так,

за профиль горбоносый и усатый.
Ты добр и мудр, ты много книг читал,
так одари еще одной усладой:
пусть род котов хранит в своих чертах
твой цвет: зелено-серый, полосатый.

— А хорошо ль мочалкою дразнить?
— Что за беда! Зови его „причалкой”.
Ты сам сказал: ему наглец дерзил.
Недвижному, легко ль следить за чайкой
под лязг дрезин? — Каких еще дрезин? —
Ну, дизелей, иль дрязг портовой чайной.
Он, впрочем, счастлив. Остается с ним
Юген: никем не знаемый, печальный.

Мой сердцегрейный, сердцедный Кот!
Что твой сундук без двух твоих смарагдов?
Ты помнишь ли, как Пушкин анекдот
рассказывал и слушал Космократов?
Кот возопил: — Читатель рифмы ждет!
На, вот! — Нишкни. Строений косоватых
внутри не часто брезжил огонёк.
Вор думал: припозднился мой соратник.

Рассказ и устрашал, и услаждал,
а Космократов (он без псевдонима —
Титов), придя домой, спросив шандал,
всё записал прилежно и наивно,
и Дельвиг повесть вскорости издал.
— Зачем меня сюда ты посадила? —
воскликнул Кот. — Я всё это читал,
и вот чердак, где было это диво.

— Но Пушкин сказывал, что этот дом сгорел.
— Сначала он в его воображенье
построен был, темно смотрел, старел,
а надоел — что лучше, чем сожженье?
Поэтому же столько там смертей.
Всеобщим крахом кончи изложенье!

На острове Васильевском метель,
а сказка — чем ночнее, тем скушнее.

Или пойдем шалить в моём дому.
Поныне там сохранны тени эти.
Проведаешь и деву, и вдову,
и франта-чёрта, принятого в свете,
и шулеров с рогами и в дыму,
графини прянешь в ведьминские сети,
как бы в гамак, чтоб подремать в аду.
Причал заметил: — Нечестивцы все вы.

Жуковского луна вошла в зенит.
Снег сыплется. Приветный и волшебный
горит огонь в окне Карамзиных.
Как возбуждён озябший гость вошедший:
брегет, подвески, воздух — всё звенит.
Стеснён оковой жемчуга ошейной
пульс в гордом горле. Гостя веселит
извив ума — ущельный и отшельный.

— На острове Васильевском был дом, —
он говорит, — убогий, диковатый.
Вы знаете, что за девиц и вдов
есть хлопотун, учтивый и коварный... —
Уже он любит этот вздор, но вздох
испуга гасит свечи вдоль диванной.
Кто сам желает разобраться в сём,
пусть том возьмет из десяти девятой.

Кот, я сама не знаю, почему
меня в угодыя прошлого так тянет.
Уж ни в каком неймётся мне дому,
и тяжко знать, что худшая из тягот —
стараться жить по чести и уму.
Вот острова Васильевского тайнам
доверюсь я и вовсе в них уйду.
Причал воскликнул: — Слава таитянам.

— Честь, честь и честь — и боле ничего, —
ответил Кот. — Не продаваться ж в черти!
— Шесть, шесть и шесть — антихриста число, —
но эта мысль для устрашения черни.
— Шерсть, шерсть и шерсть — взгляни в мое стекло:
три шерсти там, и пусто в каждом чреве.
— Есть, есть и есть, уж скоро Рождество
взойдёт звездою в небе и на древе.

Вкруг дуба ходят по цепи коты
учёные, а прочие — промокли.
— Кот, ты влюблён? — Ее зовут Котí.
Но более — ни слова, ни обмолвки.
— А те, в густых чадрах, смуглее тьмы?
— Их роль скромна: кухарки, судомойки.
Ты мне стишок какой-нибудь прочти.
Где книг возьмёшь? Лишь слухи да намёки.

Здесь — краткой оговорки пустяки.
Читатель, я на встречу не надеюсь,
но к этой притче приложу стихи,
Кот будет их издатель и владелец.
Из лап его не вырвет ни строки
никто, я твёрдо на Кота надеюсь.
Но не взыщу, коль всё порвет в клочки
Кота младенец или многодетность.

Декабрь 1985
Ленинград,
больница им. Ленина

НАСЛАЖДЕНИЯ В КУОККАЛЕ

Ты ему: ближе к делу, а он — про козу белу.
Поговорка

1 Синяя арка

Когда Корытов арку возводил
(детдом ему отец, а мать — лихо),
мне арки цвет иль действия светил
навязывали имя Метерлинка.

С Корытовым нас коротко свело
родство и сходство наших рукоделий,
и, без утайки, каждый про своё,
мы толковали на задах котельной.

Моё занятие не давалось мне.
Корытову противилась пластмасса.
Рассвет синел в моём пустом окне.
В худом ведёрке синий цвет плескался.

Какой триумф желали увенчать
Корытов — аркой, брэнной и фатальной,
а я — издельем вымысла в ночах,
для нас обоих оставалось тайной.

На кухне незлобивый пересуд
решал: зачем с Корытовым мы дружим?
Но арки — не всемирны ли абсурд,
всех съединивший слабым полукружьем?

Перо не шло, Корытов кисть ронял,
и, наблюдая исподволь за нами,
в игру вступали флейта и рояль —
в том доме обитали музыканты.

Заслышав их, являлась мысль уму:
мираж не затруднителен, не так ли?
Разъятому и сирому всему
не в тягость будут своды синей арки.

И, может быть, немало бесприютств
утешатся под призрачным покровом.
Перо воспишет, звуки воспоют,
лоб озарится измышленьем новым.

Был остов арки бледен и раним,
чем умилял смешливую окрестность.
Пока, пожалуй, только Метерлинк
решился заглянуть в её отверстость.

Пока Корытов занят был трудом,
я шла гулять. Уже залива всплески
твердели. Рядом громоздился дом —
ровесник, кстати, знаменитой пьесы.

Синей синиц не обитало птиц
поблизости. Но птица: флюгер-символ,
воссевшая на деревянный шпиг, —
поскрипывала, отливая синим.

В осьмом году построен для усад,
охочий для гостей и фейерверков,
дом-старец превратился в детский сад,
эпохи гнев стерпел и опровергнув.

В былые дни — какие кружева
вверх-вниз неслись по лестницам парадным?
Какая жизнь предсмертно здесь жила
при играх бриза с флюгером пернатым?

Залив держал Кронштадт над синевою.
Цвела витражных стёкол филигранность.
Пил кофе на террасе Сапунов,
вещуньи-гущи не остерегаясь.

Белла Ахмадулина

Ещё четыре года у него
до дня, когда Блок отвечал так строго.
Пока ладью во мглу не унесло,
четыре года — как огромно много.

Я жадно озирала скромный миг,
чьи продолженья скрытны и незримы,
на что и намекал не напрямик
дом, обращённый в бедные руины.

Стыл детский сад, покинутый детьми.
В угодых, слёз наследством населённых,
Фирс-Насморк брёл средь беспризорной тьмы —
изгой-избранник алых носоглоток.

Я удивлялась прибыли тоски,
игрушку позабытую всего лишь
заметив (здесь, в строке, — укусы осы
и перерыв, оброненный совочек).

Утрату детской ручки описать
не удалось: поры предзимней дивность —
оса, со сна проведая слово „сад”,
над вздутьем кисти пристально трудилась.

Рука опухла. День клонил ко сну.
Строку б исправить — да оса мешала.
Не прогнала я острую осу —
как вспльчивый привет от Мандельштама.

Явившийся из отчуждённых звёзд,
отринул всё, что знаю и рифмую, —
*„Вооружённый зреньем узких ос,
сосущих ось земную, ось земную...”*

Я погасила лампу и спала,
диктант нездешний записав в тетрадке.
Откуда бы ни донеслись слова,
я их сочла наитьем синей арки.

...С утра Корятов, отрицавший власть,
схватился с бригадиром-моралистом.
Туманилась и распадалась связь
строенья с непричастным Метерлинком.

Мы оба были с ним посрамлены.
Чурались букв строптивые страницы.
Корятов красил синим валуны —
со зла иль в честь недостижимой птицы.

Пока на арку тратилась казна
и брег залива становился синим,
мою судьбу возглавила Коза,
весьма её возвысив и усилив.

II Отступление о Козе

Всем известно уже: это было, когда
строил синюю арку Корятов.
На крыльце на моём возбелела Коза,
с грязью долгих дорóг на копытах.

Увидав, каковы её стать и краса,
сочинители музык вскричали:
— Все мы — слуги твои. Князь над нами, Коза!
Не оставь нас в беде и печали.

Нам наскучил бемоль, нам диез надоел,
мы к ногам твоим сложим клавиры.
Но капусты тебе не грозит недоед
и достанет десертной ковриги.

Стал блистателен день, стали люди не злы,
всё исполнилось музыки дивной.
Есть у Бунина образ подобной козы,
изумительной и трагедийной.

На крыльце полнолунно мерцала Коза,
но порой, по прибрежной дороге,
отражая закат, несказанно красна,
шла со мною Коза в Териоки.

Одинаковы были у нас имена:
удручён синевой производства,
если зодчий-Корытов окликнет меня —
для начала Коза отзовется.

Разъярённый, явился начальник Козы:
привязал её к велосипеду
и повлёк в направленье домашней грозы,
но не смог побороть непоседу.

Вновь Коза на моём утвердилась крыльце.
Сник хозяин её одичавший.
Спать ложилась Коза, и, созвучно Козе,
сотрясался мой домик дощатый.

Становилась Корытова арка синей.
Снег был ранен сугробами марта.
Мы бродили под аркой с Козою моей,
как заблудшие призраки МХАТа.

Наш с Козою союз, всем на радость, крепчал,
но учёное сердце предзнало,
что любовь непреложно венчает печаль:
сборы, сумерки, запах вокзала.

Нрав Козы стал злокознен и рог не ленив.
Безутешно вспомню сегодня,
как прощалась с брадатостью козких ланит
и с талантом её своеволья.

Был ужасен отъезд, разрывающий нас.
Вечно быть мне пред ней виноватой.
Горе жизни моей — вопрошающий глаз,
перламутровый, продолговатый.

Я, расплакавшись, ехала в Зеленогорск.
Козья прыть догоняла автобус.
В скорый поезд пускать не дозволено коз.
Так кончается грустная повесть.

III Наслаждения в Куоккале

Вот мимо хвойных дюн и хмуро-хворых здравниц,
блистая и смеясь, летит беспечный гость.
Куоккале моей не чужд сей чужестранец,
но супится вослед ему Зеленогорск.

Народец наш не зол, не то ему завидно,
что путник здрав умом, пригож, богат, любим.
Обидно, что не зря он мчится вдоль залива.
Мы ж попусту стоим и на замók глядим.

Его влечёт бокал с напитком можжевельным.
Соломинку возьмёт хозяин финских вод.
А тут измучен ум сомнением ежедневным:
то ль вовсе нет её, то ль кончится вот-вот.

Потупится пред ним угодливость балета.
Нам это — тьфу, у нас своё па-де-труа.
Кленовый лист за ним взметнулся раболепно.
Я этот лист потом в грязи подобрала.

За быстролётность миль унылость вёрст тягучих
он держит... — Не замók загадочен, а то,
что продавец — внутри, и с нею Колька-грузчик.
— Какой? — Коляй с бельмом, с наколкой „Бельмондо”.

Чу! До-диез стекла и тремоло кларнета
(Стравинский). Милый яд — вот льётся, вот замолк.
Там самобранный стол накрыт на два куверта.
— Открой! — Еще чего! — отвечает замók.

— Знай, Клавка: этот миг, когда ни с чем ушли мы,
еще припомнишь ты, варимая смолой! —
Опрятные крыла вдоль родины-чужбины
влекущий, поспешай в град, не скажу: какой.

Град — не скажу: какой, у сердца есть сноровка
во сторону твою отсель глядеть с тоской.
Меж мною и тобой в чём сила приворота?
Мне с ней не совладать, град, не скажу: какой.

Я расточаю дни на вольные хождения,
их цель сокрыта в них, пока брожу окрест.
Но всё ж и у меня свои есть наслажденья.
Да, наслажденья есть. Вот скромный их реестр.

iv Домик

Влиятельных вблизи дизевов и неврозов,
чьи зябкие крыла летают налегке,
люблю мой кроткий герб, мой слабоумный розан —
в обоях на стене и в ситце на окне.

Живу себе, привет нехитрого дизайнера
доверчиво приняв и пылко возлюбив.
Давно меня страшат дерзанья, притязанья.
А мой цветочек — ал, убог и незлобив.

Навряд ли мой сюжет покажется кому-то
заманчивым, но я считаю за триумф,
что птичьей толчеёй наполнена кормушка.
(Клянётся кот, что он — не зряч, не востроух.)

Прилягу на диван — кот мне на грудь ложится,
целебно усмирив тахикардийный бег,
как если бы на нас не зарилась ошибка
сварливых новостей и неизбывных бед.

Круг кошек здесь широк и в дружестве не робок.
Пристрастья их сердец прочны и не просты.
Их путь сокрыт в снегу, зато поверх сугробов
возводят вертикаль и движутся хвосты.

„До” — „ми”, рояль, где „ре”? Потеряно, продуту,
утрачено тройной, трепещущей трубой.
Водопровода трюк: утробное профундо.
До-ми́к, на миг я спасена тобой.

Свет лампы возожжён. Сокрытый смысл нашёптан.
В два цвета Дебюсси — черно-бело в окне.
Дарован домик мне, как если бы Нащокин
был милостив ко мне. Точнее: *й* ко мне...

v Ветреная осень

Стояла осень счастья моего,
верней — неслась, нас к северу сдувало:
купальщиков, которым море — по
колелю, — с моря, лежебок — с дивана,
и Репино о скалы Монрепо
разбилось бы, но руки воздевала
подвижница Музея, небосклон
моля, чтоб раритеты не рассеял.
Клин экскурсантов, дик и невесом,
к надземным приноравливался сферам.
Сам знаменитый самобранный стол
возглавил вихрь, влекущий нас на север.
Стол-сумасброд, что потчевал невроз
элиты видом быстролётной снеди,
на этот раз с народом жил не врозь
и родственно вращался в лад со всеми.
Гуськом стоявший, взмыл Зеленогорск —
об очереди спорили соседи.
В условиях неба очередь важна
для упасенья сирой единицы.

Белла Ахмадулина

В земной зиме в неё водворена
промозглость наша, как в парь теплицы.
Нестройность стаи опекала она
умом периодической таблицы.
Полёта вождь — сотрудница „Пенат”
изрядно знала репинскую тему.
Купальщик моря кротко ей пенял,
что не натурщик он, и зябко телу,
да и в Музее он не мог понять
жить в здоровом хладе Репина затею.
По счастью, встречный ветер налетел.
В надежде, что прилавок одолеем,
снижались мы всё круче и смелей.
Встав в очередь, теснима единеньем,
вновь в должном месте я, как элемент
в системе, что содеял Менделеев.
Котомку отворив, невдалеке,
не чуждый общих чаяний корыстных,
с высокомерной тайною в лице,
нас, усмехаясь, озирает Корытов.
— Эх, времена! — он думал, как и все,
мне не доверив помыслов сокрытых.

vi Светает

Седьмой в исходе час, и можно обозреть
согласье меж окном и синим томом Блока.
Извне глядит рассвет на милый образец:
не слишком ли синё? а так — не слишком блёкло?

Лилового чуть-чуть добавить ли? Скорей!
Срок малый отведён для сотворенья месив.
Вот для чего со мной пришелица-сирень,
персидская, и с ней помолвлен полумесяц.

Махровой гушины высокородна спесь,
и солнце, припоздав, её не одолело.

Дом с башней за окном еще не зрим, но есть:
шпиль разрывает мрак, как при грозе в Толедо.

Луч жёлтый привнесён в угрюмую зарю.
В избытке цвета нет излишка и огреха.
На сбывшийся рассвет устало я смотрю, —
как бы на свой шедевр задумчивый Эль Греко.

VII Окрестности

Где имени старухи Изергиль
дворец воздвигнут пышно-худосочный,
люблю бродить. Не вовсе извратил
Палладио заветов буйный зодчий,
но скромность кватроченто превзошел,
ей навязав барочные ужимки.
Догадкой созерцатель поражён
и восклицает: — Я не на чужбине,
не близ Виченцы! — Где же? — Где-то здесь,
где надобно, в округе анонимной.
— Зачем же, в паллий невпопад одет,
стоит певец старухи знаменитой?
И гипсу зябко в этакую стынь.
Больное изваяние согрето
моей привычкой сообщаться с ним —
вблизи залива, да, но не в Сорренто.
Строение возведено давно
для утомлённых членов профсоюза.
Их отдых скуп: кино и домино,
тайком — вино. Всё кротко, простодушно.
Но есть и клуб для маленьких торжеств:
обнимка танцев услаждает будни.
В названье клуба: красной краской в жезь —
уныло вписан мрачный вестник бури.
Присутствует лечебница — она
сама хворает в стылых коридорах.
Сердешная, она наречена

Белла Ахмадулина

в честь Данко, так придумал кардиолог.
Но, знать, устройство наше таково:
всё к сердцу припеклось и приболело.
Моё, в залив глядящее, окно
уверено, что вперилось в Палермо.
Дух италийский — не новинка здесь.
Да, Рима нет, но это поправимо.
Неподалёку санаторий есть,
зовётся он: „Джузеппе ди Марино”.
Я думаю порой: кто сей морской?
Душою мягок и в сужденьях резок,
любил ли граппу? Мучимый тоской,
должно быть, о всеобщем счастье грезил?
Что ж, он отчасти своего достиг.
Прислуга санатория сварлива,
но жалостлива к жажде душ простых
в буфете у Джузеппе выпить пива.
Добившись утешительных глотков,
уст благодарность прямо говорила:
— Хоть мы не знаем, кто он был таков,
но в чём-то прав Джузеппе ди Марино.
Брожу средь перелесков и лощин.
Ко мне привык люд местный и приезжий.
Иду домой и вижу, снег лежит
на синей арке, несколько осевшей.
Всё в радость мне: и веник на крыльце,
и домика возлюбленная малость,
и снег, что тает на моём лице,
прохладен, как новёхонькая младость.

VIII Поездка в Зеленогорск

На остановке собрался народ.
Его возбуждает дорога.
Автобусы следуют в Зеленогорск,
их два, но замешкались оба.

Собравшийся в школу, скажи, педагог:
как выбрать точнее и тоньше?
Мне двести одиннадцатый подойдёт,
но двести двенадцатый тоже.

Приблизились вместе, и тесно уже
калошам, заплатам, прорехам.
Мне двести одиннадцатый по душе —
как будто в нём Питер приехал.

Не весь и не сам, но послал, сколько мог,
даров: за чугунной решёткой
видение сада, и Аничков мост,
в стекле лобовом отражённый.

Но мне — пятьдесят километров всего
до них, если ехать обратно.
Меж тем над заливом совсем рассвело.
Автобус до цели добрался.

По Зеленогорску неспешно хожу
вдоль луж и асфальтовых кочек.
Заветный мой град в отдаленье держу
и рыбу скупаю для кошек.

В киоске воды попросила стакан
с гостинцем Полюстрова скушным.
Казалось: какой-то другой истукан
стоял, озирался и слушал.

И кто он — не знал ни один документ.
Во лбу расплылось и погасло.
Всего-то спросили его: — Вы за кем? —
а он отвечать испугался.

Хотел оттеснить его рыбный отдел,
да заступилась кассирша.
Милиции глаз на него поглядел —
не зло, просто так покосился.

Уборщица, с рыбьим борясь серебром,
прошла, чешую выметая,
и продавщица, взмахнув топором,
порушила глыбу минтая.

Тому, кем я стала, казались страшны
от рубки озябшие руки.
Он тупо уставился в рыбы зрачки,
закрытые наледью мўки.

Да кто он такой – этот пришлый чужак,
залётная сирая птица?
И где его хладный подвал иль чердак,
где он без прописки ютится?

Иль спит он тайком под вокзальной скамьёй,
обманщик законов и правил?
Он изгнан с работы, отвергнут семьёй
и алиментов не платит.

Зачем он направился в универмаг?
Приказчик был сух и надменен,
когда он бессвязно его уверял,
что сделать покупку намерен,

а именно: пуговицу приобрести
желает он – время настало.
Просимое выдал ему продавец,
что было любезно и странно.

Румяная тётка смеялась над ним,
мальчонку пожарче закутав:
– Вот это обнова! – Он ей пояснил:
– Ещё и не то мы закупим.

В толкучке, видать, полегчало локтям:
он вёл себя вольно, речисто.
Рояль он оглядывал „Красный Октябрь”,
но тронуть его не решился.

Ему перерыв на обед помешал.
Добычливой публикой сдавлен,
он вышел. Нечаянно он помышлял
о граде печальном недалежном.

В пятидесяти километрах всего...
Не слишком ли дерзко, что — рядом?
Свободою: медлить — мосты развело
меж градом, столь близким, и взглядом.

Он вышел. Не вовсе он был нелюдим:
сплотились мы и не расстались.
Мне стало заметно, что мною любим —
мною бывший отчасти — скиталец.

Присвоенный образ прижился ко мне.
Пространных снегов обитатель,
я — ровня всем сущим на этой земле
и пуговицы обладатель.

А что до туманов моей головы, —
погодой ободрены зимней.
в очередях, в толчее голытьбы,
они — многодумней и зримей.

Удача поездки моей — не мала,
юдоль отвергаю иную.
— Здорово! — Корытов окликнул меня.
Мы с ним завернули в пивную.

А там — доставало услад и прикрас,
в дыму вдохновенье витало.
Корытов же был в телогрейке — как раз
ей пуговицы не хватало.

Сгодился подарок, какой-никакой,
для пущей красоты телогрея.
Вдруг мною овладел совершенный покой —
впервые за долгое время.

Белла Ахмадулина

Жаль — надобно на остановку идти.
Что ж, наши поклажи не тяжки.
Нам двести одиннадцатый по пути,
и двести двенадцатый также.

Автобус удобен, помимо всего,
и тем, что внушает автобус
к случайным соседям любовь и родство
и к добрым деяньям готовность.

Ум кошек явлению рыбы внимал.
Гуляла метель по равнинам.
С Корытовым мы разошлись по домам.
А пуговицу — уронил он.

— Декабрь 1996



*Белла
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 3

ПОЭТИЧЕСКИЕ
ПОСВЯЩЕНИЯ
И ДАРСТВЕННЫЕ
НАДПИСИ

Зое и Павлу Антокольским

Люблю, люблю! — при снегопаде,
угодном нынче январю,
дарю себе листок тетради,
которую я Вам дарю.

Я к Вам бреду сквозь сад — и рада,
что между нами лишь одна
преграда: слабая ограда
вкруг сада, снег и тишина.

В родимом доме, в зябком зное
обмолвок, ямбов и вина
душе моей влюблённой — Зои
и Павла светят имена.

С глубокой нежностью и болью
целую Вас и говорю:
Пусть служит Вам моей любовью
тетрадь, которую дарю.

1 января (13 января) 1967

ЭКСПРОМТ КОБЕ ГУРУЛИ

Пусть так — и в тайне тишины
так очевидно, как на сцену
взойти, но чем мы сведены?
Одною целью? Или цепью?

Что б нас сегодня ни свело, —
пусть будет бурей бред и бурность.
И в мастера, и в мастерство
я влюблена, люблю — любуюсь.

При чистом звоне молотка
являют прелесть молодую
в латунь влюбленная рука,
рука, плененная латунью,

и утверждают сильный звук,
что спет латунью или медью...
Не вырваться из этих рук!
Не вырываюсь... медлю... медлю...

1967

Тбилиси

ПОСВЯЩЕНИЕ ЛУЛУ

Я думала вчера, воззрившись на луну
сквозь выдумки окна, сквозь белые соцветья:
а долго ли тогда ты плакала, Лулу,
верней — всплакнула ты, Лулу, от скорбной вести?

Ты не плаксива и не плакала, Лулу,
но я люблю твои бесхитростные слёзы.
И что мне до тебя в моём углу?
Декабрь. Нет сил. А тут еще морозы.

Среди сугробов что мне Мирабо
и мост его, Твоим певцом воспетый?
Что Сена мне? Ведь сказано: равнó
г д е мыкаться: над Камой иль над Сеной.

Но что-то есть, но что-то есть, Лулу,
меж всеми нами что-то есть на свете.
И, вперившись в луну, зачем я так люблю
тебя, Лулу? Лулу, прощай навеки.

Любовь моя, Ваш день рожденья
я ныне начала, когда,
в свой срок, сокрытая от зренья,
взошла полночная звезда.

На чердаке, в ночной свободе,
о Вас молился бред строки.
Но прибыль света в небосводе
опережала бег руки.

Всё, что меж мной и Вами было,
возможно ли предать словам?
В ответ на мой вопрос — светило
сбылось и относилось к Вам.

Став соучастником восхода,
я, ничего не написав,
спокойна стала, как природа,
здесь на земле и в небесах.

Рассвет июльских первых суток,
безумная, я приняла
за Ваш триумф, за мой поступок
во славу Вашего числа.

О чём писать? Я самозванка,
я — Ваша выдумка, я вздор.
Так длилась наша перебранка,
любви извечный разговор...

Белла Ахмадулина

И раздаётся смех небесный,
и знаю: день житья-бытья
что значит по сравненью с бездной,
где неразлучны Вы и я?

АЛЕКСАНДРУ МОИСЕЕВИЧУ ЭСКИНУ
в день Торжества 27 апреля 1976 года

Хитёр поэт, коль он пришел под видом дамы.
Что с дамы взять? Всегда виновен лишь поэт.
Вот новость про меня: открыть уста в честь даты
(коль дата мне мила) — я не стыжусь, о нет!

Где речь о Вас, мой друг, — там помысел о сцене,
о таинстве кулис, о пышности тирад.
Какие имена! И нет священной цели,
чем детскою душой боготворить Театр.

Где о Театре речь — там нет моей гордыни.
Я — черный раб его белейших фонарей.
Какой бы небеса звездой ни наградили —
всё милостыни жду у сих святых дверей.

Опять Театр возжёт возвышенные свечи,
и мы при них — в слезах, как сотни лет назад,
и надобен губам прилив старинной речи,
и бескорыстный свет затеплился в глазах.

Но речь о Вас, мой друг. Бессмысленно и скушно
сбираться для тщеты, для совершенья зла.
Мы собрались вокруг Вас — в честь Вас и в честь
искусства,
и смеем полагать, что собрались не зря.

Хоть некогда ко мне благоволила Муза,
я всё ж из тех, кто глуп и в зеркало глядит.
Позвольте Вас хвалить и за осанку мужа,
чей грациозен дух и благороден вид.

Белла Ахмадулина

Ах, просто день таков, что хочется добра лишь!
Я Вас благодарю за эту благодать.
Слукавишь невзначай — вовеки не поправишь.
А нынче день таков, что нет причины лгать.

Поверьте, что пиит, терзаемый глаголом,
Вас искренне любил и чувству доверял.
По праву тех, чей сан зовётся слабым полом,
смиренно Вас прошу принять сей дифирамб.

Апрель 1976

БЛАГОДАРИЮ ТЕБЯ...

Александрю Левину

Благодарю тебя, мой Левин,
за то, что был великолепен
странноприимный странный дом
(сей адрес: „Кировский, шестнадцать”, —
по свету белому шататься
устан, — туда с собой возьмём).

Благодарю тебя, профессор,
за то, что ветрен ты и весел
(сквозняк меж морем и Невой
не столько ветреник, сколь твой
нрав непреклонный и живой).

Благодарю тебя, мой Алик,
за дружбу, за любовь (и шкалик
мы упомянем, черт возьми),
за лёгкость мысли, за отраду
ходить с тобой по Ленинграду
зимой — но в близости весны...

1978

Ленинград

ПОСВЯЩЕНИЯ НАНИ

1

Так я жила-была: не зная,
какой была, пока жила.
Но знаю: я была не злая.
Теснила сердце мне сквозная
с метелью схожая жара.

Холодной бедственной зимою
мой голос так я берегла,
что если он еще со мною,
то не меж грудью и спиною
берёт исток его река.

Знать, не во мне его начало:
вовне и выше, где — звезда.
Я пела, если я молчала,
не взявши маленького часа
для передышки — никогда.

Пусть длится шутка небосвода
без вас такая ж, как при вас,
вчера такая ж, как сегодня,
душа добра, душа свободна,
угодно ей воспеть романс.

Звезда потворствует и мучит.
Что вечность мне? Мне жизни жаль.
Я упусти — звезда получит.
Я не о том. Ты, мой голубчик,
повремени, не уезжай.

Голубчик мой, голубчик чей-то,
какой великий чудный вздор.
Сколь тщетны все мои мученья,
коль звук, в котором нет значенья,
слезами застилает взор.

Не довольно ли нам пререкаться,
не пора ли предаться любви?
Чем старинней наивность романа,
тем живее его соловьи.

То ль в расцвете судьбы, то ль на склоне,
что я знаю про век и про дни?
Отвори мне калитку в былое
и былым мое время продли.

Наше „ныне” нас нежит и рушит,
но туманы сирени висят
и в мантилье из сумрачных кружев
кто-то вечно спускается в сад.

Как влюблён он, и нежен, и статен.
О, накинь, отвори, поспеши.
Можно всё расточить и растратить,
но любви не отнять у души.

Отражён иль исторгнут роялем
свет луны — это тайна для глаз.
Но поющий всегда отворяет
то, что было закрыто для нас.

Сколь старинны, а не постарели
звуки пенья и липы аллей.
Отвори! Помяни поскорее
ту накидку и слёзы пролей.

Блик рассвета касается лика.
Мне спасительны песни твои.
И куда б ни вела та калитка —
подари! не томи! отвори!

Из высшего мрака, из вечности грозной
кто смотрит так пристально вниз?
Дитя! Не тянися весною за розой!
Дитя! Ни за чем не гонись!

Вовек не тянись! Но зимою и летом
пред всем, что увидишь, склонись.
Земными цветами, заоблачным светом
воздастся тебе. Не тянись!

Что можно добыть — всё пустое, всё мелочь.
Безмерно — что можно отдать.
Отдай все цветы. Всё отдай, что имеешь.
Ликуй, отдавая опять.

Пусть тянутся алые розы за нами,
фиалки к ногам упадут.
Дары нас настигнут, как песенка Нани,
что выпорхнет вскоре из уст!

Дали жизни, прекрасно короткой,
и еще, чтоб не вовсе ушли,
дали душу и голос, который
равен смыслу и свету души.

И, пока небеса не отняли
то, что дали, — сама расточу.
Эта песнь посвящается Нани.
Это — песнь, если я захочу.

Мне неведомо: может быть, скоро
разминёмся. Но если хоть миг
мне остался, то всё ж для экспромта
он достаточно долог и тих.

Предадимся любви и влечению —
взять на время и на времена
голос Нани: серебряный с чернью,
мрачно-алый, как старость вина.

О, нажива: прожить и потратить,
песни петь, словно перстни ронять.
Труд поющего горла — подарок.
Нам осталась забота: принять.

Зорок свет небосвода над нами.
Тень грядущего — в бледности лиц.
Но какая свобода, о Нани, —
обольщать, обожать и шалить.

Так наш дух к расточительству жаден:
мы возносимся, падая ниц,
чтоб взглянуть на певца с обожаньем
и к ногам его лоб уронить.

1978

КОЗЛЁНОК

Анатолию Львовичу Каплану

Раз месяца нет над доро́гой, —
дорогу не сразу найдешь.
Но, к счастью, козлёнок двурогий
на месяц двурогий похож.

Восьмой и счастливый козлёнок,
во тьме излучает он свет.
И семеро братьев казнённых
не умерли вовсе, о, нет!

Когда в чисто поле он выйдет,
он глазом так мило косит.
Козлёнка никто не обидит!
Козлёнка никто не казнит!

Не ест он капусты казённой.
Средь желтых цветов и травы
белеет-гуляет козлёнок.
Спасибо ему за труды!

Как смех его тонок, как звонок!
— Всё грустно! — вы скажете, но —
смеется печальный козлёнок,
поскольку всё это смешно.

Живет наш козлёнок на свете.
И — тысячелетье подряд —
вослед ему люди и дети
с любовью и верой глядят.

Белла Ахмадулина

Во тьме, средь созвездий зеленых,
всё ж — пусто, куда ни взгляну.
Но, к счастью, подросший козлёнок
немного похож на луну...

1979

Виктору Ерофьеву

Крепнет и множится вихрь, обрывающий
лист от растения, душу от плоти.
Но от меня не отъявший товарищей, —
нищ он и жалок, дела его плохи.

Бедный простак, объедатель отечества,
дланями узников шарящий в недрах,
други его — его крахом утешатся.
Я? — Я бы выбрала мыкаться в нетях.

Жалко подслеповатой змеиности,
лучше б съюлила с пути рокового.
Грустный удел: у собак быть в немилости
и привлекать к себе гнев граммофона.

Мы-то любимцы созвездий, мы — баловни
беды дарующей, пристальной силы.
Други мои, словно прочего мало мне,
как вы красивы, о, как вы красивы.

Виктор, вот ручка из края Рокфеллера.
Роскошь судьбы еще не оскудела.
Пьем за Попова, за Ерофеева.
Выпьем за Битова, за Искандера.

Ваша навек, а сегодня особенно.
Пиршество — вот наша участь и право.
Если учесть благосклонность Аксёнова,
это — виктория, а не опала.

1979

Белла Ахмадулина

ШУТКА ДЛЯ МИЛОГО ДЭДИКА
В ДЕНЬ ЕГО РОЖДЕНИЯ

(Дарственная надпись на книге „Три века русской поэзии”)

Эдуарду Жилко

Как щедр сей фолиант, о Боже!
Три века в нём — и всяк суров.
Здесь в западне одной обложки
томятся Дельвиг и Сурков.

Сурков, замечу между делом,
мой возглавил времена.
Мне жаль тебя, любезный Дельвиг,
но пожалей и ты меня.

Среди пиитов и поэтов
меня, читатель, не ищи.
В столетье том, в столетье этом
нет места для моей свечи.

Есть выход! Есть лазейка входа!
Насильно втиснусь в гордый том.
Мне быть пронирливой охота —
один лишь раз есть в этом толк.

Хочу из книги молвить: — Дэдик!
В день тридцать первый октября,
среди печалей тех и этих,
дай нам благословить тебя.

Ты — друг друзей, родитель деток,
ты — завсегдатай всех пиров,
но ты — и заседатель, Дэдик!
Будь справедлив и будь здоров.

Стишок бесхитростный рисуя,
скажу: коль был бы, Дэдик, ты
один вершитель правосудья, —
достало б миру правоты.

Но есть другие в мире лютном,
привыкшем бить и убивать.
И ныне на тебя лишь людям
осталось, Дэдик, уповать.

О Дэдик, будь отцом и дедом,
а мне всегда ты будешь — брат.
Как я люблю в тебе, о Дэдик,
что ты влюблён, и пьян, и прав...

1 ноября 1980

В НОЧЬ НА 21 ДЕКАБРЯ 1980 ГОДА

Владимиру Войновичу

Войнович — в чём виновен? Он — в одном лишь
виновен. Очень. В том, что он — Войнович.
За это — в даль, куда Макар — телят
не ганивал. (За малость, за талант
быть — лишь Войновичем.)
Российская словесность
всё знает. И в уме зачем-то замелькал
Макар — мой дед по матери.
И не мелка ли местность,
где нам, Володя, в разных быть местах
назначено, не знаю — кем. Мы — так
не разминёмся, что: словесность, вечность —
всё пустяки, там — всё старо!
Вот новость:
Войнович
и я —
не разрываемы
тщетою житья-бытья
и всем, что — после.

1980

Не состязались. Но реванш —
не мой. Мой проигрыш — в охоте
за мыслью: как сказать, что — Ваш
одиннадцатый в Новогодье

мой день. Ночь перед днём и день
пред ночью. Дни и ночи — сколько? —
Бог весть. Для счёта дней, недель
у вечности нет микроскопа.

Ваш день я провожу как свой.
Снег, слякоть, толчея людская.
Покупки, вздоры, жизнь. А стон —
есть тайна. И не допуская

глаза — к слезам, уста — к словам,
прохожих бедных — к тайне стоны,
я в чём-то присягаю Вам.
Когда не сплю и сонно-сонно

я вижу Вас. Тот чёлн, ладью,
иль катер. Озеро. Истоки
грядущего. Я то люблю,
что Вы красавица и строги.

Но в Вашей строгости изъян
есть несомненный: слабость, минус.
Мы — все. Меня из всех из нас
Вы выбрали, чтоб только милость

Белла Ахмадулина

мне выпала. Был кроток жест
ко мне и не повинен в силе.
Так Вы за то, что здесь и есмь,
меня заведомо простите.

Проснулась в тишине, но словно бы от крика:
— Проснись! — проснулся пульс, снабжающий висок
сознанием бытия. Как я люблю, о Рига,
все острия твои, пронзившие восход.

Светает. Лгну к окну. Вид из окна обширен.
И видимость за мной следит через окно.
Шпиль готики суров. Он не простит ошибок.
Вдруг ошибиться мне сегодня суждено?

Шпиль-судия, прости! Что надобно собору
от бедственной души? Она пред ним чиста.
Но — на помост взойду и разминусь с собою,
греховно разомкнув для пения уста.

Безмолвно петь люблю, не услаждая слуха,
досужего иль нет — не ведаю. Но слух,
отверстый для стихов, не может знать досуга:
стихи внушают боль — какой уж там досуг.

Что я скажу ушам, что я очам открою,
забывши письменна для трелей и рулад?
Пока уста твои не обагрились кровью,
труби, труби в твой рог, неистовый Роланд.

Пою — словно платок багряностью мараю.
Вот вся моя судьба, сокрытая от глаз.
Но я люблю тот миг, в который умираю:
я, умерев за вас, останусь жить для вас.

Какая в горле сушь, и му́ка, и прогорклость.
Как непреклонен шпиль в сияющем окне.
Отдайте горестъ — мне. Себе возьмите голос,
любовь и жизнь мою — на память обо мне.

1981

Лакомка-неженка-Юрмала,
баловень близи морской.
Вешнего воздуха юного
приступ — омоет тоской.

Светлое море, не мало ли
света исторгла душа?
Дзинтари, Дубулты, Майори,
жизнь побыла и ушла.

Строго, не суетно, издали,
волею сосен и дюн,
Дубулты, Майори, Дзинтари
пестуют душу и ум.

Майори, Дзинтари, Дубулты,
вот что случилось со мной:
люди мне славу придумали —
мой это грех иль не мой?

Что ни тверди, ни придумывай —
жизнь побыла и ушла.
В чём-то виновны пред Юрмалой
бедные ум и душа.

Слышу ответ побережия:
бедствуй и помни — таков
выбор: иль совесть белейшая,
или — скончанье стихов.

1981

Белла Ахмадулина

Афону Буху

Любезный друг, мой милый Бух!
Пишу не второпях, но вкратце,
не потому, что жалко букв,
а потому, что чаю вкрасться
в первопрестольный град Москву.
Я, впрочем, новостей не иму.
Семнадцать дней цветет в мозгу
лишь дань черёмухову игу.
Увы, черемухи моей
соцветья бледные сгорели.
Я б не снесла печали сей,
когда бы не прилив сирени.
Сирень вселилась в интерьер,
тебе, как никому, известный.
Прочти посланье — и скорей
супруге кланяйся прелестной.
Я твой передала привет
обрадованной им Наталье
Ивановне. Прощай, мой свет.
Трудись и благоденствуй дале.

17 мая 1983

Таруса

И волос бел, и голос побелел,
и лебедята лебедю на смену
уже летят. Но чем душе балет
приходится? — уразуметь не смею.

А кто я есмь? Одиллий и Одетт
влюбленный созерцатель обреченный.
Быть может, средь предсмертных лебедей
я — самый черно-белый, бело-черный.

С чего начать? Не с детства ли начать?
Вот — я дитя. Мне колыбель — Варварка.
Недр коммунальных чадо я, где чад
и сыро так, как в сырости оврага.

И вдруг наряд из банта и калош.
Театр, клянусь, я не умру, покуда
не отслужу твоих восьми колонн
стройнейший строй вблизи любви и чуда.

Театр, но что меня с тобой свело?
Твой нищий гость, твой тугодум младенец,
я — бархата, и злата, и всего
сверканья расточительный владелец.

Мой нищий дух в твой вовлечён полёт.
Парит душа и небу не перечит.
Ты — Божество, целующее лоб.
И плачу я, твой безутешный грешник.

Во мне — уж смерклось, а тебе — блеснуть
без убыли. Пусть высоко и плавно
парит балет — соперник и близнец
души, пока душа высокопарна.

1983

Восславим дам, как Пушкин нам велел.
Все — ниц пред обаяньем их целебным.
Галантно ль быть их вялым пациентом?
Ни-ни! Я — их певец и кавалер.

Какой тебе ни уготован пол,
коль петь рождён — пой женщин несравненных.
Отличен от возлюбленных неверных,
всегда о них печётся мой глагол.

Итак, турнир красавиц, умниц, тех,
в чьей белизне нет темного пробела.
Пред Клавдией Степановной робея,
ей подношу мой раболепный текст.

Экспромт — не скор, и неуклюж сюрприз.
Но как мне быть? Пристало ли пииту
вот так встречать прелестную Лолиту,
как я, в себя ее вбирая шприц?

Замечу: так нежна ее рука,
что но-шпа мне — любезней прочих лакомств.
Чтобы Лолите не случилось плакать,
моя рука — вдруг станет ей нужна?

Я возлюбила этот дом и сад,
двух львов в саду. Сквозь димедрол и но-шпу,
мне кажется прозрачной этой ночью:
я вижу свой, к Вам устремлённый, взгляд.

Войду ль сестрой в белейший круг семьи,
трепещущей, чтоб чьи-то пульсы жили?
Здесь были мне страдания чужие
родимее, чем горести мои.

Как мой привет, примите сей рассвет.
Какую мысль ловлю во лбу ладонью?
Пусть за любовь воздастся Вам любовью.
Пусть белый свет к Вам будет милосерд.

1984

Ленинград

Булату Окуджаве

Средь роз в халате и в палате
я не по чину возлежу.
И всё тоскую о Булате,
всё в сторону его гляжу.

Когда б не димедрол и но-шпа,
я знала, что заря всенощна.

Здесь вдоль гранита тени бродят,
здесь на ночь все мосты разводят —
один забыт и не разъят
меж мною и тобой, Булат.

1984

Ленинград

Зое и Павлу Антокольским

Ход вам навстречу так плавлен,
и зова вашего звук —
это добрая весть.
Вот уже: — „Здравствуйте,
Павел и Зоя” — я говорю,
и покуда я есмь,
кроме тишайшего звона —
я правил знать не умею.
Всё сказано. И недосказано.
Зоя и Павел — вот я.
Но Зоино прозвище „Эльф”
вряд ли подходит для паники зоба.
О, не накликать! Но что это?
Смерть. Разве мне боязно — Павел и Зоя —
свидеться с вами
туманности средь.

1985

Семёну Кирсанову

Не надо! Никогда! — ни дома и ни сада,
и гостя не зови в былое, в дом и сад,
здесь кто-то жив другой, кто он ни есть, — отрада,
что есть и жив, дай Бог, — но всё-таки... ограда
другая... как войду? и для каких услад?

Не надо! Не владей ни садом и ни домом
и гостя не зови в былое, в летний день.
Владенье есть одно — с недолгим и знакомым
виденьем совпадешь, со светом законным
былого дня — то я. Прости, люблю, владей.

18 сентября 1986

(день рождения Кирсанова)

Владимиру Высоцкому

Всё чаще голос твой... —
из чащ каких? из кущ? —
приходит в сны мои,
прощая... окликающая...
Куда меня зовешь? О, знаю: не могу
твой голос звать меня туда, где ты...
Но скушно там, где я и нет тебя. И сущ
вопрос небес ко мне: а ты — какая?

Так мучусь, брат мой, друг.
Свидания во снах — таинственная участь.
Но даже сны мои — твой неусыпный труд,
упасший жизнь мою. Позволь сказать: живучесть.

Январь 1987

Михаилу Чехову

Ночью подъехала к дому.
Кротко сказала вознице:
— Я здесь пробуду недолго.
Впрочем, заране возьмите
и подождите. —

Резвилась
мысль про цветы, ибо цены
меньше на них в Таганроге.
„Кружка для кваса разбилась.
Лампа и стёкла к ней целы”.

Огнь на мысу, весть о роке.
Как веселит и пленяет,
словно на сцене и в роли,
мальчик в прихожей, племянник.

Дóма проведать родимость
ночью без знаемой цели.
„Кружка для кваса разбилась.
Лампа и стёкла к ней целы”.

Декабрь 1991

**Надпись на книге воспоминаний
Сальвадора Дали
для Людмилы Черновой**

В какой дали от Сакартвело,
в какой близости от Сальвадора,
Людмила, скорбно, совершенно
лепила изваянье вздора
любезность уст. Дано одно лишь:
ты, тайна тайн, меня неволишь,
ты — каторга, и ты — свобода,
ты — навсегда, а я — сегодня,
в сей день (не вру ли, не вечер ли?)
гроз властелины пировали,
их власть мою герань любила
и пожалела. О, Чочори,
о, Кари, Картли... Пиросмани —
родная близость. И мы, Людмила,
навряд ли разминёмся с Вами.
Простит — вдруг не простит? — Дали
слова мои: всяк милый, сущий,
печаль твою со мной дели,
любовь мою себе дари,
Людмила, вот счастливый случай
судьбы: во дни Ильи пророка
(и Зевса) — кроткая природа
мне Вас напомнила...

Ваша Белла Ахмадулина

В Малеевке, в июле 1993 года

Давиду Самойлову

Чемо Дэзик, чемо швило,
Дэзик, малое дитя
(Дельвиг — Пушкину), ошибка
только в том, что не дойдя,
не дошед... Где взять мне „шика”
кахетинского? Должна
я тебе признаться, Дэзик,
вскоре скажут: было, дескать,
де, бывало. Вот и дерзость
рифмовать вблизи дождя.
Дэзик, малое дитя,
всё витают надо мной
громы: Гмерто, Боже мой.

Март 1995

В саду дрозды перекликались,
влажнел и стыл туман любви.
И плыли мимо Элбе-Хаус
кораблики и корабли.

Рододендрон в дождливых топях
свой утверждал лиловый всплеск.
Я возлюбила, Алфред Тёпфер,
Ваш образ: доблесть, дерзость, блеск.

Быть может, днём унылым, зимним
в родимо-горькой стороне
воспомню благодатный Зиггер —
и сразу полегчает мне.

„Дождя золотого” позолота
очнётся там, где зябнет ртуть.
Прощайте, Хельмут, Лизелотта.
Светло стесняет сердце грусть.

6 июня (День рождения Пушкина) 1995
в Элбе-Хаус

**Дарственная надпись
на книге „Грядя камней”**

Булату Окуджаве

Булат — суров, на ласку скуп.
Несмело я звоню Булату.
Читатель ждёт уж рифмы: „слух”.
У рифмы я в гостях бываю,
звоню; Булат: — „Варю я суп”, —
варить? дарить коня улану?
Но по Тверскому по бульвару
когда я, крадучись, иду,
лицо у многих глаз краду:
лицо посвящено Булату.
И знаю: выше есть любовь
любви. Читатель ужаснётся.
Но только пусть твоя ладонь,
твоя, а не моя ладонь
лба охладевшего коснётся.

31 августа 1995

Арчилу Гомиашвили

Знаю: праздник будет завтра.
Четверть века — весть внезапна.
Я-то не любила злата
и богатства никакого.
Даже Ильфа и Петрова
скромно, робко я любила.
Празднество уже мне мило,
ибо мне мила осанка
золотистого Остапа
и „Остапа золотого”.
Гмерто, где возьму я слово,
чтобы славного Арчила
слово вдруг не огорчило?
„Цвима” — дождь. Печально, мокро.
Злато по-грузински „охро”.
Иль не так? Не уст ошибкой —
охраняемый улыбкой,
взяв в подарок сей пустяк,
пусть цветёт „Златой Остап”.

7 сентября 1995

Дарственная надпись на книге
„Самые мои стихи”

На Эйфеля был зол Золя.
Парижа дерзкая новинка
ему претила. Но — наивна
суть поединка такого.
Над башней Бори Толокнова
уж воздымается заря.
Дымы, и думы, и дома,
и здание, где я, — есть знание
несовершенного ума
о том, как много жизнь дала,
но взыщет долг: любя, терзая
мой лоб. Как всё старо, как ново.
Кто разрешит извечный спор?
Прошу Бориса Толокнова
принять предутренный экспромт.

В начале 7-го часа

5 ноября 1995

Марлену Хуциеву

Мне ль помышлять о примиренье
вражды, содеянной людьми?
Не лучше ль думать о Марлене,
о дружбе душ и о любви?

Творцы и жертвы синема,
все — пасынки иль сыновья
твоих ста лет, кинематограф.
Блажь сердца, зренья синева
в которых мучима конторах, —
забудь! Воспомним о любви,
о дружбе душ и о Марлене.
Неплавный ход его лады
ходов иных — родней, милее.
В уме ленивом — мало лени
дабы не думать о Марлене
и скрыть, что мной любим Марлен.
Вот — подношение Марлену.
Давненько мне не двадцать лет.
Но кланяться — еще умею.

20 ноября 1995

Памяти Алеся Адамовича

„Глаза затравленной газели...”
Над нами — общий рок и сглаз.
Глазели, спорили, галдели,
уста усталые хотели...
Что — глас? Меж этими и теми
Вы — выше. Жизнь — не в хрупком теле,
Вам тайна правды удалась.
Что Вам, надземному, затеи
земные, низкие, всё те же?
За Вас я боле не боюсь,
я не борец, я не борюсь,
борьба — тщета, но нежность уст:
о Беларусь! — желает молвить.

Сентябрь 1996

Минск

**Надпись на книге,
подаренной вместе с подковой Ольге и Пьеру Морель
в день (19 сентября 1996 года) прощания в Москве,
печального прощания Ольги и Пьера с Москвой, —
не навсегда, как надеются они, как я желаю.**

О, Пьер, о, Ольга, вот — подкова.
Я обстоятельствам покорна
печали, нежности, разлук.
„О” — я люблю сей буквы звук,
всесветный и высокопарный.
Себе твержу: вне твёрди плавай.
О, Ольга, — я пишу, — о, Пьер,
подкова — счастья пожеланье
и охранительна. Потерь
страшна мне прибыль. Но меж нами
нет расставания. Подоле
да сохранит Вас дар подковы
и мой, и многих...

19 сентября 1996 года
в Москве и всегда и везде
Ваша *Белла Ахмадулина*

**Дарственная надпись
на книге „Однажды в декабре”**

Как я люблю Вас, Таня, Зяма!
Душа устала и озябла:
давно не видела я Вас.
Примите обожанья власть
мою и многих... Знаю: завтра —
уже сегодня — я тебе
преподнесу книжонку прозы.
О Зяма! Нет иного знания,
в твоём согреюсь я тепле,
спрошу: что возраст? Мы не взрослые,
возросши с мыслью о тайге,
„Читатель ждёт...”, но вот и розы.
Предслышу, ты ответишь мне:
Меж нами разницы и розни,
разлуки нет, нисколько нет.
Живём, как небеса велели,
И Снежной королевы гнев
растопит нежность Герды...

Гердт!

горжусь: мы в замкнутом вольере —
вольнее поднебесных птиц.
Прости посланья робкий грех.
Люблю предутреннюю тишь.
Писала, уж рассвет синел,
и всё нежнее и сильнеей
твой мы: Боря Мессерер
и Белла.

21–22 сентября 1996

Белла Ахмадулина

Посвящения и дарственные надписи Борису Мессереру

1 Подарок Боре в минуту гнева
(дарственная надпись на книге „Fever”)

Подвержена дурной манере
на Вас неистово сердчать,
not always, нет, сейчас, сейчас
(be careful, Borya). I am angry.

Ваш дом — печальный рай и край
судьбы моей, but what a reason,
зачем — не знаю, я капризам
здесь подлежу and want to cry.

Себя — ославлю, Вас — прославлю.
Сержусь. Угмонюсь к утру.
Но всё ж — be sure: it is the true,
лишь в этом истина: I love You.

P.S. О, Стычкин, преуспевший в шике
знать: что почём в иной земле,
простите горемычной мне
мои английские ошибки.

О, Гарри, странствуй и прости.
Но как со стороны Колумба
очаровательно и глупо
столь чудный дар Вам поднести.

2 Дарственная надпись на книге
Анны Ахматовой „Poesie”, Guanda,
подаренной мне итальянцем Адриано
(а я подарила Боре)

Боре –

Сей том, подарок итальянца,
ларцу подобен: отвори –
в нём заточенный блеск таланта
озолотит зрачки твои.
Ведь я – не скряга огнеглазый,
чтобы одной, в ночной тиши,
считать и мучить алчной лаской
сокровища чужой души.
О, нет, и малостью предмета
владеть мне лень и недосуг!
Пускай же драгоценность эта,
как воздух, выпорхнет из рук.
Любимый мой, когда неточный
мой голос плакал в тишине,
дарила я свой дар ничтожный
тебе – на память обо мне.
Всё переменится отныне!
На память обо всём, что есть,
тебе достанет этой книги.
Владей же! Окажи мне честь.
Предавшись риску и капризу
писать, я уверяю в том
Бориса, что ему, Борису,
всегда принадлежит сей том.
Я – около, по доброй воле,
пока ко мне благоволят
холсты, шарманка, граммофоны
и двух Вергинских взгляд и взгляд...

5 февраля 1975

Белла Ахмадулина

3 Дарственная надпись на книге „Fever”
(William Morrow & Co.)

Сначала:
„And at the very end I'll say:
Good-by, don't commit yourself to love...”

Боре

Где в эту ночь душа витала?
Как смела видеть города,
которых я не повидала
и не увижу никогда?

Какая дальняя свобода
вознаградит мою судьбу
и фей тридцать седьмого года
прикосновение ко лбу?

Мои ночные сновиденья —
каникулы души больной,
и вся земля — мои владенья,
нерасторжимые со мной.

Но, если у чужого моря
нам не встречать чужой весны,
когда наступит осень, Боря,
ты в Бёхово меня возьми.

Искать пристанища иного —
какая бедная тщета.
Весь этот мир — не больше слова
и не просторнее холста.

1976

4 Подарок Боре
(дарственная надпись на книге „Озноб”)

Тихонею, скромницей и недотрогой
прикинулась книга. Не верь ей! Она —
изгой, еретик и ослушник, который
отторгнут и проклят во все времена.

Скучает по книге костёр ненасытный.
Пусть лакомства ждет огнедышащий зев —
не дам, да и только. Подарок насильный
прими, мой любимый, покуда я здесь.

Что книга! Бог с книгой! Не в книге же дело!
Спасибо за то, что страница пуста,
что я так любила тебя и сидела
прилежная, как на уроке письма.

В чём смысл промедленья судьбы между нами?
Зачем так причудлив и долог зигзаг?
Пока мы встречались и тайны не знали,
кто пёкся о нас, улыбался и знал?

Неотвратимо, как двое на ринге,
встречались же мы в том постылом дворе.
Благодарю несравненного Рикки
за соучастие в нашей игре.

Пока приближение дня рокового
сбывалось и зрело в любом моём дне,
как долго четыре твоих граммофона,
тараша их зевы, взывали ко мне.

Белла Ахмадулина

Я — с ними в родстве, я — из них, я — такая ж,
я так же печально склоняю чело.
Люблю, когда ты их звучать понукаешь.
А если ты мельком меня приласкаешь, —
не надо ни славы, ни книг, ничего...

5 Борису Мессереру
(дарственная надпись на книге „Tenerezza”)

Чердаком, граммофонами, главным
Граммoфоном в семье четырёх
граммофонов, всем выпрeнным кланом
граммофонов — (как ты уберёг
от судьбы, проникающей в щели,
словно бабочка, жрущая шерсть,
грациозно-громоздкие шеи
одиноких предметов-существ?), —
чердаком, где в четыре раструба
плачет хор, для кого-то немой,
для меня громогласный, где стужа
мирозданья — единственный мой
климат быта, где душам и формам
всех вещей я — незванный близнец,
граммофонами и Граммoфоном,
тем, любимым, — слезою блеснуть
глазу легче, чем видеть, — не знаю,
чем еще: всей нескладицей уст
я клянусь тебе и заклинаю,
заклинаю тебя и клянусь
при окне непомерном, при иге
нашей тайны, при всём, что в окне...
Где б ты ни был — вот надпись на книге.
Где ни есть я — вот весть обо мне.

18 мая 1976

Ленинград

Белла Ахмадулина

Моих слепых движений поводырь,
на зоркость к ним ты расточаешь зреньё.
Твоим зрачкам так жадно повредив,
каким же быть должно стихотворенье?

И как начать — не знаю. Так начну.
В год похорон, и проводов, и плача
я жизнь свою за мёртвую, ничью
уже считала — ничего не знача.

Я видела, что новый день настал,
но мне в него не обещали входа.
Так началось — ты знаешь — год назад
на смерть влиянье жизни и Худфонда.

Твоя любовь одна пеклась о том,
чтоб мне дожить до правильного срока,
чтоб из Худфонда позвонили в дом,
где снова я жива и одинока...

1982

7 Боре

Дарю тебе сию тетрадь.
Но на бумаге благородной,
о Боже, вдруг – не плодородной,
что я сумею написать?

Стихи, что брезжат вдалеке, –
неразличимы и любимы.
Как говорят у нас в Ладыге,
дарю тебе кота в мешке.

Прости! Ты к просторечью строг.
В местах печальных и прелестных,
в Тарусе и ее предместьях,
вовсю мать-мачеха растет.

На образ прянувшей травы
простёрли тщанье и уменье
все те, кто если не умнее,
то и не злее детворы.

Соотношу мою луну
с луной, известной на Арбате, –
и получается объятье
с тобою. Я тебя люблю.

30 марта 1983

Таруса



*Белла
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 3

СТИХИ ДЕТЯМ

ПЕСЕНКИ ДЛЯ АНИ И ДЛЯ ДРУГИХ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

Вот как это было. Это было давно, когда вы, девочки и мальчики, были совсем маленькие, а некоторых из вас еще не было, но мы ждали вас и радовались, что скоро вас увидим.

Сейчас у меня две дочери: Аня и Лиза, а тогда была одна Аня. Ане восемь лет, а Лизе три года. А тогда Ане было столько лет, сколько сейчас Лизе. Вот и считайте: когда же всё это было?

А было вот что. Мне пришлось уехать и оставить Аню с бабушкой.

Вы сами понимаете, что Аня тогда не умела читать, и всё-таки я писала ей письма. Эти письма не потерялись, и вы сейчас их услышите и прочтёте, потому что в них нет никаких секретов. Наоборот: ведь, если уж человек пишет стихи, он не только для своих детей их пишет, а для всех детей на белом свете.

Да, я уехала и жила в доме около моря. Дом стоял на высокой горé, на которой росли прекрасные цветы и деревья. Каждое утро я выходила из дома и любовалась горою и морем. И каждое утро я встречала удода!

Я и раньше, и в детстве знала, что есть такая прекрасная птица, у меня и портрет даже этой птицы когда-то был. Но одно дело портрет, а другое дело — увидеть живого удода. Все птицы стройны и красивы, но, уверяю вас, что тот удода был особенно и несказанно хорош собой. У него чёрно-белые перья и замечательный оранжевый хохол над головой. Всякий раз я смотрела на него с любовью, а удода не обращал на меня внимания: ведь я гуляла, а он трудился, он занимался важным делом — добывал корм для своего семейства, которое, наверное, у него было многочисленно.

Если вы еще не видели удода, я от всей души желаю вам с ним встретиться — на зеленой горе, возле синего, голубого и серебряного моря или в другом чудесном месте.

Описание удода

Анина мама, гуляя у дома,
каждое утро встречает удода.

Длинному, длинному носу удода
мошек вылавливать очень удобно.

Требуют пищи, любви и ухода
малые, милые дети удода.

Ах, ненаглядная птица удод,
я по сравненью с тобою — урод.

Короток нос мой, и чёлка убога,
нет во мне стати и прыти удода.

Но не хочу утешенья иного —
дайте мне только смотреть на удода!

Только одна мне удача угодна —
пусть процветает семейство удода!

Пусть говорит восхищённый народ:
— Славься, прекрасная птица удод!

У меня в жизни было много удач. А однажды мне очень повезло: у меня был знакомый поросёнок. Он тоже жил на этой горе. Он был озорник и весельчак. Этот поросёнок был хорош собой, еще он имел прелестный и странный характер. Дело в том, что ему пришлось воспитываться и жить среди

собак, и он соблюдал все собачьи повадки. Вы сами знаете, как собака радуется, когда встречает человека, которого она любит. И вот так же и поросёнок — всегда бежал навстречу людям вместе с собаками и, как они, помахивал хвостиком, что не все поросята умеют делать. Единственное, что он не умел, — лаять. Вот я хочу, чтобы на память об этом прекрасном поросёнке, который сейчас уже, наверное, вырос, вам осталась эта маленькая песенка.

Поросёнок

Что такое поросёнок?
Нос румяный — это раз,
и вдобавок пара сонных,
пара синих добрых глаз.

Я прощу тебя, проказник,
безобразник молодой,
потому что так прекрасен
этот хвостик завитой.

Поросёнок молвил важно:
— То ли будет, погоди.
Я мой хвостик после ванны
накручу на бигуди.

И вот у меня был знакомый поросёнок. Это как бы я похвалилась перед вами столь счастливым знакомством. Но сейчас речь пойдет о дождике. И хвалиться мне особенно нечем, потому что дождик наш всех общий знакомый. Просто однажды я заметила, что был теплый дождик, из тех, что называют грибными, и всё-таки мамы, как они обычно это делают, уводили детей от дождя, от луж. И в этот момент мне показалось, что дождику было немножко грустно остаться одному.

Дождик

Грустный дождик, бедный дождик,
зря ты падаешь с небес:
бабки внучек, мамы дочек
забирают под навес.

Целый день на белом свете
разливался плач дождя:
— Где вы, маленькие дети?
Я и сам еще дитя.

Всех вас мама целовала,
я остался сиротой.
Вы в плащах из целлофана,
я одет лишь наготой.

С кем играть? Куда мне деться?
Ведь под именем дождя
притаилось чье-то детство,
чья-то чистая душа.

Аня дождь берет в ладони:
— Здравствуй, дождик голубой,
погуляем на балконе
и Фому возьмём с собой...

А однажды с безоблачного неба пошел дождь. Спрашивается, откуда он взялся и зачем?

Всё понятно: добрый дождик
должен воду раздавать,
должен кисти взять художник,
чтобы дождик рисовать,
синеглазый сторож должен,
чтобы зря не рисковать,
сторожить большие лужи,

Белла Ахмадулина

чтобы свет в них не погас,
чтоб они не стали хуже
или уже в берегах.
Но скажите: почему же
пёс гуляет в сапогах?
Отвечал обутый пёс:
— Сапоги велел я сшить,
чтобы Аню насмешить.
Вот и всё, конец посланью.
О моём узнав письме,
все собаки просят Аню
передать поклон Фоме.

Обо всём этом я и написала стихи для Ани и для вас,
композитор Н.Починщиков придумал музыку, и получились
песенки.

Вот вам эти песенки — на память об удоде, о поросён-
ке, о дождике.

1976



*Белла
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 3

ПЕРЕВОДЫ
ИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ПОЭЗИИ

ВСЕГДА

Мадам Фор-Фавье

Всегда
всегда мы будем рваться в даль, а всё ни с места
не стронемся.
Такая уж судьба,
такая мѣта:
вперед! Звезда, еще одна звезда,
планета и еще одна планета.
Туманности превозмогать. Желать
спешить вовне, дабы не быть внутри.
Камней-то — мало, нам нужна комета.
Но всех комет владелец: Дон Жуан,
а у него их тысяча и три —
доподлинно известно это.
Изнемогая от любви и слѣз,
теряет силы, обретает силы
и принимает призраки всерьез,
и он, и все его кометы сиры.

Но сколько же забывчивых миров!
И как они забывчивы! Как глупо,
что не умеем мы забыть даров
шести — поскольку шесть частей у света.
И где Колумб, чтобы спросить Колумба,
как всё же было это
и труд каков
находки и забвенья континента?

Терять!
Всё потерять. Не потерять найти
потерь. Всё повторять: прощай, прости!
Всё потерять, оставив пустошь для открытия.
Всё потерять —
и обрести.

О, МОЯ ПОКИНУТАЯ МОЛОДОСТЬ...

Покинутая юность — крах цветов.
Прав разум, созревая и трезвея,
уже не зрение занятие зрачков,
а зоркость подозренья и презренья.

Покинутое не хочу позвать
вернуться. Вот прохожий — кто он?
Он нарисован. Вовсе одинок пейзаж.
Но у него есть соучастник: клоун.

И дерево звезду взамен цветка
имеет в кроне. Ничего нет кроме:
лишь дерево и клоун и река,
поддельная река текущей крови.

Холодный луч вздымает пыль и прах.
На декорациях и на щеке играет
твоей. Вдруг револьвер. Щелчок и выстрел: крах!
Портрет твой улыбнулся. Кто же ранен?

Стекло разбито. И за рамой, за
дымом клоун предается мукам.
Мотив, который распознать нельзя,
колеблется меж помыслом и звуком,

меж будущим и памятью. Пора,
о молодость моя, прощаться с милым
былым. Душа покойна и полна
лишь сожалением и здравым смыслом.

Тонино Гуэрра • Tonino Guerra

Поэт Тонино Гуэрра родился в местечке Сант-Арканжело ди Романья. Он пишет стихи на диалекте романьоло, понятном лишь его прямым землякам. Остальные итальянцы более знают его как романиста: его проза написана на общеитальянском литературном языке.

Его известность много больше только отечественной популярности. Тонино Гуэрра – автор многих киносценариев, возымевших всемирную судьбу и славу, в том числе для фильмов „Блоу-ап” Антониони и „Амаркорд” Феллини.

Из титров этих знаменитых картин, а на самом деле из глубокого московского снегопада однажды в беспечном плаще южанина явился на пороге изящный человек, лишенный лишней плоти, с примечательной теменью пылко-пристального взора. Таяние снега придавало должный блеск мгновению, когда ты снова получаешь в дар – дар другого человека, подтвержденный живой прелестью лица, облика, повадки. Способ рукопожатия, совершенная – до дна души – открытость глаз и улыбки, маленький жест восхищенного дружелюбия в сторону собаки много скажут о собеседнике, чей язык тебе неведом, не говоря уже о диалекте романьоло. Как и должно быть, эстетический и житейский диагнозы пленительно совпали – поэт.

Стихи Тонино Гуэрра написаны на его первом, заповедном, детском языке и полны людьми, населяющими маленькую итальянскую провинцию. Всё это бедные, незадачливые люди, одарённые своенравием и причудами, занятые трудом и нуждой, успевающие положить руку на голову ребёнка и приласкать животное (дети и животные обитают в стихах в трогательном множестве).

Белла Ахмадулина

Наверное, именно этих людей первоначально любил уроженец этих же мест Федерико Феллини, относя эту любовь и жалость к людям вообще.

Я лишь потому упоминаю лишний раз прославленных друзей Тонино Гуэрра, что его поэзия не вспомогательно, а полноправно соотносится с их творчеством, совпадая с ним в пронизательном зрении к малостям мира – сквозь увеличительную слезу сострадания.

Нечаянно получив маленький и драгоценный подарок от Феллини, я оценила грациозную любезность рисовальщика и дружескую щедрость Тонино: без него тут никак не могло обойтись. Цветная ребячливая картинка изображает милого и челепого человечка на тонких ножках с плачущими глазами и смеющимся ртом. Не знаю, кто это такой, но это кто-то хороший, непобедимо-беззащитный, терпящий печаль и дарующий радость, несущий весть о всечеловеческом и милосердном смысле искусства.

Тонино Гуэрра скромнен, разумеется, и никогда не искал преднамеренно внимания и интереса к себе. Но он заметил и знает, как жадно и щедро любят стихи в просторном месте земли, где мы с вами живём всегда, а он часто гостит.

Этой любви достанет и стихам, написанным на диалекте романьола, но не только же для тех, кто живет в Романье.

Я надеюсь, что вскоре в печати появится более обширная подборка стихотворений Тонино Гуэрра в переводах Е. Солюновича, Р. Сефа и моих, с предисловием Андрея Тарковского.

ПИРОЦ

Вот вам — гавань под гамом мятущихся чаек
и над
жизнью рыб быстротечной:
лачуги, уключины, сети,
гниль, мазут и канат, перламутра и ржавчины наст,
и две лодки легли на песок —
не для сна, а для смерти.

Умиранье — не отдых, а труд.
Так лежат — навсегда:
вниз задохшимся ртом и натруженный горб выгибая.
„Голубая” — зовётся одна, а другая — „Звезда”.
Ну, а вместе они — та звезда, что была голубая.

Мачты в воду воткнулись, как прежде в надводную синь.
Сколько сил было прежде! Всё сгнуло, всё притупилось.
Вот пейзаж. Пейзажист поджидает, чтоб кто-то спросил:
— Пирс и лодки понятны. Но кто упомянутый Пироц?

Пироц — бедный рыбак; в мёртвых лодках живущий старик.
Нет, скорее, он старец по ряду примет и отметин.
Из серебряных рыбок обед золотой мастерит.
В скарабеев играет, что свойственно старцам и детям.

Мякоть рыбьего тела съедает он сам.
А коту
(где прошлялся всю ночь? как угрюмому псу не попался?)
отдаёт остальное. Костей не даёт никому.
Сами знаете: кость, если ей поперхнуться, опасна.

Вот уж несколько дней в одиноком просторном углу
воскрешает он лодку. Какую? Да ту — „Голубую”.
Или, скажем, „Звезду”. Мне-то что? Я люблю люблю.
Ту, что выберет старец, и я наобум облюбую.

Вот и парус залáтан. Пробоины рваного дна
он врачует смолою и паклей. Он знает уловки,
чтоб лодка плыла.

Для чего это надобно?

Для

уплывания вдаль, как положено людям и лодке.

Что жуку эта грусть? — обойдётся без игр скарабей.
Жаль того, кто в ночи любит шляться и с псом разминуться.
Кыш, хвосты, ясновидцы, бегущие прочь с кораблей,
не умеющих иль не имеющих цели вернуться!

Всё готово, но Пироцу надобен ветер
и чтоб

отыскался табак. Опускает он правую руку
в завихренья воды. Чем резвей неминуемый шторм,
тем беспечней и слаще он курит пеньковую трубку.

Где же берег — другой, чем обочина круглых морей?
Высший брег бытия — глубоко под пучиной и хладом.
Пироц думает: „Что ж, подплываю я к цели моей.
Это гавань, где можно спокойно подумать о главном”.

То сиянье, то сумрак светила подводные льют.
Рыщут долгие тени. Какая пустыня и сырость!
Видит только слепой, охраняющий перлы моллюск,
чем окончилось то, что содеяли лодка и Пироц.

ЛИМОНЫ

— Возьмёмте пять... — Чего? — А вам-то что?
Ну, тысяч... И помножим пять на десять.
— Не лучше ли помножить их на сто?
— А вам-то что за дело? Не надейтесь:
не выгорит у вас. Исключено.
Нисколько вам не дам из миллионов.
— И не давайте! Но чего, чего?
— Лимонов, разумеется! Лимонов!
Как много их! Захватывает дух,
когда желтеют в сумерках лиловых.
Мне, между прочим, не хватает двух
лимонов до обилия лимонов.
Ах, да! Я сам их множил — два в уме.
Я долго жил среди людей, влюблённых
лишь в ненависть. Но вот открылся мне
мой странный долг: быть пастырем лимонов.
По двести сорок золотых плодов
жду с дерева, про триста — только слухи.
Я, безусловно, предпочёл лимон
всем тем, кто дуры, злыдни или шлюхи.
Все распри я послал ко всем чертям.
По горло сыт проклятой перепалкой.
Я помню — я не в книге прочитал —
про нож, гостивший под моей лопаткой.
Оскомину набили мне друзья.
Семья меня встречает кислой миной.
Но вот, не зная зависти и зла,
висит лимон, бесхитростный и милый.
Он здесь цветёт четырежды в году,

Белла Ахмадулина

и столько ж вёсен у зеленых склонов,
и столько ж раз имею я в виду
плевать на всё среди моих лимонов.

СТРАШНЫЙ РАЙ

Но если там иль вовсе нет животных,
или заметен недостаток в них,
и если птицы, покидая воздух,
не ввысь возносятся, а упадают вниз,
и если там не водятся — о ужас! —
жирафы иль не водится жираф, —
каков же рай?
И какова та участь,
что, в рай вступив, претерпит мой отец?
И что же он подумает о тех
свирепых куцах?
Если здесь часами
он мог лелеять и ласкать щенка,
то там, после всего, меж небесами,
он заслужил так проводить века.
И мать моя считает смыслом рая
там встретить кошку, что, прожив свой век,
ушла из дома, кротко умирая, —
куда-то прочь, куда-то вдаль и вверх...

НЕУРЯДИЦЫ ЖИТЬЯ-БЫТЬЯ

Страх смерти кожу холодит, как смерть.
А умерев и оказавшись средь
чужих и отвратительных глубин,
терпя свое отсутствие и тленье,
утрачу я друзей, детей, аллеи,
чей мрак и аромат я так любил,
и все, кого я видел только раз,
один лишь раз увидевшись со мною,
уйдут куда-то из незрячих глаз —
глубокой неминуемой зимою,
когда дожди, когда темнеет рано,
когда шаги утяжеляет грязь
и остается лишь одна отрада:
вконец озябнув, поступить, как все,
кто жив, — брести и забрести в кафе,
дождь отряхнуть, внимать теплу и свету,
задумчиво спросить себе питья
и поддержать нехитрую беседу
о неурядицах житья-бытья...

ЛОШАДИНАЯ ЛИХОРАДКА

Моя мать целовала меня.
Весь ее: с головы до пят.
И, прекратив целовать,
целовать принималась опять.
Время шло, и прошли времена.
Мой отец всё стоял вдалеке —
ни надежды и ни ожиданья,
что приблизится он иль приближусь я сам, —
и никогда не позволил руке
прикоснуться к моим волосам —
заскорузлой руке, осязавшей лишь силу желанья
незаметно коснуться меня.
Тот же тайный озноб сотрясает коня:
эта дрожь, став движеньем,
его бы стремглав понесла,
но — узда и нельзя.

КОТ НА АБРИКОСОВОМ ДЕРЕВЕ

Он был сумасшедшим,
но не сошедшим с ума в пустоту,
а вошедшим в иное,
себя приравнявшим к коту,
не снизошедшему к нам,
но взошедшему на
абрикосовое дерево,
где его
видели мимо шедшие люди
и заставляла луна.

В той деревне (моей),
где вовек не водился злодей,
его добрый отец
был добрее всех добрых людей.

Например: он робел перед шкафом.
Коль надобно шкаф
непрерменно закрыть (хоть и вовсе ненадобно),
как
это сделать? А вот как:
он шкаф обнимал, и затем, приседая,
он коленями ящички внутрь задвигал.

И всегда я,
как и все, кто там жил,
как и всё, что поныне там живо,
слышал, как он призывал сумасшедшего сына:
— О, послушай отца

и спускайся, мой Джино, мой Джино,
уже полночь и сыро.

Джино знал, что он — кот.
Я готов согласиться, пусть так.
Но каков он как кот? И при чём абрикос?
Было в нём нечто,
чего не бывает в нормальных котах.

Среди нас был безумным,
среди кошек прослыл полоумным,
хоть на их языке он стихи сочинял,
когда был возбуждён полнолунием.

ПРЕКРАСНЫЙ МИР

Не надо быть печальным.
Малой спички
довольно — и костёр уже горит.
Иль вдруг приходят и кричат:
— Вы спите!
А там, во глубине лазури,
этой ночью
родился кит!

Мир так велик, что мы не можем знать,
как он велик.
Корабль, как голубь, белеет.
Ну что ж, пусть хвалит эту благодать
наш детский лепет.

Средь пекл земных, пространных и безводных,
среди пустынь сияющей воды
больших и незапамятных животных
отчётливы громоздкие следы.

ИНОГДА

Иногда Сант-Арканжело, маленький город, в плену.
Он туманом пленён. Как бежать из полона тумана?
Городишко! И чем он меня так пленил, не пойму?
Ах, он мой! Я забыл, что здесь прожито было немало.

Птица смотрит сквозь воздух,
как грустный ездок сквозь стекло.
Мгла: темно и светло.

Воскресенье сегодня особенных качеств и свойств.
Все куда-то ушли. Я один выхожу на террасу.
Истекает июнь. В небе — шествие призрачных войск.
Город слушаю я и за ним тишину повторяю.

ТРИ ВОЛОСКА

Не ведаю, когда, но ведаю, что — впрямь
жила-была старушка
и было у нее три волоска.
Немного, да, но это всё же — прядь.
Всем было страшно: упадут неужто?
Ведь так она мила, так весела.

Всего лишь три, зато каких! длиннейших,
зато до пят и белокурых, словно свет,
и можно их причёсывать и нежить,
и заплести, и расплести, коль время есть.

Конечно, думать не приходится про чёлку,
но чёлка — вздор, не в чёлке суть.
Иную можно выдумать причёску,
и ждать гостей, и красотой блеснуть.

По праздникам (их много у красавиц,
коль захотят — нет праздникам конца)
она сплетала косу и касалась,
при блеске зеркала, земли ее коса.

Но как-то раз, при ветреной погоде,
вдруг оторвался волосок один.
Что делать нашей моднице? О, горе!
Двух волосков довольно для седин,
лишь для седин.

Погода поутихла.
Старушке — убыль, прибыль — деревьям:

меж сучьев серебрится паутинка,
что доводилось видеть мне и вам.

Старушка горько в зеркало косится.
Утрата тяжела и велика,
но всё ж она не стала неказиста:
осталось у нее два волоска,

длиннейших, да, но ныне два всего лишь,
всего лишь два, но белокурых, словно свет.
Хоть их косою быть не приневолишь,
их можно мыть в ручье, коль ветра нет,
и распевать: „Я мою волосы в ручье,
я волосы в ручье холодном мою”.
Старушка мыла волосы в ручье и пела.
А предпоследний волосок уже
струёю унесён и отдан морю,
чтоб в море завелась серебряная пена.

Украсить море — щедро и почётно.
Как ни суди — такой удел высок.
Но ни пучка нельзя содеять, ни пучочка,
коль всех волос — один лишь волосок.

Один, один остался на макушке,
зато до пят и белокурый, словно свет.
Зато пригоже море и могуче.
Зато играет паутиной с ветвью ветвь.

Старушка, после слёз и неурядиц,
былой красы оглядывает треть.
Не дай ей Бог все волосы утратить!
Ведь так недолго вовсе подурнеть.

Вот в зеркало глядит и жжёт свечу.
Где всё, что было так прелестно и волнисто?
Беспечен, кто доверился огню!
Рассказывать нет сил и не хочу,

как третий волосок воспламенился.
Всё кончено! Мне жаль красавицу мою!

О, для старушки, лысой, словно гладь
чего-нибудь, что совершенно гладко,
нет места на земле, куда ни глянь.
Где быть ей ныне — грустная загадка.

Земля — для тех, чьи волосы длинны.
Но небо — велико и милосердно.
Меж звёзд — не тесно. И старушка эта,
известная под именем Луны,
всем надобна — для красоты и света.

ЗАКАТ ВО ФЬЕЗОЛЕ

Солнце рубинами
Всех одаряет,
Гаснут огни
Зоревые.
На „Ave” колокола ударяют:
„Здравствуй,
Дева Мария...”

Зори сияют ярко,
Тени в лучах разлилися...
В небе луна,
Как арфа
С темной струной кипариса.

Земля приготовила дар свой:
Она вся в цветах, в аромате.
И вторит сквозь радуги:
„Здравствуй,
Полная благодати...”
О, сердцу не вынести этой красоты.

Кануло солнце за реку.
На Кампаниле горят кресты.
Встают золотые зарева.
Храмы златоголовые
В последних лучах блестят.
Багрянец переходит в лиловое,
Букеты ирисов с холмов летят.

И хочется, хочется —
Не знаю чего.
И горы фиалками
Украшают чело.
Опускается ночь сиреневая —
О, куда она нас манила?
А в воздух летит серебряное:
„Здравствуй,
Дева Мария...”

И всё так таинственно в этот миг,
Свежи и чисты все линии.
Серебрится дух.
Серебрится мир.
Пахнут флорентийские лилии.

В ГОРОДИШКЕ

Как гнёздышко птицы залётной,
Присевшей у нашей реки,
Стоит городишко зеленый,
Мерцают его огоньки.
И всё в нём так просто, толково,
И жизнь в нём чиста и легка,
И нету другого такого
На целой земле городка.

Всё рощи, равнины и нивы,
Извечный простор и покой,
И вербы старинные криво
Склонились над самой рекой.
И, словно бы из любопытства
(Она издалёка видна!),
К воде подбежала напиться
Простая берёзка одна.

Весною здесь щебет и гогот,
Просторно, свежо и светло.
Так где же кончается город
И где переходит в село?
И всюду, у всех на примете,
Спокойствие и простота.
Вокруг воробьи, и дети,
И вечная нищета.

И было вчера, как сегодня,
Сияет костёл поутру

Белла Ахмадулина

И флюгер во славу Господню
Подрагивает на ветру.
О, разве же этого мало!
Останется так навсегда —
У дома священника мальва
И свежая резеда.

Так было, так вечно пребудет,
Всё словно застыло в миру...
Всегда обитателей будит
Песнь жаворонка поутру.
Соседей знакомые плечи,
Заборы, цветы у крыльца.
О, эти могучие плечи
И чистые эти сердца!

Коровы неспешно, послушно
Бредут на рассвете к реке.
И дудки лепечут пастушьи
На скромном своем языке.
И скажет вам каждая тётка,
И слова не бросит зазря:
У ксендза — пятнистая тёлка
И рыжая у звонаря.

А если в чужом огороде
Корова заденет забор —
Какое волнение в народе!
Суровый какой разговор!
А в ратуше шум и тревога,
Сердитые лица мещан:
Должно правосудие строго
Препятствовать этим вещам!

Соседи, чужие и наши,
Одна и другая семья,
Толкуют. А как же иначе!
Полна очевидцев скамья.
На улице жаркое лето,

Густая пылища вокруг.
Разделся один до жилета,
Другой раздевает сюртук.

Несутся собаки и дети,
Крик, гвалт, потасовка кругом...
Судья заседает в совете,
Пан писарь склонился с пером.
Зачем простодушному люду
Судейскому делу мешать?
Законы у нас, как повсюду,
Суд будет судить и решать!

Жизнь краткая, долгие споры,
Услышишь их за десять вёрст...
Но сердце от доброго взора
Немедля растает, как воск.
И мёд золотистого цвета
В знак дружбы польется опять...
Таких городишек, как этот,
На целой земле не сыскать.

НА КУРПИКАХ

О, скоро лето — решено!
В его преддверии холодном
Готовит бортник решето,
Постукивает по колодам.
Будет, будет литься мёд,
Золотистый, цвета яхонта.
Боже мой, свете мой,
Можжевеловая ягодка.

В старой хате запах мёда,
Заготовлены колоды...
Травы сохнут у дверей
Для острастки злых шмелей.
А прокормит пчёл дубрава?
Ведь никто не знает, право,
О ты, горькая и яркая,
Можжевеловая ягодка.

Март пройдет с его проказами,
Станут лужицы сухи.
Выйдет солнышко прекрасное
И отдышит эти мхи.
Вот тяжело падает в траву
Пчела, как подобает пчёлам.
Она торопится к труду
В своем движении веселом
И возвращается домой.
О Боже мой, свете мой.

А в дикой пуще возле хаты
Звенят пчелиные рои,
Как будто чистые дукаты,
Дукаты, жалко, не мои.
О, если бы в мошне пустой
На похороны их оставить,
В последний раз себя прославить...
О Боже мой, свете мой!

Вот рой поднялся, и не сетуй,
Не сетуй, бортник, на труды.
Накрой серебряною сеткой
Его притихшие ряды.
А можжевельник снова, снова
В глазах маячит и качается.
О ягодка, так будь здорова!
Пусть это время не кончается.

А с веток нависают грозди.
Там, дальше бора и реки,
Так пахнут смолы, дышат грозы,
Так поднимаются дымки!
И даль в туманной дымке тонет...
Я пёрышком сгребаю рой —
И вот мешок гудит и стонет.
О Боже мой, свете мой!

Другой — он рой сметёт, обкурит,
И всё же рой его обдурит.
Нужна на это голова,
Нужны заветные слова.
И вот колдует он, седой,
Может, надо мне, может, велено.
О Боже мой, свете мой,
Ягода-можжевелина.

О пчёлы, вы покорны Богу,
И всё же, на исходе дня,
Летите вы обратно к бору,

Работаете на меня.
Гудите над моей главой,
Крылышками пошевеливая.
О Боже мой, свете мой,
Ягодка можжевеловая.

Дал Отец Небесный хлеба
Людям, чтоб кормиться им.
Нам же, курпам, капнул с неба
Мёдом чистым, золотым.
Не за плугом мне тащиться,
Не хлеба пахать мне загодя,
Сам я лёгкий, словно птица,
Можжевеловая ягода.

Брожу всё лето, дни и ночи,
Не зная горя и тоски...
И смотрят звёзды, словно очи,
На наши голые пески.
Ищу грибы, долблю колоду,
И всё не хочется домой,
Я в лес ушел, как рыба в воду, —
О Боже мой, свете мой.

Как поступь бора тяжела
По той земле, скупой, песчаной:
То шум вокруг, то тишина.
То тишина, то шум печальный.
Его покоя не нарушу я,
Проникнусь этой тишиной —
До петухов брожу и слушаю.
О Боже мой, свете мой!

Зимой вокруг бело, сугробы,
И волка тянет на жильё,
И курп под крышу лезет, чтобы
Достать старинное ружье.
На полку сыплет черный порох,
Он волка слышит чуткий шорох,

К прикладу прислонясь щекой.
О Боже мой, свете мой!

Олень мелькнет среди ветвей
Своею красноватой тенью.
О, лось, так лось, олень — олень,
Без промаха, без промедленья —
И не поможет зверю Бог,
Зверь никнет бедной головой,
А пуля — в лоб, а то и в бок.
О Боже мой, свете мой!

Метелью заметет костёл.
Всё канет глубоко, бесследно.
И вот разводит курп костёр,
И начинается беседа.
И льются песни и слова,
А где-то ухает сова
Над снегом и над темнотою,
О Боже мой, свете мой.

Не думайте, что курп простак.
Он книги умные читает
И разговоры начинает
Всё с толком, а не просто так.
Он знает всё на белом свете,
О Ченстохове, о комете...
Послушай сказ его живой.
О Боже мой, свете мой.

Кивает бортник головой,
Теснятся на печи овчины,
И тонкой струйкой голубой
Кончается огонь лучины.
Придет весна, польется мёд,
Золотистый, цвета яхонта,
Боже мой, свете мой,
Можжевеловая ягодка.

пока болеет лес
опасной желтизной,
пока в моей душе живой
тяжка, словно любовь, болезнь,
предшествующая поэзии.

1925

РОНДЕЛЬ

Я папоротник рвал, губил я ветки
кустарников, я вереск нёс сюда.
Мой поцелуй твои разбудит веки,
и будет так сегодня и всегда.

О, карнавал! О, измененья в цвете!
И осень так пестра и молода,
Мой поцелуй твои разбудит веки,
и будет так сегодня и всегда.

Как пуст наш сад. Как грубы холода.
Как беден вереск. Как свежа вода.
Ах, милая, октябрь на белом свете...
Твой поцелуй мои разбудит веки.

И будет так сегодня и всегда.

28 сентября 1927

РОНДЕЛЬ

Прости меня, что я помыслить смел
поцеловать твой ореол светлейший.
Как Ноева голубка, тих и бел
мой поцелуй, в твою ладонь слетевший.

Мой поцелуй переступил предел —
словно монах — обители святейшей.
Прости меня, что я помыслить смел
поцеловать твой ореол светлейший.

Ночь — ренессанс той музыки созревшей.
Считать до ста и целовать твой смех,
и тень твою, и отдалённый свет
двух рук твоих, как будто двух созвездий...

Прости меня, что я помыслить смел.

1928

ПАСТЕЛИ

* * *

За горизонтом, близко к небесам,
есть сад, где деревья добры и рослы,
и солнце, опустившись в этот сад,
свой алый свет переливает в розы.

В ту сторону я медленно иду
в предчувствии, томиться повелевшем.
Мне кажется, что в том большом саду
я встречу мать в уборе подвенечном.

* * *

За городом, за горизонтом, там
есть старый сад и ржавая ограда,
где бродят пары и летят в фонтан
луна и листья всех растений сада.

Там стынет в сердце розы белизна,
туманную вуаль колеблют ветки.
Я здесь ищу то ль музыки, то ль сна.
Цвет красных трав мне обжигает веки.

1928—1929

НА ОСТРИЕ НОЖА

Упадет еще один лист —
это и будет осень.
Для зубов станет яблоко трудным —
это и будет старость.
Постарею на целую жизнь —
и никто меня не узнает.

1932

Внезапный вечер в городке,
где вновь я счастлив, как когда-то,
где счастье льется из ушата,
поит уста и льнёт к руке.

Я созерцал хождение кур,
вид капель, белым солнцем полных.
Еще переживал я полдень,
а вечер уж смыкал свой круг.

Я видел сноп. Он был так тих,
как кьянти, густ и жёлт до блеска.
Я плакал и робел от плеска
алмазов возле глаз моих.

1932

ВЕЧЕР

Вечер тёмн, как ведётся.
Может быть, потом
Этот день еще вернётся
К потолку — мячом?

Или прошлогодним снегом —
К розовым кустам?
Детским плачем или смехом —
К старческим устам?

Иль судьбой цветка короткой,
Бывшей в той весне?
Или нежностью, которой
Больше нет во мне?

1932

Морозу любо рисовать
Той вазы серебро и цельность.
Но зимних дней и зимних ваз
Меня пугает драгоценность.

Сто раз сияют сто свечей,
Орган свой звук вершит свободно,
И в лёд закован дом ничей,
Как и в минувший день, сегодня.

О, искушенье зимних рам!
Я пальцы белым льдом мараю,
Я вазу бью, я рушу храм.
Мне кажется — я умираю.

1932

АВГУСТ

Там, за рекой, постукивает мельница,
И, в обмороке доброты и лени,
Я различаю очертанья месяца
И голову кладу в твои колени.

Баюкает меня мотив гармоники,
Смыкаю веки, размыкаю руки,
И щедрые серебряные молнии
Таинственные излучают щуки.

Всей чешуёю, в августовской рьяности,
Льют свет они на берег и на горы,
И небеса, в знак то ль беды, то ль радости,
На землю осыпают метеоры.

1932

ОКТЯБРЬ

Сраженный дровосеком старый дуб
Весною обратится в свежий сруб,
На кнут согдится маленькая ветка.
Всё остальное, в час дождя и ветра,

Мы щедро вложим в золотой очаг
И проведём в улыбках и речах
Тот месяц, неизбежный пред зимою,
И подкрепим огонь сухой сосною.

Но дуба мало — повергают бук.
О милая, тебя пугает стук
По деревьям, словно в твои ворота.
Прощай, листва! Пророчит снег ворона.

1932

НОЯБРЬ

Уже утрачивает прочность
Лазурь лета,
И полыньи зияет прочернь
Там, где-то.

Идешь в сопровожденье чьём-то,
Твой плач — близко.
С железных лестниц, видных четко,
Летят листья.

И все кресты сегодня гнилы,
Сердца́ — грубы.
И охлаждают лоб твой милый
Мои губы.

1932

ЖЕНЩИНА ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

Едва я пробудился и заметил, что ветряная мельница
их рук мне машет, обещая добрый день, —
кофейной мельницей или снотворной прялкой речей,
которые они ведут веками, я убаюкан был,
я засыпаю.

Я подыскал им два определенья: Всё и Ничто.
Таков же смысл пророчеств,
которые я пробовал прочесть и вчитывался
в скомканную скатерть.

Но драгоценней ценностей иных — их тело —
из тугого полотна, усиленного серебром крахмала.
Вот — вышивая крестики шажков, слагающие
ёлочку походки,
всегда — прелестной и всегда — вприпрыжку, идут,
идут, благоухая буком и полночью
садовых одиночеств,
по улице, как по медвежьей шкуре,
по ополоскам прожитого дня.

Их взгляд, как по стеклу бегущий дождь
или прозрачный холодок шкафов, — вот средство,
чтоб меня заставить плакать.

Идут — распавшись и опять совпав
в прилежной картотеке сновиденья,
где я сложу из них узор судьбы, червовых дам или
бубновых дам не предпочтя пиковым
и трефовым.

На перекрёстках, где их дикий вскрик внушает
страх глазам автомобилей,
смешны они — марионетки чайных, сумевшие так
распалить в ночи сигары занемогших анархистов.

Две пуговики синейшего сапфира — застёжки
к драгоценной голове —

ларцу для двух заветных медальонов.
Но сколько же раскопок и подкопов я произвёл,
чтобы пробиться
к той — отяжелевшей, превращенной в кресло,
но ненасытной, как скула со жвачкой,
податливой, как будто пух перин!

Вслед за паденьем и за взлётом акций дам
всех мастей в потрёпанной колоде
она снуёт, словно челнок машины.

Я никогда не встречу, никогда
ту женщину из туалетной губки
в потеющем крапивном парике,
да и не ждет: ее большую тень луна сжигает
в извести гашёной в глухом дворе кирпичного
завода,

но помню, что когда-то можно было,
как желатин, жевать ее уста.

Еще осталось мне упомянуть те лампы
на высоких слабых стеблях,

запутанную ржавую кудель —
девчоночек, которые в реке смывают крап
мушиного помёта, которым лето метит их тела,
и юность грушевидных матерей,

и обмороки овдовевших гребней, —
о, всех их, всех, снедаемых желаньем,
я выношу из гибели пожара,
сгорая — как солома их кудрей.

1936

иду, смеюсь метафорам моим
и сравниваю небо надо мной
и острый крик стекольщика о стёклах.
В улыбке дней творятся чудеса!
Таинственный приходит чужестранец;
куда его бинокль ни поглядит —
там сразу расцветает маргаритка.
Наивную округу разыграл —
и счастлив, и доволен, и хохочет!
Потворствуя ему, кудахчут куры.
А я читаю путевой дневник
и сам влюблён в прелестную туземку
с фиалковым океаном взгляда,
с белибердою ракушек на шее.
Или читаю, как творился бунт
повстанцами минувшего столетья,
и гибну сам, размахивая флагом,
меж тем мой флаг — это пчелиный рой.
Как сладко пчёлам жить в пустом дупле
и слушаться не королевской воли,
а кроткого веления цветка.
Я узнаю приметы поколенья,
которое грядёт свершать поступки,
по цвету неба, по моим стихам.
Пора и почтальону быть пророком
и телеграммой мир оповестить
о том, что человечество свободно,
что больше я не должен с ним делить
медлительное прозябанье сердца,
что у него кружится голова
и головокружение подобно
стихам — моим или моих друзей.
Быстрой! Пока не задохнулась горстка —
нас, точно понимающих друг друга
и ненавидимых еретиков.
Так много надобно сказать, так много,
что больше нет на свете тишины:
вещает лес, открыв зелёный рупор,
вращает ночь свой говорящий диск.

Пусть женщина, ребенок и природа
ошеломят нас сбивчивою речью —
мы разгадаем в этой криптограмме
живую розу нынешнего утра,
которому принадлежит хрусталь
с чернилами для моего пера.

1936

ТАЛИСМАН

I

Одно и то же
Уверяю вас
Что образами говорить
Что стискивать и пить
Единственную розу двух далеких губ
Так долго-долго до того мгновенья
Пока не вовлечёшь их в поцелуй иль в заклинанье
И пока лететь не вздумает заснувший мотылёк
Пока на очи полночь не падёт

II

Будь терпелив и выжидай поры
Пока твоим окаменевшим оком
Не сотворится грозная слеза
Не выплывится из-под тесных век
Чудовищный предмет твоих раздумий
Который схож не с влагой
А с бревном
Пробившим брешь в заветном тайнике
Твоих мучений очевидных ныне
И схож с гигантской связкою ключей
От всех дверей и фонарей погасших

III

Упавшая слеза отобразит в себе
Весь мир замысловатый как игрушка

Так смятая бумажная салфетка
Воспроизводит му́ку лихорадки
В ее углах таится ночь любви
А посредине — золотой дукат
Сосредоточен на твоём раздумье
Покуда ты не думаешь и спишь

IV

От вешалки для бедного плаща
Пятно осталось на стене каморки
Столь схожее с твоею тайной страстью
Как будто соглядатай-рисовальщик
Изобразил печаль твоей души
Иль женщину иль заповедный город
А многим людям так являлась смерть

V

Дай вечеру подумать за тебя
Пускай раскинет гением луны
И выскажет тебе твои же мысли
Так станешь ты мудрей премудрой книги
Той над которой голову ломал
Покуда не взбрело тебе на ум
Ей предпочесть всезнание садов
И опыт отдыхающего плуга
Так станешь ты счастливей игрока
Чей выигрыш богатство Исфакхани

VI

Уподобляясь римским властелинам
На хлебной корке плесень возвела
Зеленую империю свою
Небрежный дрозд явился и склевал

Белла Ахмадулина

Империю цветущую на корке
Его помётом завершившим ход
Истории борьбы и разрушений
Бедняк заклеил трещину в окне

VII

Исправленная кривда — это кривда усугублённая
Одной слезы не дам для плача о вчерашнем дне
Я точно знал что завтра это завтра
Пусть горше чем Вчера но не Вчера
Подправленное наспех чьей-то кистью

VIII

Такое утро за моим окном
Что я окно не смею созерцать
Такое утро за моей спиной
Что есть один лишь выход из него
Немедленно расплакаться навзрыд
От жалости что не крестьянин я
И не дитя которому дано
Беспечно прыгнуть в реку из окна
Иль на дорогу — как на ум взбредёт
А я пока пойду и погоняю
Покинутый ребёнком красный обруч

IX

Все души скоро отуманит осень
А в этих строчках лето расцветёт
И потому радетельные пчёлы
Пекитесь о читателях моих
Даруйте им раскидистое древо
Пусть постоят под ним на холодке

XIV

Ты пробудилась штора добрый день
Но для чего же красных голубей
Ты распугала?
Вся деревня встанет
Смотреть пожар взошедший на востоке
Сплю только я да дети в колыбели
Ведь если мы проснёмся в этот час
Поднимется такая суматоха
Мы сони мы не знаем ничего
О том как красен первый цвет природы
Иначе б мы уже давно гнались
В лесу за краснопёрым петухом

XV

Я издавна храню мой талисман
В единственно надёжном месте
В сердце
Я никогда его не потеряю
Пока я верен моему бездумью
Ведь только в совершенстве тишины
Когда смолкает мельничный жерно́в
Вы сможете услышать и понять
Что жаворонок говорит с небес
Не повышая голоса до крика
Что значит пианиссимо струи
Что предвещают дождевые капли
И вечную молитву двух влюблённых
Взывающую верность верность верность

1936

ЛУННЫЙ ВЕЧЕР

Что с городом сегодня?
Он подобен одновременно белой розе скрипке
И раковине с музыкой внутри
Воркуют ночи и голубь на карнизе
Откроем окна выльем свет во тьму
Напомнит город
Белый как былое
Напудренную грудь перчатку дамы
И выпренный серебряный парик.

1936

ТОРЖЕСТВО

День многоцветья на исходе лета
Раскрашен, как пасхальное яйцо
С торжественною надписью
В честь ласточек

1936

ДО СВИДАНИЯ

Картины образы виденья до свиданья
Мгновенья не воспетой красоты
 выскальзывают из отверстых рук
И шелестят как высохшие зёрна
Прощаюсь с ними и пускаюсь вновь
На поиски сухих табачных листьев
Дымящихся в глазах печальных женщин
Иль лампы моего уединенья
 в невыразимо грустных вечерах
Бессмертник на меня тоску наваял
И потому я слышу бубенцы
 на шеях фантастических коров
Упряжка их неторопливым шагом
 уносит город мраморный во тьму.

1936

ЗНАМЕНИЕ

Когда слетает бабочка ночная
На рукопись моих стихотворений
На свет она летит или во тьму?

1936

СИРЕНЬ У МУЗЕЯ НА ВАЦЛАВСКОЙ ПЛОЩАДИ

Я не люблю цветы люблю я женщин
Вчера я спал в объятиях сирени
Издалека на нас дышал подвал
Как затхлы норы главного проспекта
Искусна ночь искусных глаз и губ
Причёсок и груди
Люблю тебя, сиреневый букет
Медлительна вечерняя прогулка
Которую затеяли сады
По наущенью безымянной розы
Той с листьями над розовою грудью
Вдыхают всеми окнами дома прохладный сумрак
И пока я спал
Ошеломляя Вацлавскую площадь
Возле Музея
Расцвела сирень

1936

СЛОВАК-ПРОВОЛОЧНИК

Насвистывает будто бы лоза
Со свистом распускается в овраге
А досвистал — два волшебства стряслось
Ты потеряла зеркальце
А я
Нашел давно потерянное детство

1936

НОЧЬ АКАЦИЙ

Жизнь — дерево без листьев и плодов —
цветет однажды: ради дней любви,
которых два иль три, и только им
дарует жизнь всех пчёл и все цветы,
и вновь впадает в нищету ветвей,
но прежде наступает ночь акаций,
акации цветут и умирают,
и сердце Влтавы в световом венке
благоухает кожей купальщиц,
пропитанной бальзамом,
все дома́
блестят, как парфюмерия флаконов,
со Смихова, через висячий мост,
незримые, в короне из огней,
идут сады, толкая пешеходов,
навстречу виноградникам предместий
или аллеям главных площадей,
я одурманен и не понимаю,
как то, что в будни было Нове Местом,
очнулось пиром замковых подворий,
о, ночь акаций, бликов и фонтанов,
лукавым пианиссимо продлись,
чтобы потом всегда я тосковал
по Праге, по любви и по тебе,
о, ночь акаций, равная любви
по краткости чрезмерного блаженства,
и всё ж не истекай, повремени,
пока не обойду я все мосты,

какие в Праге есть,
я не ищу
ни женщин, ни друзей, ни самого себя...

1936

ПРАЖСКИЕ ДОМОВЫЕ ЗНАКИ

Скрипка

Какой ваятель улучшал Венеру и создал скрипку?
Дабы обрела
Поэзия свой совершенный смысл
Ей надобно не более двух слов
Но редкостных известных только ей
Волшебных словно знаки на домах

Весы

Когда мы станем счастье измерять
Лишь силою с какой желают счастья
Уж не склоняясь к тем или другим
Всех поровну насытит справедливость
Но будут балансировать весы
Оставшись образом ее походки

У солнца

Так любим солнце
Что на все дома повесили его пресветлый знак
Я обладатель дюжины домов
Не здесь в житье-бытье а в гороскопе
На первый дом я солнце водрузил
И полагаюсь на его защиту когда трезубцем
мне грозит Нептун

1936

ПРАЖСКИЕ ПРАЗДНЕСТВА

Еще мгновенье — и забудем мы
о балаганах, лавочках, палатках
и всех шатрах, где жило волшебство и кончилось,
где под увядшим сводом
встречаться будут ворчуны и дети,
где голуби полюбят голубей,
где сладкая стрела соединит
томления двух пряничных сердец —
о, как стара и как прекрасна Либень,
там сохранилось несколько витрин,
живущих, как глухие городишки,
где тщетно я отыскиваю детство,
покуда человечество не хочет
благодарить и хочет забывать,
слабеет память, вырастают дети,
и я уверен, что настанет время,
когда ты не позволишь карусели
играть с тобою в расписных коней,
как я люблю паломничества толп,
цветные, как тюрбан, как городишко,
как предсказанья разномастных карт,
уткнусь лицом в народное гулянье,
прекрасное, как материнский фартук,
и посмотрю на кувырканые зайца —
явив в себе его воспоминанья,
над ним висит подсолнух золотой, —
еще бы раз на ярмарку взглянуть,
чтоб с Карловою площадью обняться,
чтоб услышать, как уличный фотограф,

укрывшись за магической ширмой,
включает непомерное динамо
шарманки, что подвластна лишь ему,
чтоб ароматы глиняных горшков
вдруг ощутить, как близкий вздох слепца,
чтоб наконец распробовать слезу
и мылом пахнувший турецкий мёд.

1936

НЕ ВЕДАЮ

Не ведаю судьбы и рока,
но знаю — реки и кусты,
как будто пражское барокко,
витиеваты и чисты.

Ты — фея этих рощ прохладных.
Ты плачешь. Полно горевать!
Пойдем со мной. Зовёт нас ландыш
с ним в шашки грустные играть.

1949–1952

ИДУ ПО УЛИЦЕ

Иду по улице без цели, без помысла,
задеваю прохожих плечами и головою.
И небо вдруг мне открывается полностью —
над вокзалом оно особенно голубое.

1949–1952

СОНЕТ ВЕЧЕРНЕГО ПОРТА

Старинной крепости часы
там, в Каннах, бьют... Их бой прервался...
Всё так прекрасно... И прекрасно,
что звёзды в небесах чисты.

Как смутны гавани черты...
О, понедельник и среды,
когда огни остры, как стрелы,
и окон письма черны.

Как женственен уснувший город,
он снял браслет огней огромных...
Нет памяти в такую ночь!

На рестораны и на бары
глядят стеклянные стожары,
и мачты уплывают прочь.

1955

ЗА ИЗГОРОДЬЮ ТИШИНЫ

Спит
в синем цветке цикория
желтая божья коровка

Тишина
слышна и красива

Чтоб не спугнуть этого малого сна

гром моей дрожи
тихо претерпеваю внутри себя

Такова моя сила

1937

СТРЕКОЗА

Взгляни — вот стрекоза
летит но неподвижна
над тростником забылась и мечтает

О сколько в ней лазури и всего
что нужно для сверканья крыл
висящих в райской пустоте

Ты возглавляешь волшебство и грёзы
я соучастник твоего полёта
поскольку ты сестра моей души

Но ты вольней и легче чем душа
Она не может озирать как ты
единство высоты и глубины

1937

ВЫРУБЛЕННЫЙ ЛЕС

Мое сердце — поверженный дровосеками лес
с просекою догнивающих пней
(слабая зелень огней ночь оповещает о ней).

Где же лес моих юных лет,
с кронами до небес?
Неужели он где-нибудь есть?
Нет, его нет.

Срубленные деревья лежат внизу,
в оврагах и падах. Куда унесу
вас, корявые, погрязшие в глине?
Снова в землю врасти не могли вы.

Мое сердце — бессмысленный лес без деревьев.
Кажется, помнили те деревья
женщин поющих и странных их песен слова,
и забылся напев.

Мое сердце подобно расселине мрачно-пустой,
но над пропастью той — есть цветок золотой,
а в ее глубине не слышны, не видны
переливы воды.

1937

ЗИМНЕЕ

При бледном и скардном солнце зимы
блистают и стыннут алмазы земли.

Печальное сердце готово к беде.
Вчерашняя слякоть затеяла пир,

в небо вздымающий звездную пыль.
Что ж, разве мы не живем на звезде?

На звезде, на звезде, о, конечно, на ней,
что прекраснее прочих и прочих страшней.

Снежинки взлетают и падают ниц.
Бал, белизна, болтовня выпускниц,

смешение сфер, излучающих свет,
кружение, таянье, смех.

И ангельский снег повисает на миг
над кратером адов земных.

1940

ЖЕНЩИНА С МЛАДЕНЦЕМ

Погасла и смерклась красота моя,
скудной золой осыпалась юность,
и любовь моя, как огонь, умерла.
Скорь. Пепелище. Угрюмость.

Всё, что горело, сгорело дотла.
Плачу: где рай мой зеленый?
Но смотрит мое очарованное дитя
в край озаренный...

1940

Твой взгляд
в моих чертах остался красотой
и повелел душе идти к цветам

Как юг твоей любви
меня испепеляет солнцепёком

О женщина

я по течению красоты твоей
иду к ее истокам

Любовь твоя
черно-зеленой бездной
сомкнулась надо мной

А надобно еще
былинкой бедной
нестись в пустыне мира столь пустой

Ты вереска цветок но ты слабей цветка
ты ивы ветвь но более тонка
в тебе одной грядущие века

Моя любовь лишь посох исторгший розу

Смотрю в тебя словно в природу
в твоём глубоком лоне справедлив
ход бесконечности прилив отлив

Вращение Земли
то кровь
то нега

Плывешь с непринужденностью ковчега
что дал румяным ангелам приют
алеют воды ангелы поют

О женщина
любимая
всего лишь
за то что связываешь и неволишь

А впрочем нет необоримых пут
для крыл моих готовых в дальний путь
хоть нынче ринуться зови лови

Вот ты сидишь
лень отодвинуться
и гредишь о другой любви

Я от тебя очнусь
как ото сна

Откуда дождь
если ясна

погода в хрусталь устремившая луч
после отплытия туч?

Твои слёзы
радугой
приходятся дождю

Твои слёзы
в себя вбирают
огонь

Вздох исторгаю всё что брал отдаю
кончилась молодость
кончилась любовь

Глаза хотят
последний раз посмотреть
последнего поцелуя губы алчут

Это любовь
а это смерть

Мужчины хоронят
женщины плачут

1940

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ

Вот каковы старинные привычки:
для мертвого у нас найдется слово,
как будто он прекрасней и превыше
себя — былого, лишь вчера — живого.

Так жизнь за жизнью угасает в скорби.
Не легче миг последнего страдания
от утешенья, что начнутся вскоре
слова хвалы, цветы, венки, рыдания.

А жить — так сладко на земле, так мило.
Смеется камень под живой ладонью.
И вовсе б прояснилось — коль не мимо
людей смотреть, а — на людей, с любовью.

1955

ЗА ОДНИМ СТОЛОМ

Мы вместе шли — недолгое единство,
потом — всё врозь: и радости, и страсти.
И каждый к своему столу садится,
как будто мы друг другу — чужестранцы.

Все поднялись: за этой ли, за той ли
чертой сойдемся. Что нас вдаль уводит?
Вот миг — затеять общее застолье.
Но уходящий — навсегда уходит.

1955

ОТДЫХ

Вы так устали, ваши нервы сдали —
сей немудреный всем знаком диагноз.
Бегите стали и откройте ставни
в иных пределах, где покой, где ясность.

Одних спасает вольный запах хвои,
других — средь роз и статуй санаторий.
Любовь людей — моей леченье хвори,
бессоннице моей привет снотворный.

Не лесть хвалы, которой только вгонишь
себя в тоску, как приторной пилюлей,
но та любовь, чья пристальная горечь
навек исцеляет мир подлунный.

Ее прикосновения — целебны,
рентген, наш соглядатай, слеп пред нею.
При ней я вечен, а недуги — тленны,
о, как я зряч, какой я слух имею.

Кому-то: запах хвои, пальмы, волны,
кому-то: садик с кроткою черешней.
Любовь людей меня утешит в хвори
и в том, что дальше, глубже и кромешней.

1955

НЕЗАБУДКИ

Как ты взглянула! Я, бывший лишь малостью,
стал огнедышащей бездной земли.
Видишь, как это во мне занимается?
Бойся огня моего и замри!

Я — камышинки, потоком колеблемые.
Ты — не земля, ты — большая река.
Сила воды подломила колени мои.
Как я сама от себя далека.

Льется река... За мостами, за бухтами,
за поворотами — темень и тень.
Берег глядит ей вослед незабудками —
пристальнейшим синеглазьем детей.

1955

ЛЕТЕЛИ ДИКИЕ ГУСИ...

Я был боязливым и робким ребёнком
и всё, бывало, глядел в окно,
как незнакомец идет по дороге...

Я всегда ходил по тропе мимо луга,
оставлял в пыли отпечатки ступней
(одуванчики — как пузыри, когда дождь),
да, по тропе, к старому руслу реки,
бурной когда-то, теперь пересохшей.

Пересохшей не вовсе: остатки воды
там и сям озёрцами блистали меж верб,
и весной они были зеленые и голубые.

В зарослях, где трясина и мрак,
птицы гнездились.
Когда они пили иль пели,
к небу они обращали отверстые клювы.
Малому горлу не больно ль так петь?
Песня подобна пролитию крови из раны.

Насекомые спали,
наскучив любовной игрой,
позволяя воде их покачивать и убаюкать.

Тут же блестели
зеленые, черные и золотые жуки,
хитро-живые сокровища этих болот:
если кто-нибудь шел,

они падали в обморок смерти притворной,
завернувшись в прозрачные саваны крыл
и к другим прибегая уловкам.

Между тем муравьи
воздвигали столицу свою и влачили добычу,
отвлекаясь от этих забот лишь однажды в году:
окрыляясь любовью,
белые фраки раздобывали себе
и куда-то неслись в суете маскарада.

Улитки,
чья скользкая плоть вмурована в крепость,
выставляли рога из темниц
и так познавали пространство.
Допотопная жаба
тарщила выпуклость глаза.

С хлебом в руке,
с горстью падалиц в бедном кармане
я глядел, и глядел, и глядел
на родной,
на сияющий луг.

Вечером я влезал на деревья,
на ольху или тополь,
чтоб узнать: что творится за краем деревни,
кроме заката?

Ветви трещали,
а ночью мне мнился бессмысленный путь
в небо по голой,
скользящей из рук вертикали.

Однажды по небу пронесся таинственный гул:
то дикие гуси,
вытянув шеи, летели на юг.

Нерасторжимый с землей,
я глядел в небеса.

Ветер явился,
дождь пал на землю подстреленной птицей,
грохотала природа,
как цепи молотилки.

Сердце взросло мое
и горевало,
что муравьи и стрекозы крылатей меня,
не говоря уж
про диких,
про этих прекрасных гусей.

Мое сердце,
желтевшее в мире нелепым птенцом,
и поныне не может забыть этот зов, этот оклик небес:
вытянув шею,
дикие гуси летят.

1962

ГАНА ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ

Как прекрасна Гана,
что не отвергала

поцелуев ливня.
Как тиха долина,

где в полях кромешных
длится жизнь умерших.

Как меня утешит
тот цветок, что держит

веточка ладонью.
С грустью и любовью,

в час дождя и света,
славлю я всё это.

1955

ЦВЕТ ЧЕРЕШНИ

Такой был вечер,
что лучше вечера
был лишь цветок черешни.
Я для тебя сорвал,
о милая.
Открытый и трепещущий цветок
был обнажён до сути аромата
и в жаркость губ твоих
хотел себя облечь.

Но ты не удостоила дыханьем
цветок черешни.
Мне кажется, что рукавом плаща
осыпала ты с ветки лепестки,
и длилось опаданье лепестков,
дорога устилалась лепестками –
затем, чтобы по светлым лепесткам
твои следы
я мог найти во тьме.

Такой был вечер –
с месяцем кривым,
подобным сабле на пустой стене.
Подумал я: не месяц ли отсёк
цветок черешни
и рассыпал в звёзды
какого-то блаженного слова,
чтоб тот затеял заново слагать
извечные созвездия небес?

1955

ПЕРЕВОДЫ

ДИКИЕ УТКИ

Стая влечет себя, будто бы шлейф
долгих одежд отлетевшего лета.
К югу, над сумраком пруда и леса,
дикие утки летят, ошалев,
тихие путники белого света.

Грустно, когда кто-нибудь улетает,
бедный мой Олдржих...

Плачет по уточкам добрый камыш,
воздух к себе примеряет их тяжесть,
гладит им брюшко и балует их,
шутит и щуплое пёрышко тащит,
в пруд, иль на землю, иль в детские руки
падает пёрышко, пусть его, пусть.
Дикие, тихие, милые утки.
Дымная, дивная, длинная грусть.

1955

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Вот осень настает,
и воздух чист,
как будто происходит воскресенье
и молодые матери влекут
детей своих в прекрасные сады —
и воздух чист.

Уж осень настает,
в ее садах
тяжка и непомерна сладость груш,
ликующих на утомленных ветках:
им хорошо, им сладко быть собой,
разнежились, не могут шелохнуться,
а если вдруг качнутся на ветру —
тогда звучат колокола плодов.

Любимая, все эти дни —
твои.
Я их даю тебе! Я — расточитель!
Смеешься ты над щедростью моей?
А всё ж — владей! Возьми себе и гаммы
дождей, и бурь, и всех осенних музых.

Все чаши, ждущие счастливых губ, — твои!
Всё желтое, всё красное — твое,
чтобы смотреть до утомленья сердца,
вбирать в себя, присваивать и красть —
пускай подольше зеленеют травы!
Но и зеленое принадлежит тебе.

Тебе принадлежит и этот стих,
последний стих, написанный о том,
что улетают помыслы мои
туда, где ты, туда, где ты,
как птицы,
что в тишине направили крыла́
туда, где юг, туда, где юг.

1955

ВОРОНЫ

Как тело, изнывает поле,
недуг сквозит в его кустах —
словно в простуженных костях —
и груб надрез межи невзрачной.
Над глубиною свежих ран
клубятся вóроны на воле,
как будто их исторг оргán
огромной музыкою мрачной, —
вихрь захотел, чтоб было так.
Угрюмый хор поёт о боли,
о бое, обратившем в прах
обрывок знамени в кустах,
и бедствует в просторном поле
голодный, голый, многозначный,
изъятый из метафор крик.
Свежо. Зима не за горами.
Все кормят птах, слетевших с крыш
на ваш карниз в печали алчной.
Я ж
голосом,
в котором — скрип,
будто у вóрона в гортани,
в тиши предзимней вас тревожу
и, чтобы стужу одолеть,
хочу румянцем отогреть
озябнувшую вашу кожу.

1958

БОРЬБА

В. Маковскому

I вариант

Град отшлифует
в платане все грани,
ливень отмоег
смарагды листвы.

В этот мотив
мы когда-то играли,
в нотах грозы
его сыщете вы.

Только —
пояныне не познанный —
смерч
эту игру отличает от драмы.

Одним стволом, не знающим изъяна,
взывает к небу дерево нагое.
Оно еще туманно,
безымянно,
как памятник, что утром был открыт.

II вариант

Горячку горя
претерпел платан.
Биенье пульсов
вспльчиво и грозно.

Слетает в крону молния,
и там,
вдали,
для грома созревает бронза.
Ах, голова с кудрями — с плеч долой!
Была б совсем ужасна эта драма,
когда бы не движенье красоты
в предсмертии ветвей,
обломленное, бедное движенье:
кому пожаловаться?
О, кому, кому —
от имени еще живого торса?

III вариант

Дрожал платан,
его казнила буря
в ночь Судную,
в ночь, стонущую древом.

Ломал он ветви,
как ломают копьа,
о стену туч,
объятый гневом древним.

Потом, уже без листьев, как без губ,
когда судьбы дыханье отзвучало,
указывал одним своим стволом!
Что это указанье означало?

Как будто он в обрубках держит корень —
так он стоит над вздрогнувшей землёю,
всевышней воле неба не покорен,
и слушает,
как хлещет тяжело
сок свежей жизни в давешние раны,
чтоб юною листвою увенчать
гордыни оскорбленное чело.

Хотел бы я — в стихах или мечтах —
хоть малый лист прибавить к этой славе.

1958

ВЫКЛИКАЮЩИЙ

Я видел Выкликающего:

— Дамы
и господа, пожалуйста!

От имени кладбищенских червей —
этой бесстыдной, розовой и белой,
подземной обнажённости земли —
он говорил:
— Кто к ним войдет,
тот будет
обласкан и обобран до костей,
спешите обратиться к ним с доверием! —
Сказал он также:
— В мире стихнет плач,
и тишина вонзится в ваш хребет,
чтоб мчаться сокровенными путями,
по маленьким тоннелям пустоты,
где некогда светился мозг спинной.
Пожалуйста! —

Никто не отозвался.

И Выкликающий,
ужасно лысый,
поскольку ни один пучок волос
не пожалел расстаться с ним навеки,
к тому же гладкий, будто речь того,
кто рыбам бездны хочет вас скормить,
одел лицо улыбкой:

— Неужели
меж вами не найдется горемыки,
которому угодно умереть?
Которому угодно испариться,
легко о бочку локтем опершись?
Что ваша жизнь?
Лишь ангел улыбнется,
когда чихнет, поймав ноздрей пылинку,
в которую вас обратит мотор,
раскручивающий жернова вселенной,
меж тем в чертах благословенной смерти
сокрыто совершенство красоты,
известной лишь гусям, что тянут клин,
ориентируясь на кончик носа
Всевышнего. —
Он рассмеялся сам
удачной шутке, не вполне уместной
в период спариванья.

Снова ничего.

Тут Выкликающий
рассвирепел безмерно.
Честил он женщин: ржавые полushки!
Честил мужчин: слюнтяи! Идиоты!
И снова женщин: де, стене противно,
когда вы трётесь боком об нее.
Мужчин назвал он странно:
курожопы,
рожденные, чтоб задницы машин
на вас извергли слякоть и зловонье.
И кто-то, плача, крикнул в тишине:
— Мне кажется, что это оскорбленье!

Тогда другой, давно уж безымянный,
поникший в грусти, словно хвост собаки,
утратившей хозяина в толпе,
сказал слова, что покачнули дом,
и точность их теснилась всхлипом в горле:

— Друзья покинутые!
Лишь шнурки ботинок
нас связывают, просто так болтаясь
иль иногда запутываясь в узел.
Друзья ботинок! — заикался он —
Не разрешим топтать свое несчастье!
Мы только им, единственным, владеем,
и кто же, кто его возьмет так нежно,
так осторожно, как берут судьбу?
Кто, как не вы, —
чтобы наполнить горсть?

Есть, пить и спать —
вот все деянья наши.
А далее — обратный ход утробы.
И лазанье в нагие животы.
Но слышу я шаги — им суждено
упрятать наши головы под землю.

Уж Выкликающий давно ушел.
Толпа
сглотнула подступившую слюну.
Всё это было
как паденье капель
в глухой пещере, помещенной в ухе
того,
кто сам ни в чём не виноват.

1958

ПРИГОВОР

Вот некий человек стоит за дверью,
ведущей в зал, к примеру, в серый зал,
и слушает,
как поднимается достопочтенный суд,
и видит,
как мантией прикрытая рука
с достоинством возносится в пространство,
чтоб разом
обозначить приговор
и птичку изловить, — она бледнеет,
вернее, он, являясь бедной птичкой,
бледнеет и встает, встает и слышит,
что уж недолго ей или ему
осталось слышать всё, что можно слышать,
вставать, бледнеть и бедной птичкой быть,
ибо его поднимут так высоко,
как будто захотят приблизить к небу,
но это трюк, затеянный затем,
чтобы не смог он кончиком ботинка
достичь земли, к хождению по которой
он так привык.

Привычка, как известно,
привычка жить, привычка ставить ноги,
привычка делать выдох вслед за вздохом,
привычка есть, привычка пить, привычка спать
и самая прекрасная привычка:
держат в руках огромность головы,
когда луна зашла и затруднила

деяние ночного размышленья, —
привычка, как известно,
вещь хорошая.

— Жизнь такова, — мне скажет кто-нибудь, —
и к смерти непременно ты привыкнешь.

— Жизнь такова, — отвечу я ему, —
но самая печальная трава
шумит, не утихая, на могилах.

1958

УПРЁКИ

Не видел, чтобы плакала впустую, без причины.
Не слышал, чтоб смеялась просто так.
Нет, это не любовь.
Я не уверен даже, что я слышал,
как бьешься ты о стену головой
и сетуешь, что зло творит душа,
когда так счастлива ты вопреки всему, —
о, Боже, по какому праву?
Не помню также, чтоб я видел твою голову, —
я говорю о той звезде-мучительнице,
что люди называют головой, —
нет, я не видел голову твою,
летающую чудовищной звездой
во мгле глубокой музыки и мўки.
Любовь есть бег по направлению к гóрю,
уверенный, как цокот каблучков.

Улица затихла
так,
что были слышны туфли.
Твои поскрипывающие туфли.

— Нет, это не любовь, —
я говорю и слышу,
как говорю:
— Нет, это не любовь.
Любовь — это когда нельзя иначе.
Рўки,
отчаявшись в движениях иных,

свершают жест отчаянья такого,
что где-то в камне пробудилась статуя
и начала расти...

Улица затихла
так,
что всё происходящее во мне
во всеуслышание происходило.
Затихла так,
что было слышно тело:
оно творило свой прилежный труд — там, в глубине,
в очарованье сердца.
И я сказал:
— Нет, это не любовь, —
и, будто бы издалека, услышал:
— Нет, это не любовь.
Любовь — невыразимость духоты,
когда в душе моей пустыня дышит,
меж тем душе угодно не дышать.
Или когда по первым тактам
отгадываешь свой последний час,
пока команду подает палач.

Улица затихла
так,
что было слышно увядание вселенной.
В пальтишках зимних, в неурочный час
мы поднятыми ввысь воротниками
казнили наши головы, отъемля их от плеч,
и шли по увядающей вселенной.

Совсем одни.

1958

ПЕРВЫЕ ГОРЕСТИ

Из записной книжки студента

Пожалуйста, не надо,
не оставляй меня в моей тиши.
Что сто́ит тебе маленькое слово —
звук, обращенный в сторону мою?

Пожалуйста, не надо —
открой темницу мыслей о тебе,
где узником печальным я томлюсь
в ту ночь, которая длинней полярной,
в тот день, который пуст и безутешен
затем,
что нет тебя в его конце.

Пожалуйста, не надо,
не для моей мучительной догадки,
что лёгкое, легчайшее перо
(в сравненье с ним перо синицы — тяжесть)
не потрудилась взять твоя рука,
о, та рука, за чью пустую прихоть
дам отрубить я две своих рукí,
о, та рука, ввергавшая мой лоб
в прохладу беззаботности и сердцу
дарившая такой избыток крови,
в какой возводит воду мощь плотин.

Пожалуйста, не надо,
не безмолвствуй,
не дай мне думать в эту ночь,

Белла Ахмадулина

что губы
твои
в других губах погребены,
что голова твоя полна луны,
которая ведёт тебя во сне
к улыбкам, взглядам и касаньям рук —
я их не знаю, но я слышу их
на горле,
и на сердце,
и на пульсах
так,
что с трудом я выкрикнуть могу:
— Пожалуйста, не надо!
Твое молчание — моя пустыня
и долго ль мне блуждать в ее песках?

Тобою не написанные строки —
как летопись моих кромешных мук.
Мне ухватиться не за что:
незримы
край платья твоего и прядь волос.
Мне нечем жизнь остывшую согреть,
раз нет вблизи твоей чудесной кожи —
о, для сохранности ее свеченья
всей кожей могу припасть к огню,
но не спешу ее огню предать:
в ней драгоценен след прикосновений,
что привнесла в нее твоя рука.

Когда бы вдруг
всё поднялось против тебя —
во имя радости, объятий и любви, —
как страшен был бы этот дикий бунт
кровополитья, вздохов и тоски.

Так я пишу тебе письмо
в ответ на то, что ты не написала.
Пожалуйста, не надо!

Твое письмо скрываю я в своем —
пусть вечно спит в таинственной могиле,
пустой и тихой,
как моя тюрьма.

1958

ФИНАЛ

Вчера стелил постель
и вдруг нашел твой волос —
вот что осталось мне от головы твоей.

Невнятный запах твой, насытивший перины, —
вот что осталось мне от всей твоей любви.

Мне не по силам голову носить.
Меня к земле склоняет тяжесть сердца —
ты и поныне пребываешь в нём.

1958

ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОХОРОНЫ

Шли домой с кладбища.
Мало слов о горе.
Что слова? Пустяк!
Воротом крахмальным
стиснут воздух в горле.
Да, вот так.

В нашей жизни, братцы...
Хоть о ней жалеем,
словно в небе, — мрак...
Почему умерший
сразу тяжелеет?
Да, вот так.

Думают, кивают:
будет дождь, похоже.
Тих и мерен шаг.
А луга-то нынче...
И могилы тоже...
Да, вот так.

1958

Мимолётности

ЦИКЛ ПЕРВЫЙ

I

Нагие сады пребывают в беде и разрухе.
С простудой в бронхах, земля ни жива ни мертва.
И слабое солнце над родиной брезжит едва.
И мерзнут в карманах плаща твои бледные руки.

Я знаю — стихами я с этой зимою не слажу.
Деревья досмотрят тяжелые зимние сны.
Нет, голосом песенки я не зову к себе славу, —

но руки твои, как цветы и растенья весны,
мой лоб увенчают, и нежность, подобная саду,

сокроет тот снег, что мои охлаждает виски.

III

Он с Волги шел. Он был овеян славой.
Его ресницы были так темны,
что нетопырь заснул бы в их тени.
Он мир нам возвестил. Но, Боже правый,

как он грустил, до чуждых рек дойдя:
душа его по Волге тосковала.
Вдруг он сказал: „Ах, маленькая” („мáла”,

сказал бы чех), — и поднял ввысь дитя,
и голова той девочки сияла —

там, в облаках мечтаний и дождя.

IV

Я шел навстречу девушке. Она —
меж тем была весна — мне улыбнулась.
Вот так слюда блестит в граните улиц —
ах, как блестит слюда, когда дворец,

воскресший из развалин наконец,
смеётся всеми бликами на стенах.
И платью девушки хохочет пёстрым флагом!

И рупор, полный песен современных,
соразмеряет спешку дней военных

с неторопливым танцевальным шагом.

V

Небо вливает дождя молодое вино
в глотки деревьев, и я говорю ему: лей!
Ваше здоровье! — Не ведаю чье, — всё равно!
Впрочем, здоровье вон этих прекрасных аллей!

Двое промокших безумцев в них бродят давно.
— Весь этот мир, — говорит он, — обнять бы я мог.
— Миру, — она говорит, — подождать суждено.

Вот я стою — торопись! Истекает твой срок!
О, обними меня в мире, где дождь и темно!

Дождь и темно в этом мире, где я одинок!

IX

Она меня любит. Не любит нимало.
Он любит меня. Он не любит меня.

И ветер в разгаре осеннего бала
торопит листву, чтоб она умерла.

Ноябрь, как печальны твои времена.
Листва опадает. И вовсе опала.
Он любит меня? Он не любит меня?

Так вечному шепоту сердце внимало.
Она меня любит? Не любит нимало?

Кто бродит в саду моём в сумраке дня?

XIV

Вариант: Старым виноградарям

Эй, други, зальём наше горе вином!
Нас в губы целуют лишь винные чаши —
затем, что понурые головы наши
седы, как загривок усталого пса.

Мы пьем! А кривая лоза винограда
стоит, будто воин во время парада.
Зальём наше горе! Но в чём же оно?

Глуп тот, кто о горе хоть слово промолвит.
И наш виноградник — он тоже не молод,

а всё же родит молодое вино.

XV

Белый снег желает падать на деревья,
груша одержима жаждою даренья:
драгоценны эти вспыхнувшие ветви,
но стволу угодно их отдать навеки —

бескорыстным жестом, для услады мира,
мимо наших окон, мимо сада, мимо
поля золотого, но теперь пустого;

зимнее сиянье лица утомило,
и пространство слышит, как твержу я снова:

милая... милая...

ЦИКЛ ВТОРОЙ

Ш

Клён шелестел: „Дам янтаря и злата,
чтоб помнили о блеске этих дней”.
Рябина всем открыла: „Я богата
рубинами! Бери себе! Дели!”

Куст винных ягод был еще щедрей
и клялся спектром радуги вдали
и изумрудом, редким в это время.

Мир и покой в больной душе моей,
когда листва на голову земли

короны тяжкой возлагает бремя.

IV

Уже темнеет. Голосок звезды
упрашивает небо: „До рассвета
не будь одно! Еще совсем не спета
простая песня неба и земли!”

Жизнь, я жених любой твоей беды.
Гремит телега по камням вдали —
ах, что-то мне теперь везёт она?

Печаль судьбы являя в долгом звуке,
собака воев: ей страшна луна.

Мне — и звезды достаточно для мўки.

VI

Обрушивает море грохот —
из темных бездн, из пасти льва:
опасны вóлны мышц огромных,
объята гривой голова.

И я, в слепой тоске по дому,
в кармане нахожу каштан,
и глажу, и храню ладонью,

и думаю: давно опали
мои каштаны — в дальней дали...

И сердце бьется — с ними, там.

Варна, октябрь 1958

IX

Мир не теряет то, что в нём возникло.
Есть ваза у меня, и в ней гвоздика.
Цветы увянут, и умрёт стекло,
чтобы в осколках солнце расцвело,

и дух цветов мерещился окну,
и кто-то загляделся на луну,
вдохнув его, и молвил: вот гвоздика

для чьей-то вазы, а осколки ваз
продолжатся восторгом детских глаз.

Мир не теряет то, что в нём возникло.

X

Смычок казнил безгрешную струну,
исторгла скрипка стон живого тела —

Белла Ахмадулина

в безумный миг, когда похолодела
душа, предавшись страху и стыду,

и в чьём-то горле пел последний звук.
Потом, одетый в пурпур древних мук,
переступлю я сумерки стены,

чтобы бродить среди пустого моря —
по остриям беды, по гребням гóря,

не замочив водой мои ступни.

XI

Меж острым воздухом и хмелем
нет разницы, и по неделям
пьёт зимний ветер за меня.
Сгущается остаток дня

в кристаллик льда — в огромной чаше.
Когда утихнет ветер в чаше,
я слышу шум своей души

и пульсов резвый беспорядок.
Испуг взлетевших куропаток —

событие в моей тиши.

ЦИКЛ ТРЕТИЙ

I

Всё — белое. Твоя постель бела.
Бел саван мой. И бел твой образ милый,
заснеженный. Берёза над могилой
всегда белее белого была.

Всё — белое. Бел голубók любви.
Бела двух тел мгновенная услада.
Бела печаль кладбищенского сада.

Но, дымная, уже достигла ада
душа моя. И волосы твои —

светлейшие — всё же темны как сажа.

II

Как жаворонок трудится — легко ли
большое солнце высоко поднять?
Что я хочу поднять или понять
и утруждаю разум и ладони,

пока во мне, как заяц в борозде,
лежит души бессмысленная тяжесть?
Поля, поля, неужто быть беде,

и потому, как похоронный звон,
звучит прекрасный крик фазаньих таинств

и горько я гляжу на горизонт?

Белла Ахмадулина

Что более покинуто на свете,
чем стулья перевёрнутые эти
в пустом кафе? Чем шея, над письмом
склоненная в отчаянье таком,

как будто чтение ей трудней, чем плаха?
Чем тяжесть ног танцовщицы в гробу?
Чем бедный кров, что погубило пламя,

пронзительно вздымающий трубу?
О, лишь глаза, открытые для плача, —

когда и плач покинул их судьбу.

ЦИКЛ ЧЕТВЁРТЫЙ

I

Полна бутылъ зеленым светом дня, —
ах, чудеса, ах, чистая работа! —
и услаждает воробья рябого
взрыв круглой бомбы под хвостом коня.

Ах, чудеса, ах, чистая работа! —
там, в дебрях вероники и травы,
печальная, стоишь ты у забора.

Печальная, твой сад мне отвори.
Ах, чудеса, ах, чистая работа!

Поэзия, светлы труды твои.

XVI

Деревья, богоравные деревья,
вам тяжело предчувствие листвы,
что грозный гром грядет из отдаленья,
и не сносить вам гордой головы.

Но нам-то, нам, затеявшим сады,
поднявшим мост над бездною воды,
беспечно понукающим движенье

истории, — откуда ждать беды?
А нас повергнет в головокруженье

и тем погубит слабый свет звезды.

1960

НА ПОСЛЕДНЕМ ЛИСТЕ

Что только не уходит:
шаги — в пространство,
пространство — аистом, грустящим по трубе, —
стремится к нам,
любовь, как дым, — куда-то,
дым, как листва, — зачем-то,
всё исчезает
вместе с тем дыханьем,
что отлетело, бедное, у насыпи.

Наступит осень,
и, больше не уверенный ни в чём,
сам от себя начну я улетать,
но на последнем, горестном листе,
измученном осенним ветром,
я задержусь, поднявшись на дыбы, —
натянутый до разрыванья жил,
захлестнутый сверкающей вожжою,
и затаю один лишь дымный день,
где поезда́, где кровь шумит в висках,
где длится, длится яблоневый сад,
прекрасный, словно яблоневый сад,
когда он медленно роняет листья.

ВОСКРЕШЕНИЕ

На кольях, подпирающих лозу, —
ворóны,
как на кольях древней казни.

И кровью истекает виноград!

Кровь винограда наполняет бочки,
когда она грохочет, забродив, —
ворóны хмурятся
и вдруг
с угрюмым криком
летят в промокший лес.

Один на том шоссе,
что состоит из луж и грязи,
я чувствую,
что вновь во мне свежи
притоки сердца,
и шлюзовые камеры дрожат,
и влага высыхает на лице,
и разгуделись телеграфные столбы
в чаду прекрасного известия:
опять, опять
родился бог вина,
хотя печальны сирая земля
и небо без звезды.

ЛЕС

Я лес люблю:
немногословен лес
при жизни даже.

Лишь иногда я вслушиваюсь в ночь
кровавой схватки сильных крон и вихря.
Не выжить им!
И рушится поток,
вобравший гибель веток и воды,
сшибающий каменья на пути.

А после смерти — светлые стволы
во тьме сияют душами умерших
и обрастают бедностью опят —
сироток малых.

И пахнет так, что, преклонив колена,
ты никнешь головою к этим плахам,
чтобы вдохнуть хоть слабый след судьбы
тех, кто стоял
неколебимо прямо.

НАД ЖИЗНЬЮ

1

Чувствую: мне не снести этой весны красоту,
этой весною с ума я сойду.

Я смеюсь,
но мой смех — это только уловка лица,
а на дне, в глубине, в изначалье дыханья и
слова,
теснится во мне
и, огромная, блещет слеза,
и чья-то тоска мне близка,
и душа моя стала
прибежищем плача чужого.

2

Чувствую: не по уму мне этой весны красота,
этой весною сойду я с ума,
под небосводом сияющей боли моей,
под хороводом созвездий,
увлеченная, буду блуждать средь полей —
безумной, безвестной.

Где б ни была я — быть уготовано мне
около неба, на самом высоком холме.
Знаю: увижу я, где б ни была,
на темной воде быстрюю тень корабля.

Белла Ахмадулина

Когда лето взрастит наливные плоды
и на зреющих нивах возвысится колос,
мне покажется, что я слышу
предвестниц беды
заунывный и вкрадчивый голос.
И когда вы увидите сильное солнце в саду,
я услышу апрель проливной,
его шорох и шелест.
О, с ума я сойду, с ума я сойду
и не смогу разминуться с весной,
хоть она на земле — мимолётный пришелец.

Я не замечу,
что жизнь ускоряет свой ход,
а прошлого
расторопная змейка
если за мной и ползёт,
то в тумане она незаметна.

3

Чувствую: вечно буду я жаждать и ждать,
и призывать той далекой красы благодать;

буду в жизнь возвращаться, когда предвещают беду
птицы-кликуши, причитальщицы-птицы,
я приду, я приду хоть однажды в году,
когда расцветает зеленый цветок чемерицы
и когда молодые дожди устремляют свой бег
в смех серебряных рек.

Я заплачу, увидев, что белого облака чёлн,
колыхаясь, плывет к неизвестным краям.
И заплачу опять, не знаю о чём,
о, как грустно мне будет увидеть корабль,
вольно плывущий вдоль синей реки,

а платки,
что белеют и машут вослед кораблю, —
это давние дни моей нежности к белому свету,
это дни, что взяла я в родню
по слезам и по смеху.

1924

ЛЮБОВЬ

Мысль о тебе нежна и бесконечна,
ей нет причины, нет конца и края.
Так струйка обручального колечка
замкнула круг, сама в себя впадая.

Мысль о тебе всё может сделать с миром:
был неказист, а сделался волшебен,
объят очарованием и смыслом,
и блещут слёзы, смех и птичий щебет.

И в снах ночных я длю всё ту же думу,
из-за нее мои глаза красивы,
и мягкий отсвет осеняет душу,
как луч вечерний — меркнувшие нивы.

1930

ЗМЕИНЫЕ ГЛАЗА

Когда на широком пне затрепещет жара,
его гниль вострепнется, шурша и звеня, —
это пёстрые кольца свои расплетает змея,
это змея от глубокого сна ожила.

По зеленому пню потекла ручейком голубым,
устремляя на жизнь две звезды неподвижного блеска,
словно до вечности
ее кто-то убил
и призрак ее теперь безутешен и дик.

С улыбкой и темною злобой глядит,
как печально и сиром шумит молодая берёза,
как в гордыне и мощи состарился дуб-исполин,
как плющ приникает к возлюбленным скалам своим
и трепещет под ветром цветов, напрягшись для роста.

Это, может быть, дух, нижний свет содержащий во
тьме,
чья загробная мудрость глумится над нашей тщетой:
разомкнется для нас солнечный круг золотой
и облака проплывают — вотще.
Это, может быть, дух, чей удел — ускользанье.

Думала я, глядя в хладные очи змеи:
уж не Судный ли день наступил для земли —
нашим сердцам в наказанье.

1930

1

Боже, Ты, посылающий пламя небесное нивам,
Ты, чей гнев милосердный заблудшего грешника сыщет,
моей просьбой смиренною воздух огромный насыщен:
сделай так, сделай так, сделай так — где бы ныне он ни был,—
тот, кто мною любим, пусть мои заклинанья услышит.

Сделай так, чтобы он не имел ни стены, ни навеса
уберечься от ветра — то лепет, берущий начало
в моих нежных губах,
чтобы с первым певцом поднебесья
его сердце очнулось и вновь обо мне зажурчало.

Сделай так, чтобы облако каждым движеньем и позой
мне подражало, красуясь над рощей и домом.
Пусть узнает твой голос, к нему обращенный с угрозой,
пусть содрогнется перед карающим громом.

Сделай так, чтобы он, понукаемый полночью лунной,
от глубокого сна пробудился для нежности лютой
и понёс бы ко мне покаяния тяжкую ношу.
Мечь мою я обращаю в доброту,
днём и ночью я этого жду,
в чём клянусь каждым днём, каждой ночью.

Боже, Ты, чей единственный произвол
 созидает и рушит миры,
 предрешает встречи и разлуки звёзд,
 сделай так, чтоб опять мне стали милы
 две горькие услады судьбы:
 сделай так, чтоб опять он заметил меня
 в святой толпе, населившей сады
 того далекого дня,
 и, бледный, занял уста тишиной,
 сделай так, чтоб он понял значение мук,
 что между мной и ним, между ним и мной
 нерасторжимей простёртых друг к другу рук.

Сделай так, как однажды сделал уже,
 когда, вблизи грядущего зла,
 медленно округлилась в душе
 и в шепот скатилась слеза,
 и, плеща, перелилась в немоту, —
 именно оттуда, с его плеча,
 я узрела Твою доброту.

И, если всему дано повториться,
 и в сердце моём упрочится лёд,
 и ясный смех беда унесет, —
 пусть его глаз голубизны не прольет,
 и бледность рук его отстранится
 от яви,
 и вторгнется в сон,
 как привидения белая птица.

1930

БРАНКОВИНА

Когда-нибудь и я увижу с неба
тот мир, где живы и незримы люди,
и чернозём и рощи Бранковины
я спутаю с красой ржаного хлеба
на деревенском, на зеленом блюде.

Возле ломтей сладчайших и чернейших
белеют славно голубицы соли —
а это просто кладбище на склоне,
и за румянец зреющих черешен
приму я крыши красной черепицы.

И с высоты восходов и закатов
увижу я то ль слиток, то ли кубок
и цепи старых свадебных дукатов,
а это церкви поднебесный купол
и плодородье нив, еще не сжатых.

1936

ОЖИДАНИЕ

Я жду тебя, ускорь шаги, не медли,
день делается старше и старее,
покуда луч горит в стекле и меди,
о, поспеши, о, приходи скорее.

Не разминись с порою предвечерней,
застань в живых короткий час, который
дал новый образ всем вещам знакомым
и множество блаженств и превращений
растениям и малым насекомым.

Всё широко открыло солнцу двери,
и хмель его качает стебель злака
и нежится в кустарнике и древе.
Приди, ступай по изобилью злата.

Пока не стало сумрачно и лунно,
не мешкай. Если девушки с усмешкой
посмотрят вслед — не попадись в их сети,
не предавайся мягким травам луга,
еще всё будет для тебя на свете.

Уже букашки добрались до кровли
листка, река уже плывет в заводь,
всё сущее дошло до цели, кроме
тебя, а ночь — уже близка, близка ведь.

Иди, иди молниеносным шагом
и всем оврагам и другим преградам

Белла Ахмадулина

не уступай, не вслушивайся в звуки —
не то с глубоким мраком, с буераком
сольются мои волосы и руки.

Нет, вот каким иди — летящим шагом,
полёт последним остается шансом
меня увидеть в сумраке нечётком.
Лети ко мне, покуда крыл не сложишь!
Глаза мои будут черны на черном,
и ты найти их никогда не сможешь.

1946

ПОЭЗИЯ

Только Богом поэзии
обласкана я и любима.

По его усмотренью
все мои печали
неслись облаками
и лучи источали.

Он все мои боли
в радость переиначил.
Другие обижали,
он — баловал и нянчил.

За все мои утраты —
дарил, как детям.
Грехи мои тяжкие
позолотил в добродетель.

Я знала милость
его соучастья.
Все меня покидали,
он — не отлучался.

1946

НО И ТЕБЯ ПРОШУ

Коль первая уйду, я сообщу тебе,
я от тебя не скрою, что бывает, когда сестра, и брат,
и мать, и друг — как чужаки, расходятся в пространстве,
и каково быть глиною под ливнем,
и если совесть схожа с пауком,
то значит ли он что-нибудь среди сороконожек и червей.

Я сообщу тебе, какая разница
между комком земли и человеком,
между слезами и водою недр,
и страшно ли очнуться скромной каплей,
растением и минералом,
но и тебя прошу о той же вести.

Я сообщу тебе, не больно ли сокровищам души
переходить в неведомые руки,
и какова их новая цена,
и правда ли, что грозный шахматист играет в нашу жизнь,
как разумеет, но и тебя прошу о той же вести.

Коль первая уйду, я сообщу тебе,
как сказываются на судьбе поэта
скончанье сердца, равнодушие свода,
в котором то ли блещут, то ли нет былые молнии и радуги
любови,
но и тебя прошу о той же вести.

Коль первая уйду, я сообщу тебе,
как дни идут после отлива жизни

и как я коротаю смерть мою,
надеясь, что прилив воспоминаний
вернёт тебя моим пустынным берегам,
но и тебя прошу о той же вести.

1960

ЦВЕТА

Цветá, расцветки — снадобья, бальзамы,
я приложу вас к страхам и тревогам,
к той, ненасытной, боли в изголовье.
Как я хочу, чтобы поля блистали,
торжественно одетые травой,
и чтоб камыш держал наизготове
целебный бархат, и на стебле каждом
гостили крылья в прилежанье милом.
Летящий мир, хвала твоим букашкам
за сходство их со золотом и кизилом!

Цветá — огня мятущиеся духи,
среди половодья никакого цветá,
костёр-кизил, не поспешишь на пламя,
ты, русский мак, чтоб ветры не задули
твою свечу, храни себя от ветра,
цвети, пожара розовая пальма!
Пустая роща светится стеклянно,
закат пролил на всё, что есть, румяна,
сентябрьский лист упал на дно стакана,
срывает вихрь с лугов чалму тумана.

Цветá и краски, молодые вина,
в вас утоление помыслов тяжелых,
и чудный хмель, и радости нечёткость.
Река, плесни услады из кувшина,
пошли мне, лютик, поцелуев желтых,
голубизной со мною, небо, чокнись!
Дай, радуга, семь раз отведать спектра,

плесни, цикута, черноты холодной,
пока пылает синий спирт рассвета,
горчи, золототысячник лиловый!

1975

ДЕВИЧЕСТВО

Те топот и дым, что уже настигают тебя,
твой сад огласят, распахнут и разбудят ворота.
Ты дома одна. Что, девушка, скажешь ему,
тому незнакомцу, который придет умереть
на голых руках твоих, что ему, девушка, скажешь?

Зброшенность дома лишь папоротник не покинул.
Вольна ты бродить в запустенье и видеть с порога
вовек неизменное и милосердное небо.
Вдали по дорогам усталые всадники скачут.

Но кто-то уже возжелал умереть и умрёт
на тихих руках твоих, не убаюканных прежде
той колыбельной, которую в полночь он сложит,
стан обвивая и руша прилежные косы.

Взгляни на дорогу, на реку, на вечер широкий:
там бродит чужак и тайком окликает тебя.
Развей твои волосы. Не опасайся, беги
с открытым для близкой беды опрометчивым сердцем.
Беги и не бойся! Беги и не думай спросить,
кто плачет, кто реет во мраке, тебя охраняя.

Могильщики вынесли прочь из умершего дома
кораллы горящие и золотых канареек.
Сказки в тиши разошлись.
Но ненадобно плакать:

это любовь. Ты скиталец ее бездорожья,
и звенят у лица драгоценные серьги печали.
Вот что ты выбрала, если ты выбрала жизнь.

1955

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

В траве шуршащей возле перекрёстка
душою непокойной жду того,
кому сегодня ночью отдала
любви моей испуганную птицу.

Над озером, в жаре червонных мхов,
уже плутает вспльчивая осень.
И возникает из полутеней такое
совершенство тишины!

Что делать буду, если не придет
тот, кто в ночи мое присвоил сердце?
(Я отдавала птицу птицелову,
не думая, в глубоком удивленьи.)

Из тьмы полей несется шепот ночи.
О, сердце бедное! Не слушай речь травы.
Она нагонит на тебя тоску.
И посмотри:
вода непостоянна.

А птицы улетают за холмы
за хладным солнцем.

1955

МАСЛИНЫ, ШИПОВНИК И ОБЛАКА

Едва его завиджу на тропинке — и облака́ разглядывать
примусь.
Три дня ждала я, стоя у ограды, когда же он сюда
придет, когда!
Шиповник с той поры расцвел, взыграло море.

Серьёзна ночь, причислившая к звёздам его глаза.
Он так красив на черном! Он учился
у раковин светиться в темноте.

Страх, мор и гибель — он сейчас придет!
Поскольку вот что: ветер поднялся с маслинового мыса.
А это жалкое беспомощное сердце
дрожит и слушает.

Три дня уже за этою оградой, тяжелая от молодости, жду
твоих шагов — там, где темны маслины.

1955

УСНУВШИЙ ЮНОША

Раскинувшись на отмели залива,
как виноградник, что сомкнул ограду
вкруг множества грядущего вина,
спит, одинокий, обратив к воде
серьёзное и нежное лицо.

Что краше: ветвь шиповника в цвету,
поющая многоголосьем птичьим,
иль этот, гибче ящерицы, стан
изогнутый — мне мудрено решить.

Я слушаю, как, посланная морем,
гремит и низко стелется гроза,
и, скрытая листвою агавы, вижу,
как шея юноши, подобно чайке,
взмывает к солнцу, жалобно крича
там, в желтых облаках. Из смуглой бронзы,
образовавшей совершенство торса,
возводится таинственный утёс —
прибежище русалок и царевен.
Темнеет море, отмель шелестит.
На винограде — золотые тени.
Предгрозье зиждется на вертикальных тучах
и молниях, уже достигших леса.

Вдыхаю лето, позволяю зренью
всласть упиваться наготой растений.
Потом гляжу на две моих руки
сверкающих, на позолоту бёдер,
исторгшую оливковое масло,

и возвращаю мой спокойный взор
к тому, кто вольно распростёрт внутри
неспешной бури, древний, как агава,
с рассеянною страстью размышляю
о том, как много сильных белых птиц
дрожит в ущельях сумрачного тела,
что возбудило кроткой тишиной
гул моря и смятенье небосвода
над полным одиночеством травы.

1955

Я голову к его плечу склонила,
и мы с ним стали: он — ветвистым дубом,
я — тихой ветвью из его ствола,
которой ласточек дожидаться суждено.

Обнявшись до крошечного единства,
мы были схожи с древним музыкантом,
опершимся о золотую арфу,
наполнившим закрытые глаза
прозрачною и доброю вселенной,
где смерти нет. Есть только тишина
полей цветочных. И свечение вод
бесчисленных. И красота, чья суть
в несходстве дивном женщины с мужчиной
и непреложном, неисповедимом,
неиссякаемом девичестве любви.

1955

ЭЛЕГИЯ СЕРДЦУ

Весна умеет мýку причинить и всем, что есть,
напомнить то, что было.
Ни в чём покоя нет, и молчаливо уходят ночи
в глубину времён.

Желанья иссякают, страсть стареет.
Мрут города, и доблестная крепость всё ж ослабеет
на морском ветру.

Нет дней неспешных, красоты нетленной.
И дерево печально потому, что осень передвинет эти
звёзды.

Когда-то я с тобою просто шла, смеясь тому, сему,
листва смеялась,
и тело наливалось новизной, как почки лип по случаю
весны.

Всегда ты путал речь мою и птичью,
мои шаги и шорохи травы.

Нас лето опалает изнутри и улетает, ввергнув
в замутнённость,
и солнце не описывает дважды в течение дня свой
неразрывный круг.

Моя любовь, словно роса, сияла!
Недаром птицы пили из нее.

Моя любовь была нежней росы!
Роса свежа, а мой источник высох.

Но не стоять же двум ногам — они за новыми
знамёнами пустились
в тот край, где чуждый колокол гремит.

За музыкой доро́ги, за зарёю я, как цыган беспечный,
погналась,
исторгнув смех мальчишечьего тембра.

Моря свободны, и душа свободна, глухая
к шелестенью той любви.
Прощай, мой месяц! Сам свети как знаешь,
я не неволю серебро твое.

Ты был моим диковинным растением, обласканным
в теплице рук моих.
Тебя я предоставила зиме и ухажу, следов не оставляя.

1955

Не падай духом, видя, что любовь
срывается и падает быстрее
не вовремя произнесённых слов.
На ней, словно оброненные гири,
лежат цветы молчания в росе
до времени покошенных лугов.

Любовь утратив, не утрать покоя.
Она себя не вынесла, как ветка.
Недолговечно сладостное бремя.
И зрелость — это весть опустошенья.

1955

И блеск зари в моих зрачках погас,
чтобы сиять в обиженной стране забвения,
где ни один прохожий
не поминает имени любви.

1955

О ТЫ, ДРУГАЯ

О ты, другая, у которой руки нежнее
и невиннее моих,
которая мудра, как беззаботность.
Ты, что умеешь пристальней, чем я,
в его челе читать печаль сиротства,
ты, медленные тени колебаний
убравшая с его лица так просто,
как вешний ветер тени облаков
небрежно изгоняет из долины,

если твои объятия вынуждают мужать,
а бёдра утешают боль,
если любые помыслы и речи
он начинает именем твоим
и если тень твоей склоненной шеи
избрал он для удобства сновидений,
и сумрак ночи в голосе твоём —
глубокий сад, не тронутый грозой,

тогда останься рядом с ним и будь
задумчивей и набожнее всех
его любивших ранее, чем ты,
в том времени, чьё ищущее эхо
не допускай до полога постели.
И главное — будь к сну его добра,
под скрытную горой, на кромке моря.

В его морях пускай тебя простят
дельфины грустные, игравшие со мной.

Не бойся ящериц в его лесах тенистых,
я их сердца учила дружелюбью.
Тебя приветят страждущие змеи,
я укротила нежностью их гнев.

Пусть пенье мною выхоженных птиц
не даст тебе соскучиться. И пусть
тебя ласкает одинокий мальчик,
спасённый мною на пустой дороге.
Из слёз моих возросшие цветы
пусть пахнут для тебя. Мне всё равно.

Я не увижу, скажет кто-нибудь,
что ныне он мужчина и прекрасен.
Я не прибегла к милости его,
чтобы наполнить стынувшее лоно,
которое погонщики скота на ярмарках
или абреки гор
лениво оскорбляли долгим взглядом.

Мне не придется за руку вести
его детей. И дивные рассказы,
которые для них, смеясь, слагала,
когда-нибудь я, плача, расскажу
убогим сирым маленьким медведям,
покинутым медведицей в лесу.

О ты, которая к нему простёрла руки
нежнее и невиннее моих,
опять прошу: будь к сну его добра,
он спит так беззащитно и безгрешно.
И смилуйся, позволь издалека,
лишь изредка и только на мгновенье,
хоть мельком увидеть его лицо,
украшенное возрастом иным.
И расскажи мне иногда о нём пустяк какой-нибудь —
чужих людей расспрашивать неловко,
а соседи, жалеючи, смеются надо мной.

И в третий раз прошу и заклинаю:
будь к сну его добра, о ты, чьи руки
нежнее и невиннее моих.

1955

ВЕЧЕРНИЕ СТИХИ

Приветствую тебя, недавно бывший день,
иди себе, упрочь твой лунный посох
суровым украшением серебра!
Приветствую тебя, летящий к морю ветер!
Вас, горы древние, вас, тени древних гор.
Тебя, цветок лозы, чей терпкий запах
легко принять за мысли о любви.
Привет вам, сострадающие травы!
Зловещее нагое плоскогорье,
прощаю и приветствую тебя!
Вас, сосны черные, я поздравляю с тем,
что вы одеты на манер монахинь
и ваши кроны так продолговаты.

Приветствую вас, мирные ущелья,
спасибо, что насытили овец,
чьи головы так скорбны и понуры,
как у изгнанников в тоске изгнания.
Приветствую тебя, состарившийся свод
всевышней синевы! Прими мой прах
в то облако, которое плывет
там, по другую сторону всего,
по темноте, глядящей в темноту,
и дальше — к морю, чей сокрытый смысл
я так и не сумела прочитать,
к ущельям безымянным, воплотившим
незавершённость помыслов моих.
То будет долгий и роскошный путь —
под шорох и сверканье головешек,
подброшенных в пылающую ночь.

1955

Белла Ахмадулина

Он — река, а я — море.
Волненье стремительных вод (это он)
поглотит тишина (это я).
В узком русле бушует,
пробиваясь сквозь тесный каньон,
нетерпенье его,
утомившее кротость мою.

Он — река, а я — море.
Всё его — лишь его.
И его корабли — не мои.
Но его корабли окунают в меня якоря,
и матросы садятся к огню,
чтоб плести и выслушивать небылицы.
Эти птицы — его.
Мне не жаль его птиц приютить
в тихих скалах.
Пусть думают скалы,
что птиц отнимают у моря.

Он — река, а я — море.
Что мое — то его. Его воды усилю я солью и синью
и помножу на бурю мою.
И в мятущейся бездне моей обретёт он покой.

1955

МАСЛИНОВАЯ РОЩА

То ль заманили птичьи голоса,
то ль ветер, сильно дующий с востока,
вовлѣк меня в маслиновую рощу,
где в глубине раскинувшихся крон
еще хранился мирный отблеск дня.

Как удастся множеству травинок
составить одиночество травы,
я думала, и галька, и луна,
и близкий край сверкающего моря
вдруг стали нежным образом твоим.

Не следовало приходить сюда.
О, если б я осталась у ограды,
в глуши инжира дикого! Зачем
спустилась я в маслиновую рощу,
в ее луну, печаль и серебро?

Ты был бы явью и сидел на камне,
возвысься на песчаном берегу,
отважный и прельстительно чужой,
как незнакомец, жаждущий грозы
и снизошедший к жалобам природы.

А может быть, ты бы избрал несчастье
в ночи носиться по осенним склонам,
оборотившись птицею бездомной,
живущей в небе над морской пучиной.

В ту пору я спала бы под инжиром
и вовсе не печалилась о том,
что неизвестно мне — куда ушел
тот юноша, который так любил
смотреть на море, при молчанье лета.

1955

ОНИ БУДИЛИ МИР

Спала́ бы, роза речи, за морями,
В зубах тебя держал бы синий клоун.
Не дали спать! Какой печали ради
Ты разминулась с изначальным лоном?

Свершая грех, ломаемся, как стебель.
Приходит мудрость поздно и посмертно.
Виновны сами, а бранимся с небом.
В губах увяло прорастанье смеха.

Чернеет свет, как сквозь стекло и копоть.
Закрыв глаза, слагаем лишь стенанье.
Поэзия, ты — омут или опыт,

Злосчастный рок или счастливый случай?
Не знаю. Что бы ни звалось стихами —
Они будили этот мир дремучий.

1963

ОТКРОЙ ВСЮ ТИШИНУ

Открой светильник, уводящий к тайне,
Чтобы глаза, как ласточки, боялись.
Дай го́лоса постичь произрастанье
Из белой плоти. Не страшись, то — я лишь.

О, этот голос — колос нежной нивы —
Колеблем тем, что дуновенья легче.
Твоих волос, пролившихся на плечи,
Как я люблю рассеянные нимбы.

Дай пальцам зябнуть, крадучись вдоль шеи.
Открой мне белый водоём ладони.
Как быть рукам? Все их усилия тщетны

Быть без тебя, искать другой юдоли.
Ко сну склоняя и уснуть мешая,
Открой всю тишину, все умолчанья.

1963

БУКЕТ

Я красной гвоздикой туда возвращён,
Где память и стыд, хоть я знаю, что бледен.
От белой сирени — хворает зрачок,
Коснувшись лиловой — рука моя бредит,

Что нерасторжима с лиловой толпой
Соцветий, и та же в ней глушь и прозрачность.
А роза, любимая мной и тобой, —
Превыше всего, но ей свойственна алчность

Пить с губ засмеявшихся смех или смерть,
С тех губ, что сомкнулись. Мне страшно при розах.
Но выдохни липы, вздыхающей средь

Растений иных, и составили воздух,
Где запах тюльпана имеет лишь цвет,
Где движется время, а может быть — нет.

1963

О, ДАЙ МНЕ

О, дай мне спать при песне колыбельной!
Пусть водопадом будет песня спета.
Семь нот всего — и семицветье спектра
Поёт про свет, непогрешимо белый.

Не есть ли слово нечто вроде слепка
С предельно полной, совершенной капли?
Не этой ли округлости искали
Уста мои так голодно и слепо?

Как водопад сосны, ствол водопада
Соединить, коль разминутся сами?
В словах и каплях сходство есть с часами,

Твердящими о времени. Не надо
Взывать ко мне ни словом, ни каплейю.
О, дай мне тишины над колыбелью.

1963

НИТИ

Не будет нас в местах для нас обычных.
Мы ныне —
Лишь нити,
Связующие будущих и бывших.

Где окончанье?
Послушай воздух — и тебе ответит
Меж сирых двух пустот сквозящий ветер,
Двух равных бездн грядущее качанье.

Одни — незримы и слились с веками.
Других — предскажет быстрое сверканье
Пространства, что соскучилось без них.

Обречены, и всё же не привыкли
Вперячь наш слух в неистовые вихри
И в малый звук, когда порвётся нить.

1963

СКОНЧАНЬЕ СОЛНЦА

Мы были далеко, но не настолько,
Чтобы не быть: мы плыли в море или
Вздымались в горы. Летних дней настойка
Бодрила нас, пока ее мы пили.

Мы были вместе, но и одиноки.
Такие ль мы, какими были ране?
К себе приблизив лик осенней ночи,
Что обрели мы или потеряли?

Скончанье солнца. Августа останки.
Повсюду — хлам, усталость плоти бедной.
Нет у дерев ни тени, ни осанки.

Кто тот смельчак, который день убавит,
Погасит лето и о том объявит
И вымостит наш путь листвою медной?

1963

ВИД

Вид из окна: в саду уже темно.
Давно и крепко этот сад посажен.
Меж тем природе скушно быть пейзажем.
Вид из окна вторгается в окно.

Вид — пялится, таращится, глядит.
Его зрачок гостит в моём окошке.
Вид — пристален и хочет знать: а кто же
Тот, кто в окне так одинок и дик?

Вид — соглядатай. Созерцатель — вид.
Теперь я знаю, как пространство зряче.
Пригорку, снегу, веткам, птицам в них —

Всем приглянуться норовлю. Но раньше
Хочу я угодить до края дня
Моим стихам, что смотрят на меня.

1963

КРЕПОСТЬ

Чело мое, крепость, грань ада и рая,
Где ворону сладко и боязно птахам,
Крошится твой камень, становится прахом,
И ветер крушит его, прахом играя.

Чело мое, крепость, стоишь на отлёте
От мира, в нездешнее небо врезаясь.
Раздумье тебя и когтит и терзает,
А склоны внизу так светлы и отлоги.

В темнице твоей — только сумрак и крыса.
А где-то — прозрачная чья-то походка,
Сверканье, и дождь, и любая погода.

Но вдруг, после сна, ты свободе открыто —
Простёртую башней, отверстою чашей.
Добыча твоя — только свет высочайший.

1963

КАРТИНА В РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ

О, та картина (как стена, огромна
В дому, где ныне бродят хлад и ветер):
Телега — та, что никуда не едет,
Два дерева, доро́га цвета хрома.

Реки — то ль спящей, то ль усопшей — русло,
Над впалой почвой пень трухлявый поднят.
И странный свет: не сумерки, не полдень —
Тот, при котором видно всё, но грустно.

Вдали — равнина для уединенья.
Крыш черепица, вялые куртины.
Столь красных крыш не видывал нигде я

И мрачности такой, как в той картине.
Два сильных цвета на стене огромной:
Один — живой, другой — потусторонний.

1963

ПРИ РАССТАВАНИИ

Из трав я лицо поднимаю: о травы,
Спасибо, что были добры и нездешни.
Пора — в западню моей бедной надежды,
Любви безутешной и призрачной славы.

Столб тела над логовом высится, то есть —
Открыт я и беден пред оком жестоким.
Я даль озираю, я к встрече готовлюсь
С железной стеной, с непроглядностью стёкол.

Расстанемся, корни, чтоб встретиться вскоре.
Как много любви в зеленой ладони,
О, если б, растения, боле и доле!

Устану от зренья, от беганья крови —
Паду, ослабев и отчаявшись, в травы,
Как птицы, собаки и прочие твари.

1963

ДОМ

Исчезнет — убитый и после сожженный —
Дом старый, у времени впавший в немилость.
Окраска его (он когда-то был желтый) —
Убога, но золотом мне приходилась.

Я вижу канаву и кабель, так надо,
Но липы моей где краса и родимость?
Окраина этого скромного сада —
Укромна и мне алтарём приходилась.

Всё, бывшее прежде, не сущее ныне,
Пристанища ищет и где-то находит.
О, запах, о, краска, и нечто меж ними

Втеснилось, чьей тайны вовек не нарушу.
Земля предоставить им место не хочет,
Но я отдаю им просторную душу.

1963

ДВОЙНИК

Безглазый вовсе — на меня он смотрит.
Безрукий — держит крепче, чем руками.
Меж нами — бой, смятенье, пререканье,
Всё, безъязыкий, он со мною спорит.

О всех моих проступках он злословит,
Значеньем высших истин искушает.
Твердит, что я, коль не лечу, — ужасен,
Я падаю — но он меня не ловит.

Из-за него я стал скалой немойю.
Одна забота: боль на боль меняю.
И так всю жизнь он следует за мною.

Я закричу — не снизойдет до эха,
Гнушается подвергнуть осмеянью,
Но сылет мне в глаза осколки смеха.

1963

ДЕРЕВО

Я возжелал клочка земли, который
Не будет тесен дереву и тени,
Принадлежащей дереву. А стены —
Не столь важны для странника с котомкой.

Я стану жить под деревом и думать,
Гадать о птичьем норве капризном,
Белеть при звёздах, превращаться в призрак,
Пусть говорят, что это блажь и дурость.

Потом: увижу вспыхнувшую точку
Вдали и не успею наглядеться.
Из дерева содеют люди бочку

Иль колыбель для милого младенца.
Или, когда для тьмы глаза закрою,
Оно со мной пребудет под землёю.

1963

НА НЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ

Домам, и мостам, и каналам
Лев придан таинственным стражем.
Я сделался лучшим и старшим,
Чем есть я, и гордым и малым.

Вот купол, повисший во мраке.
Река — что за мощь, за лавина.
Рассеянный шаг славянина
Свой вижу: сквозь поле и маки.

Вкраплён я, внедрён, замурован
В гранит, в позолоту, в пространство.
Я плачу. Пусть гневом и рёвом

Теснит меня львиная бронза.
Смотрю я на то, что — прекрасно.
Но как это больно и грозно.

1963

ЭТЮД О ПАСТЕРНАКЕ И ЗИМЕ

Просторный стол. Пространная земля.
Он слышит шум дождя или шмеля

Иль то, как зреет черный мёд чернил.
Он времени раздумье причинил,

И, думая о нём, грядущий век
С ним соотносит этот ранний снег,

Что безусловно ведомо ему,
Когда глядит на поле, снег и тьму

Его лицо, отличное от лиц.
И снег лежит, как непочатый лист.

1971

Бранко Мильковичу

Как рано смерклось к ночи и метели.
Иду сквозь вьюгу к бронзовому другу.
В верховьях снѣга гуси пролетели
Дорóгой хладной и ведущей к югу.

Как схожи мы с тобой при снегопаде,
При безысходном птичьем перелёте.
Стряхнуть ли снег — прикосновенья ради
К твоей чужой неуязвимой плоти?

Приглядываюсь издали к излишку
Густого снега над моей могилой.
Манящий оклик тишины я слышу
В груди того, что как бы ты, мой милый.

1971

КРИК

В той комнате, убогой, тёмной, низкой,
не боль моя, а жизнь идет на убыль.
Не быть мне ни возлюбленной, ни близкой:
всяк мне далёк, никто меня не любит.

Хочу любви — и ничего другого,
искристой влаги, пламени, озноба;
я отрекись от помысла дурного,
врага увижу — погляжу беззлобно.

Одной я жажду прибыли — растраты
живой души, покуда звуки льются,
и гости пировать не перестали,
и расцветает и лепечет люстра.

Пока сильна и неизбывна младость,
пребуду бедным жаворонком милым.
Отдайте мне единственную малость —
взмыть в синеву, парить и петь над миром.

1923

АПРЕЛЬ

Сколько солнца в пространстве прозрачном,
снег цветов, обольщенье и плен —
в кружевном одеянии брачном
незаметно нагрянул апрель.

Мудр и благ, кто весною прощает
грешный мир, и в цветущих садах
труд заботливых пчёл предвещает
созревание мёда в плодах.

Ветер с моря, прохлада, услада,
почки сада раскрылись уже.
Я люблю безрассудно и свято —
Бог небес обитает в душе.

Зов безмолвен, и страсть негасима.
Что за сила у рощ, у лугов!
Я люблю — но не образ, не имя:
ты сама мной любима, любовь.

1923

СВЯТАЯ
(Старинная икона)

Богородица, радуйся: вот Он
твой единственный, твой осиянный,
Он — рождён и покуда не отнят
краткой смертью, столь страшной и славной.

Поклонение и предсказанье
пали ниц — как их волосы белы.
Что видишь глазами, слезами
выше, дальше его колыбели?

Рождество, свет небесный и выюга.
О, как рано и необъяснимо
слышишь ты: „Возлюбите друг друга”, —
видишь крест, ожидающий Сына.

1927

ВСТРЕЧА

В безвыходном песке — твои следы, и выход
один: бежать, тонуть в тягучем, рыхлом
в песке пустом, взойти на холм и разом
узреть всего тебя. Ты был — пространством,

ты заполнял всю скудость горизонта,
и выше звёздных высей, выше зная
небесного — твое лицо смеялось.
В твоих объятьях были я и малость

вселенной, полной неги и тумана.
Знай — никого я так не обнимала.
Знай — так никто не обнимал меня.

Но коль моя была чрезмерна радость,
я длительностью заплатить за краткость
не поскуплюсь: не жаль, что умерла.

1927

СЛУЧАЙ

Изидору Цанкафу

Над нашею жизнью, простой и единой для всех,
над будничной думой про кров, про еду, про тепло,
невидим, неведом, во благо нам или во зло,
витает и реет недремлющий пристальный свет.

Ты там, неизвестный, решаешь. Таинственна власть
твоя надо всем, и закон твой — темней темноты.
Лелеем, возводим, хотим, но врываешься ты —
и всё изменилось в судьбе, и в округе, и в нас.

В наш мелкий, бессмысленный и неподвижный уют
вторгаются молнии, громы пугают наш слух,
и ветер завыл, и какой-то всеильный пастух
влечет наши дни в неизвестность, и тучи спуют.

К добру ты иль к худу? Непостижима стезя
капризов твоих, и, куда бы она ни вела,
ты — чудный, ты — добрый, да сбудется воля твоя,
о Случай! Дай жить и бесхитростно верить в тебя.

1935

ЕДИНСТВЕННЫЙ

Ты ли — то, что было, минуло?
Ты ли есть сейчас?
Ты ли — то, что будет завтра?

Образ, выпукло цветущий
в тесноте смежённных век,
силуэт теней, зачем-то мне сопутствующих,
голос, мне для пробужденья посланный,
для понуканья: чтобы пела по утрам,
имя, о котором знаю, что оно — твое, —
признайся: они твои? они твои?

Ты ли это или это
образ, очертанье, имя
всей любви, что в недрах сердца
бодрствует, как огонь подземный?

Ты ли это иль всем этим
притворилась лютость жажды,
равной засухе предгрозя?

Ты ли это или это
имя безымянной боли
плачущей: о, где же, где же
мой единственный, мой вечный,
дальний, в спутники мне данный
тем, кем месяц дан земле?

Ты ли это?

1972

ДВА СТРАХА

Боимся, думая, что настигает нас
змея — струя серебряного яда;
боимся и подозреваем ночь
в том, что вперяет в наш затылок дуло;
боимся тучи: медленно ползет,
а всё ж догонит неподвижность поля...

Боимся пса, что нам вослед бежит:
вдруг он безумен и не пьет воды;
боимся, слыша иль воображая
шаги того, кто сзади нас идет;
боимся неотступной клеветы,
всегда бредущей по пятам за нами...

Единожды живём, боимся дважды:
боимся и погони, и того,
что непреклонно движется навстречу.
Ты, время, нас безжалостно страшишь
тем, что бежишь от нас неуловимо.
Еще „сегодня” — и уже „вчера”.
Нам остается маленькое „завтра”,
но вскоре кто-то скажет про него:
„Когда-то, в незапамятность времён...”

1978

ФОНОГРАММА

На маленьком экране — чудеса:
красавица танцует и поет,
ее черты свежи и вдохновенны.
Ее движенья — ей принадлежат,
но дивный голос — у кого-то взят
и просто пририсован филигранно
к ее устам (всё это — фонограмма,
так, кажется, сегодня говорят?).

У чьей гортани голос взят взаймы,
чтоб пела им безмолвная певунья
и мы, в слезах, отвлечься не могли
от чуда красоты и немоты?

Но где же та, что так умеет петь?
Стара? Иль уродилась непригожей?
И почему я думаю, что — есть?
Быть может, радость ваша и моя
давно допела песнь и умерла?

Но голос дивный и не соразмерный
устам прелестным, очевидно, ожил,
став грустною услудою моею.

А прав ли этот фокус современный —
судить я не хочу и не умею.

1978

ДОЛГОИГРАЮЩАЯ ПЛАСТИНКА

Что мне долгоиграющей пластинки
протяжная и краткая игра:
есть в сердце долгопомнящая память...

Проходят годы, и проходит время.
Неизлечимость боли,
невозможность
принять потерю, обрести утрату
всего, что было некогда тобой,
страдание знать, что вовсе нет тебя, —
всё обрело незванный, неизбежный,
второй и противоположный смысл,
у наших чувств есть чувства-двойники:

страданию сопутствует блаженство,
способна безутешность ликовать,
прошедшее умеет оставаться
и подступает к сердцу доброта —
какое счастье!

Ты ведь был! Ты был.
Твой свет — во мне.
Он жив и очевиден.

Проходят годы, и проходит время.
Начало
и конец
готовы слиться.

1978

Белла Ахмадулина

БАЛЛАДА О ЯКОРЕ

Весной,
когда не верили мы сами,
что есть конец скитаньям и разлукам,
что длились долго, длились очень долго,
нам удалось найти приют в мансарде
пустого недостроенного дома.

О, счастье наших разговоров поздних,
что краткой ночи и темней, и дольше.
Нам стал соседом нелюдим сапожник,
он в нижнем этаже был занят стуком,
соединявшим гвозди и подошвы.
А может быть, еще он пил и плакал.

Он возвестил, что заведение „Якорь”
зовётся, и не объяснил причины.
И вывеска твердила жестяная
о том же, ночью на ветру стена
в честь непогоды и морской пучины.

Быть может, имя было слишком ярким
для скушной суши и для скудной пыли,
одно мы знали точно: мы любили
друг друга, всё, и всех, и слово „Якорь”,
и, сочиняя то, чего не знали,
Сапожника мы Мореходом звали.

Когда подуло осенью и мраком,
ты посмотрел морским далёким взглядом

в ненастье, где скрипело слово „Якорь”,
намереваясь улететь с кронштейна,
и так сказал:

— Подобно мореходу
уоставшему, я бросил якорь в воду,
он — там, где ты, и — навсегда мы рядом,
вдали беды и кораблекрушенья.
Тягаться с океаном перестанем!

Каким же непосильным и пространным
твое „всегда” останется со мною!
Пришла зима. Ты был убит войною.
Ни дома, ни мансарды, ни подвала,
где молотком постукивал, бывало,
во времени другом, невероятном,
моряк-сапожник.

Ветра ледяного
довольно, чтоб гремела надпись: „Якорь”.
О, навсегда — что значит это слово?



*Белла
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 3

ПОЭТ О ПОЭТЕ

Четыре года, между 1837-м и 1841-м... За этот срок юноша, проживший двадцать три года, должен во что бы то ни стало прожить бóльшую часть своей жизни — до ее предела и до высочайшего совершенства личности.

Зрелость человека прекрасна, но коротка в сравнении с тем временем, которое он тратит, чтобы ее достигнуть... И он бросается в эти четыре года, чтобы прожить целую жизнь, а это дорого сто́ит. Так, в любимой им легенде путник вступает в высокую башню царицы, чтобы в одну ночь испытать вечность блаженства и мўки, и еще неизвестно, действительно ли он не ведает, во что это ему обойдется.

Ему удастся совершить этот смертельно-выгодный для него обмен: две жизни в плену — „за одну, но только полную тревог...”

Итак: „Погиб поэт...”

Я знаю, это несправедливое пристрастие — начинать счёт с этого момента, с этой строки, но для меня отсюда именно начинается эта сиротская, тяжелая любовь к нему.

Я до сих пор — а прошло сто лет и еще столько, сколько исполнилось мне в этом году, — не знаю: какое это стихотворение. То есть какова стихотворная, литературная его сторона. Я помню его только нагим, анатомически откровенным черновиком: первая, одним порывом написанная часть, потом — зачёркнуто, зачёркнуто, это где надо описать убийцу. Не убить убийцу, не свести на нет силой брезгливого гнева, а попробовать говорить о нём так, как будто убиваешь. А рука — нетверда от боли. Потом — устал. Нарисовал профиль справа и внизу. Потом — ясно, сразу написано: „Не мог понять в сей миг кровавый, на что́ он руку

поднимал!..” Ну да. Ведь это так ужасно: погиб, всё конечно, но еще, если представить себе, каким образом, — дурное, малое ничто поднимает руку — на что? На всё, на лучшее, на то, чего никогда уже не будет, и ничего нельзя поделать.

... В ссадинах выхожу я из этого чтения. И так велико и насущно ощущение опасности, каждодневно висящей над ним, — при его-то таланте протянуть руку и о пустой воздух порезаться, как об острый. И вдруг короткий отдых такой чистой, такой доброй ясности — „и верится, и плачется, и так легко, легко...” О, знаю я эту лёгкость: всё быстрее, быстрее бег его нервов, всё уже духота вокруг, и настойчивое, почти суеверное упоминание о близком конце, и эта оговорка: „Но не тем холодным сном могилы...”

И еще очень люблю я в нём небесные просветы такой прохладной, такой свежей простоты, что сладко остудить о них горячий лоб. А это, может быть, больше всего: „Пускай она поплачет... Ей ничего не значит!” Это — как в Ленинграде: если переутомишь себя непрерывным трудом восхищения, захвораешь перевозбуждением от того, что всякое здание требует художественной разгадки, то пойдешь невольно на неясный зов какой-то бездны. И увидишь: долгое здание, приведённое в сосредоточенный порядок строгой дисциплиной колонн, и такая в этом справедливость и здравость рассудка Кваренги, что разом опечалишься и отдохнёшь.

Можно играть в эту игру с былыми годами и не надолго, и не на самом деле обмануть себя: быть в Михайловском, но не подняться в Святогорский монастырь, где по ночам так ярко белеют маленький памятник и звёзды августовского неба. И думать: то, что живо в тебе густой толчеей твоей крови и нежностью памяти, то живо и впрямь. Это ничему не помогает. И всё же я не добралась еще до Пятигорска. Я остановилась на той горе, где живы еще развалины монастыря и скорбная тень молодого монаха всё хочет и хочет свободы, а внизу, в дивном и нежном пространстве, Арагва и Кура сближаются, словно для поцелуя, возле древнего Мцхетского храма. И он некогда стоял здесь и видел всё это, и оттого, что я повторила в себе какой-то миг его

зрения, мне показалось, что на секунду и навеки он возвращён сюда всевластным усилием любви. Там я и оставила его — он стоит там обласканный южным небом, но хочет вернуться на север, туда, куда ему нельзя не вернуться.

1964

Когда начинаются в тебе два этих имени и не любовь даже, а всё, всё — наибольшая обширность переживания, которую лишь они в тебе вызывают?

Может быть, слишком рано, еще в замкнутом и глубочайшем уюте твоего до-рождения на этой земле, она уже склоняется и обрекает тебя к чему-то, и объединяет эти имена со своим именем в неразборчивом вздохе, предвещающем твою жизнь.

Но что я знаю об этом? Сначала — ничего. Потом — проясняется и темнеет зрачок, и в долгом прекрасном беспорядке младенческого беспомыслия обозначается тяжелое качание ромашек где-то под Москвой, появляются другие огромные пустыки, и на всём этом — приторно-золотой отсвет первого детского блаженства. Потом, ни с того ни с сего, в Ильинском сквере, — слабый, голубоватый цвет мальчика, тяжело перенесшего корь, остро-худого, как малое стёклышко. Он умудрён и возвышен болезнью, и мы долго с важностью ходим, взявшись за руки. Из одной ладони в другую легонько упадет вздох живой кожи, малость какая-то, которой тесно, — его последняя крапинка кори. Сквозь корь я с неприязнью различаю, что взрослых отвлекает от меня какая-то плохая забота, являются новые запахи и звук, чьей безнадежной протяженности тогда я не оценила. Наконец куда-то везут, и в ярком пробеле вагонной двери я вижу небо, короткую зелень травы, коров и в последний раз понимаю, что всё — прекрасно.

Потом — в темноте эвакуации, в чужом доме, бормочут над моим полусном большие бабушкины губы. Давно уже, в крошечном „всегда”, прожитом к тому времени, висят

надо мной по вечерам два этих бормотания, слух помнит порядок звуков в них, но только тогда, внезапно, я узнаю в звуках слова, а в словах — предметы мира, уже ведомые мне.

— Буря мглою небо кроет... — и вдруг такая беспроечная тоска, такая боль неуюта и одиночества, беспечного сознания защищённости и в помине нет, а бабушка, которой прежде всегда доставало для блаженства, — что она может поделаться с великой непогодой над миром?

Потом наступает довольно долгий отдых какого-то безразличия. Бешеной детской памятью ты мгновенно усваиваешь даты и стрóки, связанные с этими двумя именами, смело бубнишь: „Великий русский поэт родился...”, и всё это придает тебе какой-то свободы и независимости от них. Во всяком случае так это было со мной. И только много позже ты обращаешься к ним всей энергией своего существа, и это уже навсегда. Потому много позже, что, кажется, человек дважды существует в полном объёме своего характера — в раннем детстве и в зрелости.

И вот приходит пора, когда ни о чём другом и думать не можешь, словно разгадываешь тайну. Единым страданием прочитываешь всё сначала, но что-то еще остается неясным. Все исследования, все сторонние мнения вызывают вдруг ревность и раздражение: в тебе есть уже непослушание истине, самостоятельность любви, в далеко стоящей личности великого человека ты различаешь еще нечто — малое, живое, родимое, предназначенное только тебе.

Тобой овладевает беспокойная корысть собственно поиска, ты хочешь сам, воочию, убедиться, принять на себя ту, уже неживую, жизнь.

...В Царскосельском парке, на повороте аллеи, я столкнулась лбом с коротким и твердым ветром, не имевшим причины в этой погожей тишине. Вероятно, воздух, вытесненный полтора века назад бешенством его детского бега, до сих пор свистел и носился в этих местах. С ним здесь нельзя было разминуться — нога повсюду попадала в его след — лукавый и быстрый, как улыбка. Он так осенил и насытил собой эти деревья, небеса и воды, статуи, разумно белеющие среди зелени, что всё это не выдержало вдруг избытка его имени и радостно выдохнуло его мне в заты-

лок. И вдруг, в радостном помрачении рассудка, сместившем время, я засмеялась: Слава Богу! Один еще бегаёт здесь, пробивая прочную зелень крепкой смуглостью детского лба, а тот, другой, верно, и не родился пока! Какое редкостное благополучие в мире!

...В ту ночь в Михайловском тишина и темнота, обострившиеся перед грозой, помогли мне догнать его тень, и близко уже было, но вдруг быстрый, резкий всплеск многих голосов заплакал над головой — это цапли, живущие высоко над прудом, испугались бесшумного бега вниз. И я одна пошла к дому. Бедный милый дом. Бедный милый дом — столько раз исчезавший, убитый грубостью невежд и снова рождённый детской любовью людей к его хозяину. Из него можно выйти на крыльцо, сверху глядящее на реку. Но лучше не выходить и не видеть того, что видно. Потому что река, скромно сияющая в просвете деревьев, и простые поля за рекой, не остановленные никаким пределом, расположены там таким образом, что лёгкие вдыхают вдруг боль и нет такого „ах”, чтобы ее выдохнуть. Это есть твоя земля, но в таком чрезмерном средоточии, в такой высокой степени наглядности, что для одного мгновения твоей жизни это невыносимо много.

Но дом был тёмн и пуст. Где же его хозяин? В Тригорском, конечно!

Учёный и добрый человек разгадал мою чудную тоску и ничего не стал запрещать мне в ту ночь. Я взяла подсвечник, который был старше меня на двести лет, но прочнее и новее меня, засверкал он тремя свечами. Я вошла одна в этот длинный, под фабрику строенный дом, более всех домов в мире населённый ревностью, любовью и тоской, — всё здесь обожжено и заплакано им. Медленно, медленно моих губ коснулся сумрак той осени — минута в минуту сто сорок лет назад. И тогда, остановив меня на пороге гостиной, маленьким нежным рыданием заиграл золотой голосок. Я не испугалась! Я знала эту игрушку — бессмертная птичка в клетке, умеющая открывать жалобно поющий металлический клюв. Как тосковал тот, кто завёл ее ночью и слушал один! А как затоскует он зимой! Буря мглою... нет сил.

Что же, он был там? Конечно. А я его видела? Нет, я осторожно пошла прочь. Если очень любишь свою тайну, я думаю — не надо заставлять врасплох ее целомудрие и доводить ее до очевидности.

Ну, а тот, другой, ради которого я вспоминаю всё это и не называю, берегу в тишине второе и тоже единственное имя — долгое, прохладное, сложное на вкус, как влага, которой никто не пил? С ним пока всё еще не так плохо, но и радоваться нечему: ему минуло уже десять лет, а он рано узнает печаль.

Однако, как летит время, особенно если ты, случайной кривизной памяти, попал в прошлый век.

И вот я в квартире на Мойке, столько раз реставрированной и всё же хорошо сохранившей выражение неблагополучия. Несколько посетителей, застенчиво поместив руки за спиной, из некоторого отдаления протягивают лица к стендам, и оттого все кажутся длинноносы и трогательно нехороши собой.

Учёная женщина-экскурсовод самоуверенным голосом перечисляет долги, ревность, одиночество, обострившие тупик его последних дней. Еще немного — и она, пожалуй, договорится до его трагической гибели. Но мне невольно это слушать, и я бегу от того, что принадлежит ей, к тому, что принадлежит мне.

Если он так жив во мне, может быть, есть какая-нибудь надежда. Но я смотрю в стекло, под которым... Нет никакой надежды. Там, под стеклом, помещён небольшой кусок черной материи, приведенной портным к изящному и тонкому силуэту. Это — жилет, выбранный великим человеком утром рокового дня. Его грациозно малый размер так вдруг поразил, потряс, разжалобил меня, и вся живая прочность моего тела бросилась на защиту той родимой, горячей, беззащитной худобы. Но давно уже было позади, и слёзы жалости и недоумения помешали мне смотреть, — неся их тяжесть в глазах и на лице, я вышла на улицу.

Что осталось мне теперь?

О, еще много — четыре с лишним года от этого января и до того июля. Пока неизвестно, что будет потом. Только едва ощутимый холодок недоброго предчувствия,

как тогда, вернее — как потом, в моём детстве, в эвакуации.

Эти четыре года, между 1837 и 1841, — самый большой промежуток времени из всех, мне известных. За этот срок юноша, проживший двадцать два года, должен во что бы то ни стало прожить бóльшую часть своей жизни — до ее предела, до высочайшего совершенства личности.

Зрелость человека прекрасна, но коротка в сравнении с тем временем, которое он тратит, чтобы ее достигнуть. Но этому юноше она нужна немедленно — он остался один на один с обстоятельствами великой поэзии, и они вынуждают его к мгновенному подвигу многолетнего возмужания. Разумеется, это естественная, единственно возможная судьба его, а не преднамеренное усилие воли.

И он бросается в эти четыре года, чтобы прожить целую жизнь, а это дорого сто́ит. Так, в любимой им легенде путник вступает в высокую башню царицы, чтобы в одну ночь испытать вечность блаженства и мўки, и еще неизвестно, действительно ли он не ведает, во что это ему обойдется.

Ему удастся совершить этот смертельно-выгодный для него обмен: две жизни в плену — „за одну, но только полную тревог”.

Итак: „Погиб поэт...”

Я знаю, это мое, несправедливое пристрастие — начинать счёт с этого момента, с этой строки, но для меня — отсюда именно начинается эта сиротская, тяжелая любовь к нему. Я поздно спохватилась: остается лишь четыре года.

Я до сих пор — а прошло сто лет и еще столько, сколько исполнилось мне в этом году, — не знаю: какое это стихотворение. То есть какова стихотворная, литературная его сторона. Я помню его только нагим, анатомически откровенным черновиком: первая, одной быстрой мўкой, одним порывом почерка написанная часть, потом — зачёркнуто, зачёркнуто, это где надо описать убийцу. Не убить убийцу, не свести на нет силой брезгливого гнева, а попробовать говорить о нём. А рука — нетверда от боли. Потом — устал. Нарисовал профиль справа и внизу. Потом — ясно, сразу написано: „Не мог понять в сей миг кровавый, на что́ он руку поднимал!..” Ну да. Ведь это так дополнительно ужас-

но: погиб, всё кончено, но еще, если представить себе, каким образом, — дурное, малое ничто поднимает руку — на что? На всё, на лучшее, на то, чего никогда уже не будет, и ничего нельзя поделать.

И это — отдельно написанное, благородное, абсолютное, наивное, даже детское какое-то проклятье в конце.

Для меня — это последнее его стихотворение, оставляющее мне возможность обывательской растроганности: Господи! А ведь он еще так молод! Дальнейший его возраст — лишь неважная, житейская примета, ничего не объясняющая в завершённой, как окружность, наибольшей и вечной взрослости духа, не подлежащей вычислению.

В спешке жажды и тоски по нему сколько жизни проводим мы среди его строк, словно локти разбивая об острые углы раскалённого неюта, в котором пребывала его душа. В ссадинах выхожу я из этого чтения. И так велико и насущно ощущение опасности, каждодневно висящей над ним, — при его-то таланте протянуть руку и о пустой звук порезаться, как об остриё. И вдруг короткий отдых такой чистой, такой доброй ясности — „И верится, и плачется, и так легко, легко“. О, знаю я эту лёгкость: всё быстрее, быстрее бег его нервов, всё уже духота вокруг, и настойчивое, почти суеверное упоминание о близком конце, и бедная эта живая оговорка: „Но не тем глубоким сном могилы...“

И еще очень люблю я в нём небесные просветы такой прохладной, такой свежей простоты, что сладко остудить о них горячий лоб. А это, может быть, больше всего: „Пускай она поплачет... Ей ничего не значит!“ Это — как в Ленинграде: если переутомишь себя непрерывным трудом восхищения, захвораете перевозбуждением оттого, что всякое здание требует художественной разгадки, то пойдешь невольно на неясный зов какой-то белизны. И увидишь: долгое здание, приведённое в сосредоточенный порядок строгой дисциплиной колонн, и такая в этом справедливость и здравость рассудка Кваренги, что разом опечалишься и отдохнёшь.

Можно играть в эту игру с былыми годами и не надолго и не на самом деле обмануть себя: быть в Михайловском, но не подняться в Святогорский монастырь, где по ночам

так ярко белеют монастырь, маленький памятник и звёзды августовского неба. И думать: то, что живо в тебе густой толчеёй твоей крови и нежностью памяти, то живо и впрямь. Это ничему не помогает. И всё же я не добралась еще до Пятигорска. Я остановилась на той горе, где живы еще развалины монастыря, и скорбная тень молодого монаха всё хочет и хочет свободы, а внизу, в дивном и нежном пространстве, Арагва и Кура сближаются возле древнего Мцхетского храма. И он некогда стоял здесь и видел всё это, и оттого, что я повторила в себе какой-то миг его зрения, мне показалось, что на секунду и навеки он возвращён сюда всевластным усилием любви. Там я и оставила его — он стоит там обласканный южным небом, но хочет вернуться на север, туда, куда ему нельзя не вернуться. И он вернётся.

Но почему два имени сразу? Не знаю. Так случилось со мной. Недавно, в чужой стране, в большом городе, я и два человека из этого города, и один человек из моего города стояли и смотрели на чужую прекрасную реку. И кто-то из тех двоих мельком, имея в виду что-то свое, упомянул эти имена. Мы ничего не ответили им, но наши лица стали похожи. Они спросили: „Что вы?“ Я сказала: „Ничего“. И выговорила вдруг так, как давно не могла выговорить: ПУШКИН. ЛЕРМОНТОВ.

И в этом было всё, всё: они, и имя земли, столь близкое к их именам, и многозначительность души, связанная с этим, всё, что знают все люди, и еще что-то, что знает лишь эта земля.

1965

Он умер, прошло сто лет и еще столько, сколько было мне в прошлом году, когда в августе, вечером, после дождя, я остановилась посреди парка, где некогда он бывал каждый день. Только что на повороте аллеи я столкнулась лбом с коротким и твердым ветром, не имевшим причины в этой погожей тишине. Вероятно, воздух, полтора века назад вытесненный бешенством его детского бега, до сих пор свистел и носился в этих местах. Испытав раздражение, как если бы он, действительно, пробегая задел меня локтем, я повернулась и пошла обратно.

При поспешности его движений он всё здесь осенил и насытил собой, и с памятью о нём нельзя было разминуться — нога повсюду попадала в его след. И всё-таки ощущение совпадения с ним было искусственным и неточным.

Чтобы полностью воспроизвести в себе какой-то миг его зрения, я расчётливо направилась туда, где это было наиболее возможно, — к источнику, который он любил наблюдать. Нетерпеливая корысть владела мною. Я уже устала думать о нём, выслеживать его дыхание, уцелевшее в пространстве, мое возбуждение нуждалось в очевидной удаче и взаимности.

Я явилась со стороны кустов, чтобы застать в спину и врасплох обнаженную мраморную фигуру, обязанную стать посредником между моим и его настроением. Я горячо ждала от нее, что она вернет моим глазам энергию его взгляда, воспринятую смуглым камнем в начале прошлого столетия. Приняв страстное заблуждение мозга за остриё совершенного расчёта, я могущественно нацелила его на ясные черты статуи и тут же поняла, что промахнулась, как человек, поцеловавший пустоту.

Да, конечно, он стоял именно здесь, в августе, вечером, после дождя, и видел юное бессознание этого тела, простое лицо со слабым выражением какой-то полудогадки, нежное, поникшее плечо, острую грудь, бесхитростные колени, открытые влажному падению кленовых листьев... Бог с ним! Теперь мне это было совершенно безразлично.

Разом утомившись и заскучав, я на всякий случай еще раз обошла вокруг, но так и не испытала никакого ответа. Я попила с ладони холодной воды, пустой и скушной на вкус, и, вдруг ощутив злобу и гнев, пошла прочь.

Но постепенно мои нервы опять сосредоточились на нём, и влияние его парка мучительно управляло мной, как сильный взгляд в спину, придающий движениям скованность и нетрезвость. Я тупо и ловко пробивалась вперёд, сквозь оранжевую мощь заходящего солнца, обезумев от сильного предчувствия, заострившись телом и помертвев, как пёс, прервавший слух и зрение, чтобы не мешать ноздрям вдохнуть короткую боль искомого запаха. И вот острым провидением лопаток я уловила тонкий сигнал привета, заботливо обращенный ко мне. Помедлив, я в торжественной тишине пульсов обернулась к этим деревьям, небесам и водам, к изваяниям, разумно белеющим среди зелени, ко всему, что не выдержало вдруг избытка его имени и в тоске и любви выдохнуло его мне в затылок.

В глубоком объёме сумерек чисто мерцало небольшое строение с хороводом колонн возле округлого входа. Откликнувшись призыву яркой белизны, я подошла и на песке возле ступеней различила резвый след маленькой ноги, лукавый и быстрый, как улыбка. Радостно засмеявшись, я ласкалась лбом к доброй прохладе колонн, обретая простоту и покой. Я знала, кто возвёл их так справедливо, и благодарила его за ясность ума. Беспечная свобода удлинённого здания сдерживалась суровой и прочной дисциплиной колонн, и в их соразмерном порядке было легко на душе, как под защитой простого закона. Вероятно, и тот, ради кого я пришла сюда, отдыхал здесь от жгучей и неопределённой вспыльчивости юного мозга, упершись сильным лбом в трезвую зрелость мраморных полукружий. Образ его, уто-

мивший меня сегодня, притих и утратил настойчивость, и я могла расстаться с ним с приятным чувством победы.

Я вернулась в город и прекрасно спала в маленьком старомодном номере, даже во сне радуясь его тихому плюшу и бесполезной меди канделябров.

Утром я пошла в дом, где он жил и умер, и, привязав к обуви огромные шлёпанцы, поднялась в небольшую квартиру, много раз реставрированную и всё же хорошо сохранившую выражение неблагополучия. Несколько посетителей, застенчиво поместив руки за спиной, из некоторого отдаления протягивали лица к многочисленным стендам, и в этой осторожной позе все казались длинноносы и трогательно нехороши собой.

Я сразу же попала в острое чувство разлуки с ним, как будто не застала его дома вопреки ожиданию. Все его изображения и копии писем и документов не открывали мне смысла его тайны, а, напротив, отводили меня вдаль от нее, в сторону чужого и общепринятого объяснения его личности великого человека.

В одной из комнат я столкнулась с большой группой экскурсантов, возглавляемой учёной сотрудницей музея. Уверенным голосом она перечисляла печальные приметы его жизни, безошибочно тыкая указкой в долги, ревность, одиночество, обострившие тупик его последних дней. Мне невозможно было это слушать, и, мельком глянув на меня, она, видимо, заметила в моём лице непослушание истине, самостоятельность любви, неподвластную ее хозяйской воле. С каким-то злорадным упорством она стала обращать свои пояснения ко мне, и, попав в неловкую зависимость от ее сурового взгляда, я не могла уйти. Оценив мое смирение и несколько смягчившись, она, как для пения, возвысила голос, чтобы объявить мне о его трагической гибели, но я, с неожиданной непринуждённостью, повернулась к ней спиной и вышла.

Теперь я очень торопилась, желая разминуться с экскурсией. И всё же я задержалась возле скромной витрины, хранящей под стеклом полметра мягкой черной материи, приведённой портным к изящному точному силуэту. Это был жилет, выбранный великим человеком утром роково-

го дня. Его грациозно малый размер поразил и разжалобил меня, и живая прочность моего тела встрепенулась в могучем сострадании, готовая к прыжку, чтобы защитить собой чью-то родимую, горячую беззащитную худобу...

Внизу, во дворе, где флигели и сирень всё еще пребывали в кротком уюте прошлых столетий, маленькая чужая девочка радостно уставилась на меня и сказала с чистосердечной любовью: „Здравствуй!“ Я посчитала это доброй приметой и заторопилась ехать, как если бы он ждал меня и я знала где.

Теперь, когда я знала, что скоро уеду, я шла медленно, чтобы утомить и измучить себя этим городом и не жалеть о разлуке с ним. Он был слишком просто сложен, чтобы не замечать этого. Каждая его улица, блистающая логикой и прямизной, требовала художественной разгадки и угнетала разум непрерывным трудом восхищения. Старинные здания, населённые современной обыденной жизнью, казались мне нездешними и необитаемыми, как Парфенон, и, запрокинув голову к их ясным фасадам, я испытывала темное беспокойство невежды, вззирающего на небеса. Тот, чьи следы привели меня сюда, с лёгкостью любил этот город: для него совершенство было будничным и произвольным вариантом формы, ничего другого ему и в голову не приходило.

1966

Сначала слышалось только: „Бу-бу-бу...” Это большие бабушкины губы бубнили над непрочным детским теменем, извещая его о грядущей истине, о радости, дарованной всем ни за что ни про что, просто за заслугу рождения. Потом, в сиротстве эвакуации, бормотание прояснилось в слова — до сих пор пугаюсь их нежной и безвыходной жути: „Буря мглою небо кроет...”

Много лет спустя в Тригорском, при буре и мгле, при подсвечнике в три огня, услышу, как сама по себе, отвечая заводу прошлого столетия, расплачется в клетке маленькая золотая птичка — улада одиноких зимних вечеров. Может быть, и не было ее здесь тогда — тем хуже! Как тосковал он, как бедствовал в этих занесённых снегом местах!

Между этими двумя ощущениями — много жизни, первое беспечное обладание Пушкиным и разлука с ним на время юношеского смятённого невежества. Взрослея, душа обращается к Пушкину, страстно следит за ним, берёт его себе, и этот поиск соответствует поиску собственной зрелости. Какое наслаждение — присвоить, никого не обделив, заполучить в общение эту личность, самую пленительную в человечестве, ободряюще здоровую, безызынную, как зимний день.

Любоваться им — нелегко, мучительна тайна его ничем не скованной лёгкости. Откуда берется в горле такая свобода?

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса...

О, знаем мы эту лёгкость и эту свободу. За всё за это —

загнанность в угол, ожог рассудка и рана в низ живота. Так и мыкаемся между восторгом, что жив и ненаглядно прекрасен, и страшной вестью о его смерти, всегда новой и затемняющей зрение.

И вспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.

Как это делается? Кажется, понимал это лишь А.Н.Вульф, считавший себя соучастником стихотворения, — ах, пусть его, наверно, так и было. Но с кем? С никудышным Алексеем Николаевичем ехал, доверчиво сиял глазами, подъезжал под Ижоры, а меня и в помине не было. Ужас тоски и ревности.

Ревности к Пушкину, как всегда, много. Все мы влюблены и ревнуем, как милое и обширное семейство Осиповых—Вульф, — к друзьям, к возлюбленным, к исследователям, к чтецам, ко всем, посягающим на принадлежность Пушкина лишь нашему знанию и сердцу.

Все мы чего-то ждем, чего-то добиваемся от Пушкина, — что ж, он никому не отказывает в ответе. Достаточно сосредоточить на нём душу, не утяжелённую злом, чтобы услышать спасительный шум его появления — не более заметный, чем при возникновении улыбки или румянца. Но не следует фамильярничать с его именем. Он знает, чем мы ему обязаны, и разом поставит нас на место с ликующей бесцеремонностью, позволенной только ему, — ему-то не у кого спрашивать позволения: „Читатель ждет уж рифмы розы...” Так и будем стоять с дурацким видом, поймав на лету его галантную и небрежную розу — в подарок или в насмешку.

Мы — путники в сторону Пушкина, и хотя это путь нашего разума, нашей нравственности, географически он приводит нас в Михайловское: где же быть Пушкину, как не здесь? Хранитель заповедных мест, или директор заповедника, С.С.Гейченко говорит, что нужно уметь позвать того, кто насытил своим очевидным присутствием воздух парка, леса и поля, и он незамедлительно ответит: „Ау!” Милый Семён Степанович, судя по вашему многознающему лицу, заглянувшему в тайну, вам не раз выпадала удача этой переключки.

Белла Ахмадулина

Стало быть, мѹки, раны и смерти, подтверждѣнной непреложностью белого памятника за оградой монастыря, всё же недостало Пушкину для отсутствия в мире?

Представляю, как белые аисты, живущие над входом в усадьбу, тревожно косят острым зрачком на многотысячную толпу.

Впрочем, про множество людей, сведѣнных в единство просвещенной любовью, уместнее сказать: человечество. К каким его счастливым обращено „ау”, смутно брезжущее в парке, будто бы ответная приязнь, привет Пушкина — нам?

1969

ЛЕРМОНТОВ
Из архива семейства Р.

В Москве, на Красноармейской улице, живет и благоденствует семейство Р. Старшие Р. имеют взрослых детей и многих внуков, но их добросердечие и энергия не исчерпаны течением лет, трудами и заботами. В их скромном, радушном и несколько безалаберном доме всегда гостят друзья, а также друзья, родные и знакомые друзей, некоторые с детьми, птицами и животными. Молодожёны, ожидающие новоселья, грустные гордецы, терпящие размолвку с домашними, беспечные приезжие разбивают здесь свои неппрочные шатры и черпают живое благо из огромной суповой кастрюли. Некогда сюда забрёл чужестранец, перепутавший адрес. В это время учились ходить близнецы, оснащенные специальным, быстро несущимся устройством, шаталась стремянка, вбивался гвоздь, на кухне за чисткой рыбы распевала актриса, без убытка расточая древнее серебро знаменитых бледных северных глаз. Стада маленьких добрых существ ластились к коленям пришельца – он замешкался, в совершенстве овладел русским языком, а когда прощался перед отъездом на родину, из груди его вывалилось короткое неблагоприятное рыдание, не принятое среди его соотечественников. Ко множеству детских фотографий в доме Р. прибавились изображения двух прилежных кружевных джентльменов, напряженно скрывающих от объектива выражение неслыханного озорства, подступившего к сердцу.

Не гнушайся этими лишними сведениями, любезный читатель. Как знать, может быть, и тебе придется жить под этим кровом, если ты не читаешь эти строки, примостившись где-нибудь вблизи упомянутой кастрюли.

Озирая разнородной здешнего многолюдья, невольню испытываешь тревогу за другие города и пространства: не пришлось ли

им вовсе опустеть, чтобы послать сюда столько славных ски-
тальцев?

Легко вообразить, сколько памятных вещиц и нефритя-
зательных документов осталось в собрании доброго и рассеян-
ного семейства Р. В упаковочной картонке болгарского производст-
ва хранятся бумаги, писанные одной рукой, пренебрегшей заве-
домым выбором стиля и жанра, и несколько сторонних писем.
Судя по этим записям, их безымянный автор сильно печалился
по человеку, родившемуся более ста пятидесяти лет назад и жив-
шему недолго. Столько лет прошло, а он всё печалился, любовь и
досада припекали его вспылчивый, недисциплинированный ум,
и, несмотря на непоправимость прошедшего времени, он словно
помышлял о спасении и мести. Случилось так, что я вольна рас-
порядиться этими бумагами по моему усмотрению, и вот рас-
поряжаюсь, придав им некоторый порядок для удобства
благосклонного читателя. Что же касается авторства, то
в нём можно подозревать любого из многочисленных постояль-
цев гостеприимного дома Р. Долгое время жила там и я (вместе
с моей собакой).

За милость приюта, а также за целость и сохранность
картонного ящика приношу семейству Р. мою почтительную
благодарность.

I

СКУКА ЛЕТНИХ ДНЕЙ В БАРСКОЙ УСАДЬБЕ

Как любил он прежде встречать в серебряном стекле свое
пригожее нарядное лицо: кровь с молоком в благородной
пропорции, приятная плавность линий и оранжерейные
усы драгоценного отлива. Глаза красиво помещены чуть на-
выкате, в стороне от ума, не питающего их явным прито-
ком, — светлые, бесхитростные глаза, надобные для зрения
и общей миловидности, а не для того, чтобы угнетать на-
блюдателя чрезмерным значением взора. (О глазах друго-
го и противоположного устройства, и поныне опаляющих
воображение человечества, когда-то сделал он следующую
запись: „Свои глаза устанут гоняться за его взглядом, кото-

рый ни на секунду не останавливался ни на одном предмете. Чтобы дать хотя приблизительное понятие об общем впечатлении этого неуловимого взгляда, сравнить его можно только с механикой на картинах волшебного фонаря, где таким образом передвигаются глаза у зверей”.)

Один лишь маленький изъян мог он предполагать в своих чертах — это грубоватость их предыстории, винные откупы обожаемого батюшки — и тот легко восполнялся напуском барственного выражения и склонностью к шелковым и бархатным материям глубоких патрицианских тонов.

Некоторые, особенно счастливые, свои отражения помнил он до сих пор. Однажды, по выпуске из юнкерской школы, угорев от офицерской пирушки, ища прохлады, воли и другого какого-то счастья, толкнул он наугад дверь и увидел прямо перед собой свое прельстительно молодое лицо, локон, припотевший к виску, сильную, жадную до воздуха шею — всё это в отчетливом многозначительном ореоле. Стоял и смотрел, куда судьба, рыщущая в белых сумерках, не заметила молодца для будущей важной надобности. И еще в Киеве, зимой, в самую острую пору его жизни, поднимался по лестнице меж огнедышащих канделябров и на округлом повороте резко, наотмашь отразился в упоительном стекле: впервые немолодой, близкий к тридцатому году, бережно несущий на отлогах челе мету неутолимой скорби, но, как никогда, статный, вольготный и готовый к любви. Именно таким сейчас, сейчас увидит его бал, разом повернувший к нему все головы, и выпорхнет картавый польский голосок, обмирающий от смеха и от страха: шутка ли примерить к себе прицел этих ужасных прекрасных поцелуйных усов! Но еще половина лестницы оставалась ему, и выше крайней ее ступени ничего не будет в его жизни — то была вершина его дней, его Эльборус, а далее долгий медленный спад, склон, спуск к скуке этого лета.

Его туалетный стол по-прежнему был обставлен с капризным дамским комфортом, но зеркало, окаймленное тяжелым серебром, изображающим охотничьи игры Дианы, уже не приносило радости. И не в старении его было дело! Батюшка в этом возрасте был хотя и почтенный, но бод-

рый, резвый человек, в свободную минуту пускавший шалить с маленькими дочерьми и сыновьями. Да, видно, вся кровь их износилась и ослабела: брат Михаил не прожил полувека, а сам он в пятьдесят шесть лет замечал в слюне нехороший привкус, словно в душе что-то прокисло.

Отвлечшись от зеркала, стал он глядеть в окно, но и там ничего хорошего не увидел: висело пустое небо, сиреневые шторы пилили остовы обгоревших на солнце кистей. В стороне от зрения оставались близкое село с церковью, скушные поля, бедный лес. Впрочем, между ним и природой и прежде ничего особенного не происходило, только вершины гор и избыток звездного неба внушали неприятную робость, схожую с предчувствием недуга, посягающего на непрочную плоть.

Почты он не ждал и не хотел: через ее посредство уже допекали его досужие господа, неграмотные в правилах чести, сующие нос в чужие дела, — он содрогался от близости этого развязного чернильного носа, с сомнением приносящегося к святине его порядочности. И козни эти уже достигали других нестойких умов! Недавно в Москве представляли ему молодого человека, нуждающегося в ободрении, — он было хотел его приветить, да вдруг через протянутую руку почувствовал, как того передёрнуло от плеча к плечу, так что руки их разорвались, при этом несбывшийся протеже побледнел, словно от смерти.

Третьего дня соскочил с его дороги потёртый, плюгавый господинчик, устремивший на него нелепую трагическую гримасу, в смысл которой и вчитываться не стоило. На белом свете толкуются тьмы таких бесцельных людишек, даже не помеченных для порядку разнообразием внешности. Точно такого же невежу встретил он давно, выйдя из несильной короткой тюрьмы на дозволенную целебную прогулку: тот так же тарачился, разыгрывая лицом целую драму, и долго не пил воды, брезгливо дожидаясь полной перемены минеральной струи. Третий близнец вмешался в толпу зевак при его венчании, выставлял физиономию и натужно мигал, нагнетая в зрачки фальшивый адский пламень. Эти курьезные действия не предвещали браку добра, что вскоре и подтвердилось.

Он давно уже собирался выразить отпор всем нескромным задирам, а отчасти и собственной маленькой неуверенности, иногда крепчавшей до явного неудобства, и только ждал нужного дня.

Утром особенного дня, на который возлагал он большие надежды, он пробудился живей, чем обычно, сразу приглянулся серебряной Диане, приласкал усы и за кофием с такой отдалённостью соотносился с домашними, словно дивился и сострадал их незначительности и птичьему вздору речей. Сегодня он ждал от природы участия и подъёма, но она смотрела в окно по-прежнему бесцветно и глупо, как белесая деревенская девка.

Словно побуждаемый свыше, строго прошел он в кабинет, присел к хрупко-громоздкому, французской работы, столу для умственных занятий и, обмерев от силы момента, плеснувшего за ворот холодком, красиво и крупно вывел вверху листа дорогой бумаги: „МОЯ ИСПОВЕДЬ”, Далее — сбоку и мелко — „15 июля 1871 года, село Знаменское”. И единым духом, без остановки: „Сегодня минуло ровно тридцать лет, как я стрелялся с Лермонтовым на дуэли”.

Так вот это кто. Вот зачем ему именно этот день. Как многие обыкновенные люди, он полагался на необыкновенность обстоятельств, чтобы спутать их с собственной заслугой. Роковая округлость даты должна была взбодрить нервы, продиктовать уму скрытый от него смысл. Он фатум приглашал в соавторы своей руке, чьим вкладом в дело был красивый, холёный почерк. И резво бежала рука.

„Тридцать лет — это почти целая жизнь человеческая, а мне памятли малейшие подробности этого дня, как будто происшествие случилось только вчера”.

Почти жизнь. Как сказать. Сам он проживет вдвое больше. Второму участнику происшествия и до этого неполного срока недоставало четырех лет. Но — бледнейте, грядущие литературоведы: ему памятли подробности! Затаим биение сердца и станем заглядывать за плечо, одетое стёганым домашним шелком.

„Углубляясь в себя, переносясь мысленно за тридцать лет назад и помня, что я стою теперь на краю могилы, что жизнь моя окончена и остаток дней моих сочтён...”

О, вот оно, сбылось! Не зря он ждал! Сторонняя сила причинила ему состояние, в котором он не имел опыта и которому названия не знал, а это было вдохновение, взлёт в чужую пугающую высь, откуда он ясно увидел, что ржавый вкус, и тревога, и вялое ожидание облегчающей перемены — всё это было близость его собственной смерти, очень существенной и трогательной до слёз. Он не отшатнулся от этого откровения, а даже усугублял его, немного любясь собой и тайком заговаривая судьбу: может, и не сбудется, да и не теперь же, немедленно, ему умереть, а выгода незаурядности, возвышающей его над беспечно живыми людьми, уже есть, и не им корить человека, сознающего предсмертие. Да ведь если он умирает, его столкновение с умершим кончено миром, они уже сравнялись и никто не виновен. Он впервые примерил смерть к себе, еще совершенно живому, и это было настолько больше и важнее всего, о чём он собирался писать, что чувство стало убывать, и остатком его он продолжил:

„Для полного уяснения дела мне требуется сделать маленькое отступление: представить личность Лермонтова так, как я понимал его, со всеми его недостатками, а равно и с добрыми качествами, которые он имел”.

Он добросовестно отложил перо, затуманил глаза и тут же увидел требуемую личность, которая, как всегда, неприятно поразила его. Нервы его сразу обострились против фантазёров, теперь влюбившихся в эту личность за красоту собственных фантазий. Виновен ли он, что эта личность, обратная и противоположенная ему всеми недостатками и добрыми качествами, всю жизнь наступала на него, задирала, набрасывалась с дружелюбием, звала к Яру, зарифмовывала черт-те с чем, искала в нём пустого места для жгучих неблагоприятных выходов. Даже при вдруг кротком Лермонтове он ощущал неуютное беспокойство, как в горах, когда пейзаж притворяется идиллией, а затылок подозревает на себе прищуренный черкесский глаз. Он не умел отличать самолюбия от чувства чести, отчего площадь его уязвимости была искушающе огромной и требовала неуспынной придиричьей охраны. Еще в юнкерской школе он раз и навсегда предупредил, что с ним шутить нельзя.

Если бы Лермонтов искал себе убийцы или, напротив, опасался его, он бы вспомнил, как озорничала предводительствуемая им „Нумидийская конница”. Как оседлавшие друг друга сорвиголовы, облаченные в простыни и вооруженные холодной водой, врывались ночью в расположение новичков и повергали их в смятение и сырость. Как один хорошенький юнкер, обычно имевший в лице простодушное выражение девичьего недомыслия, насупился и напрягся для боя, и лицо его, побелевшее целиком, вместе с глазами, не умещалось в игре и не сулило пощады. Главный нумидиец засмеялся и завернул эскадрон. Фамилия победителя была — Мартынов. А это вам не Есаков, которого Лермонтов продрознил всю осень сорокового года (в Чечне) и всю последующую зиму (в Ставрополе), однако не был за это убит. Есаков: „... он школьничал со мною до пределов возможного, а когда замечал, что теряю терпение (что, впрочем, недолго заставляло себя ждать), он, бывало, ласковым словом, добрым взглядом или поцелуем тотчас уймёт мой пыл”.

Всё их приятельство, общие гостиные, обеды, карты, поездки верхом вспоминались ему как изнуряющее неудобство, от которого он и теперь не мог отдохнуть. Он тратил на один предмет одну мысль — так же просто и чётко, как обходился одним глазом для прицела, и эта экономность ума предрешила исход их долгих отношений. Лермонтов же явно не умещался в одно мнение, рассудок не поспевал за ним и терпел эту неудачу как новое маленькое оскорбление. Всей этой зауми Мартынов, разумеется, не знал, но у него были и другие, известные ему, причины быть недовольным. Начать с того, что он считал красоту или хотя бы благообразность непременным условием порядочности. А Лермонтов назло ему был дик лицом, не вытянут в длину, небрежен в платье, не шел к седлу, даром что совершенно им владел, ел слепо и жадно, даже и не по-мужицки, а по-разбойничьи, — не говоря уже о его зверских прыжках и шалостях! Мало этого — он таинственным образом заманивал неотрывно смотреть на себя, и мучение возрастало. Главное же было в том, что при нём Мартынов начинал сомневаться в своей безукоризненной приглядности, в правильности туалета,

в храбрости скакать по горам, в находчивости вести беседу и — в крахмальной опрятности совести.

От Лермонтова сквозило или пекло́, что составляло целую лихорадку, и он скучал, если не на ком было ее выместить. Когда брошенный Лермонтовым полтинник упал решёткой вверх, в пользу каприза, Пятигорска и гибели, в чём, скажите, виноват был Мартынов? Он мирно спал, когда явился за ним чернявый Найтаки, державший гостиницу: дескать, прибыли и желают видеть без промедления. Он доверчиво пошел, следуя выносливой привязанности: Монго́ лежал с львиной грацией и ленью, Лермонтов так и прыгнул обнимать и звать „Мартышкой”. Несносность его крепла еще два месяца.

Но исповедь предполагает осуждение себя, а не других, и он силою стал наводить мысль на хорошие черты Лермонтова, похвалы которым он и не думал скрывать. Первыми в их списке были: очень белые, удобные для насмешника зубы, даже слишком крепкие и сильные для дворянина, и неизменно безупречное бельё. Следовало одобрить и халат цвета тины, опоясываемый шнурком с золотыми желудями на концах. Хваткие руки ниже запястья — благородной формы и белизны, ладони свежие, с примечательным раскладом линий, по цыганской грамоте — неблагоприятным. Мартынов кочующим и прочими племенами гнушался, вещунов избегал и ладонью разбрасывался с предосторожностью, потому что усвоил и передал фамильную — лучше бы сказать по-французски! — потливость, относящуюся не к исповеди, а к нашему злословию. К достоинствам Лермонтова относились также: превосходная ловкость в обращении с оружием всех видов, даже и с рапирой, не давшейся Мартынову из-за чрезвычайного страха щекотки, точное и смелое чувство лошади (при некрасивой посадке), замечательная лёгкость в танцах. Кабы не превеличенные им до крайности, могли нравиться в нём общие для гусар отличия, в ту пору еще соблюдаемые. Так, он нисколько не щадил денег (правда, не был учён нуждой), в удалом кутеже оставался трезв, лишь бледнел и темнел глазами, был беспечен к опасности и, хотя мало кого любил, любого мог заслонить в походе (отчасти из-за своего фата-

лизма). И всё же хорошим офицером он быть не мог, так как не терпел подчиняться, не скучал о наградах и вынужден был примирять выдающуюся храбрость с непреодолимым дружелюбием к строптивым инородцам, населяющим Кавказские горы. Да и дурное сложение не обещало успехов ни в кавалерии, ни тем более в пешем фронте.

Тут он осёкся, вспомнив о докучливых ревнителях лермонтовской славы, движение которой во времени его удивляло и беспокоило. Он не знал давнего рассуждения Т.А.Бакуниной, грустившей о нравах слепого и неблагодарного общества, но с начальной его частью прежде мог согласиться: „Об Лермонтове скоро позабудут в России — он еще так немного сделал...” Ан, всё обернулось иначе, и он взял более современный и учёный тон.

„Не стану говорить об его уме: эта сторона его личности вне вопроса; все одинаково сознают, что он был очень умён, а многие видят в нём даже гениального человека”.

К нему самому как раз этой стороной своей личности Лермонтов совсем не оборачивался, да и от других норвил ее скрыть за видимым легкомыслием и шалопайством. Он и с Белинским вначале не хотел серьёзничать, дурачил и мучил его до болезненной вспышки щёк и, кажется, очень был доволен, что сумел-таки произвести тяжелое и даже пошлое впечатление, отпраздновав эту победу резким смехом. И только в ордонансгаузе не смог утаить себя — и как счастлив, как влюблён сделался пылкий Белинский, не когда-нибудь через сто лет, а сразу, немедленно постигший, с какой драгоценностью имеет дело, и оповестивший о ней с обожанием, принижением себя, с восторгом.

Лермонтов и для шахмат искал только сильных партнёров, особенно отличая поручика Москалева (да и того обыгрывал). В более таинственные и деликатные игры ума Мартынов и вовсе не мог быть приглашен и не находил их занимательными. А всё же он и сам знал об этом общеизвестном уме, что он, точно, есть у Лермонтова; — и по убедительной наслышке и по своему почтительному доверию ко всему непонятному, утверждавшему его причастность к мыслящему кругу. Так хорошие жёны вяжут при мужской беседе, не вникая в ее смысл и пребывая в счастливой уве-

ренности, что всё это очень умно и полезно для общества, в чье умственное парение и они сейчас вовлечены.

Хорошо, что автор исповеди не может через наше плечо увидеть этого неприличного сравнения! Он твердо знал и любил свою принадлежность к полу метких стрелков, стройных наездников, храбрых майоров (в отставке). А ведь было в нём что-то дамское, что разглядел за усами капризный коварный ангел польского происхождения, толкнувший к нему бальным веером теплый воздух дурмана, заменяющий твердое „эль” заманчивым распылом гóлоса и взятый им в жёны. Не то чтобы она стала ревновать его к флаконам, атласу и книжкам, галантно обращённым именно к читательницам, но, после недолгой приглядки, возвела себя в чин грубого превосходства и на все его соображения отвечала маленькой улыбкой сарказма и нетерпеливым подёргиванием башмачка — и это, заметьте, не только тет-а-тет, но и на виду у посторонних.

Мартынов не отрицал пользы глубокомыслия, но, если очень умничали при нём, он томился, непосильно напрягал брови, и жаль было его невинного лба, поврежденного морщиной недоумения. Застав его лицо в этом беспомощном положении, Лермонтов взглядывал на него с пристальным и нежным сочувствием, но тут же потуплял глаза для перемены взора на дерзкий и смешливый. Оба эти способа смотреть на него равно не устраивали Мартынова. Тем не менее он продолжил:

„Как писатель действительно он весьма высоко стоит, и, если сообразить, что талант его еще не успел прийти к полному развитию, если вспомнить, как он был еще молод...”

С наивностью, которую в нём многие любили, он ни в какой мере не соотносил себя и то обстоятельство, что молодость осталась основным и окончательным возрастом Лермонтова. Что касается до положительной оценки его как писателя, то лукавил он лишь в том, что вообще пустился в это рассуждение — для необходимой поправки затаившимся недругам. Разумеется, знаменитый роман Лермонтова, минуя описания природы и другие длинноты, он очень даже читал, поощряемый естественным любопытством просвещённого человека, а еще более — необоснованными

наветами, сближающими Грушницкого чуть ли не с ним самим, а княжну Мери, что и вовсе глупо, — с сестрой Натальей Соломоновной. Не отрицая живости некоторых эпизодов, он не одобрял общей, предвзятой и искаженной картины той жизни, которой сам был не менее автора свидетель и участник. То, что во главу не только романа, но общества и века поставлен был озлобленный и безнравственный субъект, присвоивший сильно приукрашенные и всё же неприятно знакомые черты, казалось ему нескромным и оскорбительным самоуправством. Он не знал, что совпадает во мнении со своим августейшим тезкой, с той разницей, что тот не имел нужды стесняться и прямо определил роман как отвратительный. Вообще о высочайшей неприязни к Лермонтову он был извещён и оценил ее чрезмерность невольным пожатием плеч, словно ревнуя к столь сильному монаршему чувству, из излишков которого получилась мимолётная благосклонность к нему самому. Государь, в свою очередь, не знал, что по художественному устройству природы имеет близкую родню в отставном артиллерийском майоре, с той разницей, что тот не должен множить личные пристрастия на общегосударственные опасения.

Читал он и другие произведения Лермонтова. Те из них, которые были ему понятны, он считал простыми и незначительными (что ж мудрёного слагать рифмы, он и сам их слагал), а более трудные и возвышенные могли быть отнесены к поэзии, да он не был до них охотник. Вольнодумство, сверх обязательной, принятой в его кругу меры, на его взгляд, никак не сочеталось с гармонией. Ему случилось слышать, как Лермонтов, не сдержав или принудив себя, говорил вслух свои стихи, но тогда Мартынова отвлекло и настораживало лицо Лермонтова, и он опять начал ждать этого, сначала сострадающего, а потом веселого взора. Он не любил заставать на себе неожиданно мягкие, любящие и словно прощающие глаза Лермонтова, ненадолго позабытые им в этом выражении — до скорого пробуждения зрачков в их обычном, задорно-угрюмом виде. И последнее мгновение жизни Лермонтов потратил именно на такой — ласковый, кроткий, безмятежно выжидающий —

взгляд. И то, что этот взгляд не успел перемениться, было неприятно Мартынову, потому что такие глаза могли быть только у человека, который не помышлял о прицеле, не хотел и не собирался стрелять и, стало быть, был безоружен, и Мартынов это видел, и все наблюдатели поединка тоже видели. Это было неприятно, это было очень неприятно, но Мартынов стал исповедоваться не в этом, а в дурном отношении Лермонтова к женщинам.

Толковал он об этом и той, которая так выразительно подтвердила справедливость мнения о непреклонной гордыне, присущей полякам вместе с редкостною белизной кожи. В ответ на досадные и неуместные расспросы он горячился, нахваливая свой, противоположный лермонтовскому, способ влюблённости, включающей в себя открытое обожествление выбранного предмета, восточную витиеватость речей и особенные посылки томного взора. Это вело к усилению саркастической улыбки, учащенному и злобному выглядыванию башмачка и перелёту глаз на потолок, где, высоко вознесясь над головой красноречивого супруга, молчал и злорадствовал прельстительный господин Печорин. В результате этой многословно-безмолвной распри он, постыдно мучаясь, стал относить выбор жены не к себе самому, а к тому, чье присутствие в его судьбе оказалось непреодолимым и нескончаемым. Приметы других людей не исчерпывались чином, титулом, занятием и требовали личного уточнения: тайный советник — какой? — Беклемишев, князь — какой? — Щербатов, поставщик — какой? — Френзель. Даже про самодержца всея Руси можно было спросить: какой — почивший в Бозе или царствующий ныне? Его же роковое звание было единственным и сводило на нет значение имени, сопровождавшего развитие многих поколений. Он был — такой-то, убийца Лермонтова, и она стала — такая-то, жена убийцы Лермонтова. Впереди маячили такие-то: сын убийцы Лермонтова, внук убийцы Лермонтова и так до скончания ставшего безымянным рода. Между тем он знал, что убийцами бывают нехристи с большой дороги, душегубцы, лютые до чужого богатства, всклоченные маньяки. А он был благородный человек, христианин, офицер, имел дом в Москве, поместье, слуг, лошадей, столовое

серебро, изрядную французскую библиотеку, превосходный гардероб и никак не мог быть убийцей. Вначале он не тяготился этим определением — оно шло к его белой черкеске и черному бархатному бешмету и как бы проясняло наконец их таинственный оригинальный смысл, оказавшийся совсем не смешным, а величественно важным и печальным. В пору плохих ожиданий, гауптвахты, следствия он делал столь сильное впечатление на дам, что шестнадцатилетняя Надя Верзилина едва не лишилась чувств, завидев его на пятигорском бульваре под стражей сонного и боязливого солдата. Старшая, Эмилия, больно поддержала сестру за локоток и учтиво залепетала о том, о сём, далёкими кругами обходя главное, а оно во все ее глаза смотрело на Мартынова, — он улыбнулся снисходительно и скорбно и пошел прочь. В этом ореоле явился он в Киев для церковного покаяния, мысленно примерял его, снаряжаясь на балы, им нечаянно обманул белейшую польку, согласную на любую опасность, кроме скуки, из которой она вышла благополучно — бывшей женой убийцы Лермонтова. Он страдал и простил.

Вот он сидит, освещенный убывающим пеклом июльского дня. Последние тридцать лет не прошли ему даром: победневшие волосы далеко отступили ото лба, в щеках близко видна подноготная сеточка отмершей крови, ему мало осталось жить (он не знал: четыре года). Смилуйтесь над ним — он не похож на убийцу. Матушка, голубка, провидица, она-то гением любви всегда вблизи Лермонтова страшилась за чад своих, зорко смотрела за дочерьми, особенно за Натальей, а надо было держать сына, жадно притиснув его голову к себе, к охраняющему теплу, в котором он так беспечно спал до рождения. Еще в сороковом году она писала ему на Кавказ: „Лермонтов у нас чуть ли не каждый день. По правде сказать, я его не особенно люблю; у него слишком злой язык..” Он читал это письмо в застарелом зное, размытый целебной силой воды, ему хотелось Москвы, еще не освоившей лета, только что в сирени и кисее, дёма, населенного барышнями, сквозняками, гостями — под четким приглядом материнских глаз, и в молодости очень трезвых и способных к счёту. После кончины батюшки, постигшей их в прошлом году, маменька словно увеличилась телом,

окрепнув для одиноких вдовьих забот, и глядела не дамой, а будущей тещей, свекровью и бабушкой. Он с неудовольствием видел, как вместо него Лермонтов одолевает лестницу своими крепкими скачущими ногами и ловко склоняется к руке, для него чужой и безразличной, а для Мартынова желанной и лучшей. Как он, может быть, целое мгновение осмеивает ванильный запах и деловую прочность этой руки, а матушка неприязненно глядит на его голову, помеченную светлой шельмовской прядью. Оба они успевают пригасить и поправить лица к началу любезной беседы, и уже слетаются со всех сторон шелест, щебет, каблучки и оборки. Или воображал, как Лермонтов входит к сёстрам в ложу и Наталья долго не оборачивается, подвергая его веселому взгляду голую, вдруг озябшую спину и всевидящий край милого напряженного глаза. Привлекательность, радостная и необходимая в других женщинах, в сестрах казалась ему рискованной и обречённо-беззащитной, а приметельно к Лермонтову требующей неусыпной старшей опеки. Это сильное чувство, разделяемое матерью, он не использовал для своего удобства во время печальных объяснений: нет, злобы не питал, предлога для ссоры не искал. В то последнее лето язык Лермонтова был таков, как указывалось в письме, и еще хуже. Нервы Мартынова, ошетинившись для защиты, затвердели в этой оборонительной позиции и очнулись только тогда, когда Лермонтов лежал на земле под дождём, а сам он вслепую скакал к коменданту. Но не в злоязычии винил он Лермонтова, а в том, что он завлѣк в свою сильную предрешенную судьбу постороннего человека, чей путь лежал мимо, но его позвали — он подошел, показали бездну — и она его втянула. Повитуха, проводившая младенца на свет, цыганка, отпрянувшая от ладони, петербургская ворожея, прозванная „Александром Македонским” и знаменитая не менее полководца, иные люди, умеющие не предвидеть, а видеть, обещали Лермонтову раннюю и не свою смерть. Но ему мало было предопределения — он вольничал с небом, накликал на себя его раздраженное внимание, сам напоминал провидению о своей скорой гибели, и, только когда всё определилось и гроза откликнулась ему, он успокоился и стал говорить Глебову

о жизни, о двух задуманных романах. В тесных отношениях Лермонтова с роком не оставалось места ни для кого другого, но образованный ими вихрь воздуха вкрутил в себя тех, кто неосторожно стоял поблизости, и в первую очередь — Мартынова. Недаром все участники события вели себя как зачарованные и не предпринимали никаких самостоятельных действий.

Он сознавал недостаточность этого мистического объяснения для пристрастных судей: если считать, что гибель Лермонтова была предрешена свыше (не уточняя степени высоты), то всё-таки почему осуществил ее именно он, а не, например, Лисаневич, принявший свою долю насмешек и склоняемый к мести? Лисаневич пусть как знает, а сам он знал публичной обиде один ответ и продолжение вызова кутежом в обнимку считал ниже чести. Да велика ли была обида? Ну, горец, ну, с кинжалом, и Наденька Верзилина засмеялась сквозь веер, а Эмилия рассудительно заметила: „Язык мой — враг мой”, Не в „горце” и не в Наденьке было дело, а в том, что Лермонтов опять не считался с независимым значением его личности, с его избранной отдельностью, объявленной в романтическом и стилизованном облике. А потом — никогда не мог он предположить, что для огромной смерти человека достаточно столь малого, меньше мгновения, времени, он только пальцем пошевелил — и сразу была одна смерть, без умирания, без единого, еще живого, движения, даже без последнего выдоха, сделанного уже по другую сторону вечности, при перенесении тела с тропы.

И вот Лисаневич давно забыт, а сам он, через тридцать лет после этой мгновенной и окончательной смерти, не может высвободиться из защемившего его тупика: он хотел не убить, а чего-то другого, но какое же другое поручение можно дать посланной в сердце пуле? Ему нужно было объяснить, что разгадка относилась к характеру Лермонтова, который как бы выманивал пулю из ствола еще со времен их юности.

„Лермонтов, поступив в юнкерскую школу, остался школяром в полном смысле этого слова”.

Но он забыл, что прежде писал об этом иначе:

„Он поступил в школу уже человеком, много читал, много передумал; тогда как другие еще вглядывались в жизнь, он уже изучил ее со всех сторон; годами он был не старше других, но опытом и воззрением на людей далеко оставлял их за собой”.

Он стал припоминать Лермонтову его маленькие жестокости, деликатно доказывал, что тот всегда был ловким и опасным раздражителем гнева. Но ему уже скушно становилось. Лоб, истомленный дневной натугой, норовил отвернуться от бумаги к более близким и важным заботам. Хотелось есть — не весело, по-молодому, а оттого, что надо же когда-нибудь есть. Но он еще написал:

„Генерал Шлиппенбах, начальник школы...”

Это были его последние слова о Лермонтове.

II

ПИСЬМА

Первое (почерк автора записок)

Дорогой и глубокоуважаемый Павел Григорьевич !

Как и все Ваши верные читатели, я люблю и благодарю Ваши „Сказки времени” — за всё и за „Казнь убийцы”, покаравшую Мартынова долгим мучительным возмездием: появлениями убитого Лермонтова в его доме и саду, в его убывающей жизни.

Не посчитайте ослушанием или сомнением в Вашей безусловной художественной правоте мое твердое убеждение, что Лермонтов не являлся и не снился Мартынову. Мартынову и до Сальери (во всяком случае, до пушкинского) — слишком далеко, хоть он и писывал стихи, чья бедная нескладица всё же не была его страстью и манией. Значение Лермонтова задевало его только как житейское неудобство для самолюбия. Его маленькое здравомыслие не допустило бы и не узнало видения и не приняло бы от него пытку. Для подобной мўки его воображение и его совесть были слишком мало развиты. Может быть, именно его неодарённость, исчерпывающая и совершенная, как одарённость Лермонтова, предопределила несчастную связь этих имён в русской истории.

Но всё это известно Вам лучше, чем мне, и я попусту расточаю Ваше время. Примите мою почтительную любовь и пожелание прочного здоровья.

Второе (почерк П.Г.Антокольского)

Дорогой друг!

Жизни Пушкина и Лермонтова настолько невероятны, так полны множества вариантов, непредвиденных и выходящих за пределы обычного человеческого пути, что здесь не оберёшься удивления, восторга, печали и всех других чувств, мешающих трезвой оценке.

Лермонтов — обжигался и обжигал других. Такая ж острота была в его героях: в Печорине, Арбенине и прежде всего — в Демоне. При всех неустанных и доскональных исследованиях, Лермонтов — одна из самых волшебных сказок, раскрытых навсегда и никогда не досказанных до конца.

Что же до его убийцы, то скажу прямо: моя сказка об его казни вообще не должна была быть написана. Никакие домыслы и вымыслы об этом пустом месте, об этой пропавшей грамоте — просто не нужны. Мартынов сгинул так же, как Дантес. Оба они случайны, как соседи в вагоне. А жизням Пушкина и Лермонтова конца не предвидится. Только это есть и будет всегда — аминь во веки веков. Нам остается радоваться их присутствию и учить радоваться всех, кто придет после нас. Насчёт Мартынова можно выдумать множество концов. Но если правда, что люди или само время разорили и развеяли его прах, — это лучший и окончательный конец.

А как было бы хорошо сейчас поехать к Пушкину в Михайловское или к Лермонтову в Пятигорск, вновь найти их там и вновь искать повсюду!

Желаю лучших радостей, которых всегда вдоволь на белом свете!

П.А.

Эй,

вы повсюду разбрасываете ваши писания, в которых черт ногу сломит, и я кое-что прочел. Моя фамилия не Мартынов, но я слышал от бабки, что прихожусь тому Мартынову какой-то тридесятой роднёй. Мне это совершенно безразлично, но вам я с удовольствием об этом сообщаю. Не думайте, что, если кто-то что-то пишет, он может хамить. Например, я бы с радостью проучил вас за „фамильную попливость”, вернее, за вашу подлость, тоже, наверно, фамильную. Так что учтите.

Четвертое (ответ на предыдущее)

Милостивый государь!

Я еще раз невольно затрудняю Вас, обращаясь к Вам столь вычурным и архаическим способом, но Вы не оставили мне другой возможности, любезно сообщив о себе только то сведение, что Ваша фамилия — не Мартынов.

Не зная Вашего адреса, я вынужден с особенным усердием разбрасывать мои писания в надежде, что они снова попадутся Вам на глаза и Вы не преминете известить меня о всех условиях, удобных и удобных Вам для того, чтобы „проучить” меня или удовлетворить меня как должно.

Что касается Вашего удовлетворения, я специально ради него снесся с доверенным лицом из управления аптеками и теперь имею основание и удовольствие рекомендовать Вам польское средство „Дезодоро” как лучшее.

Засим — прощайте.

III

ТОТ ЖЕ ИЮЛЬ, НО НЕСКОЛЬКО ПО-ДРУГОМУ

В том же июле тот же неказистый господин, который соринкой залетал Мартынову в угол глаза, объявился в совер-

шенно другом месте и пытался проникнуть в покои князя Васильчикова, куда его не пустили — и правильно сделали. Плохой вид этого господина, не то, чтобы нетрезвый, а какой-то парящий, его платье, устаревшее до лысин и подтёков, позволили нижним лестничным чинам любопытствовать: какую нужду имеет он к их сиятельству? Дело свое незнакомец удержал в тайне, но не скрыл, что был обрызган грязью из-под копыт княжеского коня во время грозы тридцать лет назад. Ему тут же заметили, что за это время можно было бы пообчиститься и что та лошадь давно уже покойники и отвечать на его претензию не могут. Князю Александру Илларионовичу об этом маленьком случае не докладывали, а комнат за шесть по сквозной анфиладе от его кабинета осведомились: как быть с неопределённым просителем? Последовал ответ: ободрить деликатной наградой и отпустить с Богом. Захудалый человек поупрямился и погордился, но — что было делать? — взял подаяние, заверил глупую челядь, что употребит его на помин чьей-то души, сошел с крыльца и исчез.

Тем временем Александр Илларионович Васильчиков, свежий, лёгкий и не повреждённый прибылью лет, задумчиво трудился при сильных настольных свечах. Острое внимание публики к трагическим делам давно минувших дней касалось и его — не так близко и больно, как Мартынова, но достаточно заметно. Среди исследователей, вернее, добровольных и запоздалых следователей, отличался тщательный П.К.Мартьянов, задорно окликнувший его в статье прошлогоднего журнала. Если Мартынов прямо выводился убийцей и с него, в нравственном отношении, были взятки гладки, то на князя Васильчикова распространялась пристальная двусмысленная вопросительность. Он был не только единственный живой свидетель, он был секундант Лермонтова, то есть последняя и важнейшая опора его жизни и чести. Жизнь была упущена беззаботно и сразу, после чего он принялся с большим достоинством оберегать честь Мартынова — как свою. Поединку сопутствовала известная неопределённость и темнота обстоятельств. Не в том было дело, что участие в нём Столыпина и Трубецкого — из разумных и благородных соображений — было скры-

то от официального следствия, а в том, что и участия никакого не было, кроме беспечного присутствия. Оставшиеся Васильчиков и Глебов в точности не проследили распределения своих ролей и обязанностей, сведя их к отмериванию тридцати шагов. По дуэльному кодексу секундант не должен был и не имел права заслонить собою уполномочившее его лицо, но предполагалось, что в нём достанет для этого невозможного жеста пристрастия и заинтересованности. Так что Лермонтов, окруженный друзьями, один из которых в него целился, у подножия Машука, как и всегда, был одинёшенек.

Но в чём мог винить себя князь Васильчиков, кроме крайней молодости и проистекавшей из нее неосмотрительности всех участников, — ему самому шел тогда двадцать второй год? Он устаивал своих критиков не исповеди — исповедоваться не в исповедальне было то же самое, что ходить нагим не в бане, — а внятного, делового и спокойного ответа. Тому же всегда он учил Мартынова, да не очень на него полагался. Он не ожидал, конечно, что всё упрётся в генерала Шлиппенбаха — что такое Шлиппенбах и при чём тут Шлиппенбах? — но и на что-нибудь совсем другое рассчитывать не приходилось.

Он писал быстро, толково, хорошо. Невинность Мартынова и его самого просто и ясно доказывалась всё тем же несчастным характером, сопутствующим гению. Он тоже перечислял шалости, проделки и несносности, опуская те, от которых сам хлебнул горяшка, вплоть до последней дерзости, стоившей Лермонтову жизни. Он выразил было сомнение в справедливости столь высокой цены, но, сдерживаемый безупречной корректностью, зачеркнул эти слова. Картины общества и природы равно удались его перу. Осторожно и отважно упомянул он ту, опасную для Лермонтова немилость, которую только с большим преувеличением можно было назвать опалой небес. Сдержанный и независимый тон заметок соответствовал просвещенному уму и превосходной подтянутости духа. Смерть Лермонтова выглядела его собственным поступком, и возможные уточнения предоставлялись Мартынову. Так что в результате получался всё тот же Шлиппенбах.

А невзрачный незнакомец давно уже сидел в трактире, одной рукой наливал себе угощения, а другой удерживал от падения свою никому не нужную голову. Иногда он встряхивался, взгляд его взмывал, руки освобождались для большого жеста, и на губах закипала невнятная гордая речь. Так что баба, выпущенная из грязных кулис для вытирания столов, оглядывалась на него с сомнением, пока не рассудила, что это, видно, актёришка бедный, выведенный из ума нуждой и вином. Но вокруг и другие театры разыгрывались — со слезами, пением и сильным вклеиванием губ в чужое, вдруг полюбившееся лицо.

Между тем наш плохонький человек говорил:

— Я, князь, не беседы с вами искал. Я искал пить с вами вдвоём и напиться, как свинья и свинья. Вы теперь одни мне ровня. На нас с вами одна кровь. Вы соучастник ее пролития и я. Только вы и тогда были трезвы, а я пьян. Я действовал по службе, а вы — по дружбе. Я сам обрёл мою душу бессрочной каторге, сто лет пройдет, а не кончится ее срок. Вы же теперь пишете, и я отсюда могу читать описание ваших миролюбивых усилий. Полноте, князь. Не в том ваша вина, что вы не слишком благоволили к вашему приятелю и не пеклись о его невредимости — насильно мил не будешь. А в том, что на этом основании вы не могли сказываться его секундантом, тем более что поначалу господин Глебов взял на себя эту роль. Э, да что теперь говорить. Единожды солгавши... вы, князь, и сами знаете.

Тут он занял уста питьём и умолк. Потом стал заглядывать себе за пазуху, в душливую тьму, где таился и стесненно поблескивал маленький драгоценный предмет, посмеиваться на этот предмет и приговаривать:

— Ай да мадемуазель Быховец, ай да Катя! Одна только и осадил убийцу! Мартынка, говорит, глупый... ха-ха... ужасно, говорит, глупый Мартынка!

Но смех скоро сошел с его лица, он сидел недвижно и молча, пока тоска и уныние не увеличились в нём до страсти и не вознесли его над нечистым столом для последнего монолога:

— Алексей Аркадьевич Столыпин, более известный как Монго! Целое общество равнялось на вашу доблестную

высокородную осанку, и ни в ком другом не видел я такой вельможной и вместе добродушной стати. Про вас говорили, что вы образец красоты и порядочности для своего времени, и многие женщины оплакали вашу кончину под флорентийским небом. А я говорю вам, что в вас было ровно столько души и ума, сколько нужно для великолепного лоску. Что вы сквозь лениво разомкнутые пальцы пропустили, как ненужную воду, жизнь вашего родственника и друга. Что я из моего ничтожества смею взывать к вашему и что я презираю вас!

Устрашив и унизив таким образом благородную тень, обеспокоенную ради этого вздора, обличитель пал духом и разрыдался, укрывая лицо и некрасиво дёргая плечами.

— Я и сам, по мере сил моих, созидал вашу гибель, но знать это вам не так было бы обидно, как слова мои о вашем товарище, — уж вы, снизойдя к моей мýке, разом за всё простите меня, Михаил Юрьевич, голубчик...

Эти самонадеянные и скорбные слова также остались без всякого внимания, потому что в такие места люди ходят для своих горестей, а не для чужих. А порядочные люди и вовсе не ходят, используя благодатные вечерние часы для составления важных заметок или чтения книг, пока музыка вылетает в окна нижнего этажа и придает сумеркам сада особенную красоту и печаль.

IV

Письмо пятое (автору записок от еще одного неожиданного корреспондента)

...!

Не зная вашего имени и не сожалея об этом, довожу до вашего сведения, что моя фамилия, искажённая давнишней писарской ошибкой, всё-таки, сколько я знаю, указывает на мою принадлежность роду Васильчиковых. Но мое возмущение вашими домыслами носит не семейный, а объективный характер. Хочу напомнить вам, что Александр Илларионович Васильчиков, которого вы, злоупотребляя своей безнаказанностью, опутали недостойными намёками,

был известный публицист, прогрессивный деятель, хлопотавший о нуждах земледельцев и даже привлеченный к подготовке реформы 1861 года. Не сомневаюсь, что, несмотря на молодость и неопытность, а также на неуместные вольности и эпиграммы в его адрес, он был искренний и терпеливый доброжелатель Лермонтова и во время его дуэли честно соблюдал должные правила. Он тяжело переживал его гибель, что подтверждает его письмо к приятелю, приведенное в сборнике воспоминаний, который вы, как я вижу, изучили тщательно, но без пользы. Так или иначе, у вас нет улик против Васильчикова и других участников события, и вы вынуждены заменять их недомолвками, равными клевете, достойной наказания. Жена моя особенно оскорблена за А.А.Столыпина, ближайшего друга Лермонтова, первого переводчика на французский язык „Героя нашего времени” и безукоризненного, на её взгляд, человека. Подтверждаю моё возмущение.

А.Весельчаков.

Шестое (ответ)

Досточтимый и любезный А.Весельчаков!

Не умея отгадать, какому случаю обязан я Вашей осведомлённостью в моих записях, прогневивших Вас, я должен на него же рассчитывать, чтобы несколько Вас успокоить.

Не слишком терзайте себя тяжкими переживаниями Вашего предполагаемого пра-родственника. В известном Вам письме, сразу за словами о Лермонтове: „Жаль его!” и прочими, следует грустное, но спокойное описание водяного общества, стёкол, вставленных в окна гостиницы, и вечерней музыки. Это оставляет нам надежду, что за две недели, прошедшие после поединка, автор письма успел совладать со скорбью о понесённой утрате. В этом же документе А.И.Васильчиков объявляет себя секундантом Лермонтова, но, когда, спустя много лет, Висковатов попытается уточнить это обстоятельство, он даст ему уклончивый и невразумительный ответ: он не знал, интересы какой сто-

Белла Ахмадулина

роны ему вверены, и не мог оберегать их. Если у Вас есть на этот счёт сведения, противоположные моим, я с облегчением принесу Вам мои извинения. Пока я вынужден называть роль князя Васильчикова в судьбе Лермонтова неблагоприятной. Восхищаясь широтой, с которой Вы считаете Вашего подзащитного однофамильцем и роднёй, я готов незамедлительно ответить за мои слова, оскорбительные для Вашего семейства. Чтобы Вас не стесняло превосходство Вашей генеалогии, напоминаю Вам, что в старину татар-старьёвщиков величали „князьями”, а я имею в их почтенной среде предка, чья фамилия перешла ко мне без изменений.

Совет: несмотря на его смерть в Италии в 1858 году, бдительно остерегайтесь А.А.Столыпина (Монгó). Пристрастие к нему Вашей жены уверяет меня в ее недовольстве Вашими внешностью и манерами. В отличие от своего двоюродного племянника, он может иметь живые копии и повторения и стать Вашим соперником.

Всегда к Вашим услугам.

Седьмое (автору записок от незнакомой дамы)

Не ждите ответа от моего мужа — он солидный и уравновешенный человек. Повидайтесь лучше со мной! Ваше высокопарное хамство мне симпатично. Так и быть, уступаю Вам ни в чём не повинного красавца и соглашаюсь говорить о Лермонтове. Я — по образованию — психолог, и психология творчества представляет для меня особенный интерес.

Итак — жду Вас и не скрываю нетерпения.

А.Весельчакова.

(На письме, видимо, оставленном без ответа, — приписка адресата:

Когда, меня избравши наобум,
ты ждешь меня, прелестница психолог,
я не страшусь, что короток твой ум,
но трепещу, что волос твой не долог.

Я не ишу учёности очей!
Хоть в том не велика моя заслуга,
я, психикой и логикой моей,
спасаю честь беспечного супруга.)

V

КАВКАЗ, НАШИ ДНИ
(Продолжение записок)

Опоздав на сто тридцать один год, бродил я по Пятигорску и всюду видел только то, что опоздал непоправимо. Воздух маленького белого домика был неодушевлённый и совершенно пустой — душа придиричиво его обыскала и отвергла как явную подмену, а на что, собственно, она надеялась? Я сразу ушел, хотя в саду трогательный запах цветущих растений ластился и цеплялся к лицу, словно обещал, что не всё еще потеряно и где-то в его сложной сумме таится искомое дыхание. Но у меня было ощущение, что я мчался к кому-то сломя голову, а его не оказалось на месте, и потому к самому месту я сделался несправедлив и слеп. С тоскою уставился я на Машук, увенчанной телевизионной башней, распространявшей вокруг себя незримое марево дневных новостей.

Возле обелиска на месте дуэли теснилось множество людей, и твердый женский голосок уже подошел к вечеру тринадцатого июля в доме Верзилиных. Я торопливо отступил к павильону, где, не утращённая величием смерти, длилась живая, насущная жизнь, поглощающая чебуреки и веселое едкое вино. Неподалеку от меня поместились два человека, чье знакомство казалось недавним и неблагополучным. Первый — большой, распахнутый, с мелким угрюмым исподлобьем и ленивыми мышцами на сильных белых руках — опекал и угощал второго — хрупкого, деликатного, может быть, кандидата наук, очень подавленного непрошеным покровительством. Глава их маленькой компании загрызал сыроватое тесто и пил портвейн. Милость его к собеседнику росла, и тот робел, давился, но кротко внимал благодушным наставлениям.

— Ты держись меня, не то свихнёшься от скуки. Я тут седьмой год отдыхаю. Я все эти байки про Лермонтова не хуже доцентов знаю. Была тут одна экскурсоводка приятной наружности, так я притиснул ее в аллее для культурной беседы — плакала, а призналась, что всё это из-за бабы произошло. Писал-то он хорошо, да выглядел плохо: ноги кривые, лицо желтое (наука это, конечно, скрывает). А этот, который его потом убил, был видный, приметный мужчина, вот он и перебежал ему дорогу.

С этого момента его речи в меня стала поступать какая-то замечательная лёгкость, словно я спал и собирался лететь. Верзила рассуждал, а две боязливые, с бледной шерстью собаки из осторожного отдаления смотрели на забытый им чебурек, истекающий масляной жижей. Вдруг он обернулся и неожиданно резвым и точным жестом ткнул в собачью морду окурком — обе собаки отпрянули и скрылись. Дальнейшие мои действия совершались помимо меня, как если бы они были не поступком, а припадком, но размеренно и даже плавно. Я подошел, заботливо взял в одну руку скользкий расстёгнутый ворот, в другую — раскалённый остаток сигареты и стал медленно приближать его к растерянному, неподвижному лицу. Я не знал, чего я хочу, но я бы ужаснулся, если бы понял, чего я тогда не хотел: я не хотел, чтобы он топтал эту гору, жрал воздух, чтобы девушка, знающая наизусть столько стихов, плакала от ужаса в аллее, чтобы собаки, рождённые для доверия и любви, шарахались в сторону при виде человека, — я не хотел, чтобы он жил. Мне казалось, что всё будет хорошо, стоит только свести воедино его лицо и окурочек, но в это время кто-то повис у меня на руке, и все участники сцены словно проснулись. Первое, что я услышал, были слова: „Благородный молодой человек!“ — с ними обратился ко мне тот, кто до сих пор удерживал мою руку с тлеющим табаком. Вид его поразил меня. Он был очень бледен, не бел, а прозрачен, как засушенный лепесток, зрачки казались чуть гуще воды, как талый снег, волосы слабы, как у новорожденного, ветхие плечи и ноги облачены во фрак и панталоны расхожего покроя начала прошлого века, в свободной от меня слабой руке кольхался антикварный цилиндр. Пока я ози-

рал его причудливую и бедственную внешность, те двое исчезли, я даже не успел обдумать, почему я, вплотную приблизившись к целостности и сохранности одного из них, не встретил никакого сопротивления.

Не зная, чему приписать странность моего усмирителя: цветению местной самодеятельности или беде одинокой нездоровой души, — я тихонько отнял у него мою руку и неловко спросил:

— Может быть, вы не откажетесь съесть что-нибудь? Или выпить?

Жидкость в его глазах увеличилась и чуть не перелилась через край. Он отвечал мне с большим чувством и со странным, смущающим разум акцентом — несомненно русским и в то же время никогда мной не слышанным:

— Если бы вы знали, кто и когда обращался ко мне в последний раз с таким же любезным предложением! Нет, вы не то подумали — я не имею нужды в еде. Просто тот случай был для меня драгоценный и даже переживший всю жизнь мою, но пока я не решаюсь вам признаться.

Я испытывал при нём безвыходную тревогу, как будто должен был вспомнить что-то, чего не знал. Мы попрощались, и мне было заметно, что он долго и пристально смотрит мне в спину.

Лермонтов примечал, что среди извозчиков много осетин. Много их и среди таксистов. Мой был упрямеиший из них и согласился возить меня после долгих и мрачных пререканий. Я хотел проведать Хромого Хусейна и к ночи вернуться обратно. Хромой Хусейн был мой друг, мой кулак и даже мой брат. Мы познакомились в Москве, где он постоянно волновался и ликовал, как на празднике. Он шел с банкета, с радостью вина и дружбы в душе, и я шел себе по улице — он оглядел меня с пылкой симпатией и спросил: не казах ли я? Я отвечал, что нет, но он с этого места улицы стал дружить со мной и всё-таки считать меня казахом. В детстве Хусейн (хромым он стал потом, после того, как упал вместе с лошадью) жил в Казахстане. Его отец сражался на фронте, а мать болела и не умела жить вдали от родины. Так что Хусейн с матерью стали совсем погибать, но казахи поделились с ними всем, что имели, и спасли их для долгой

жизни, для встречи с отцом, для родных гор. Поэтому Хусейн так сильно и верно любил казахов. Мы не расставались несколько дней, и я любовался его изящной худобой, скучающей по коню, вспышками добрых глаз и неукротимой страстью к дарению. Между прочим, Хусейн особенным образом относился к Лермонтову и, наверное, в глубине души считал его отчасти казахом. Он с живостью одобрял его храбрость, способности к верховой езде и — это во-первых! — расположение к народам Кавказа, которые Лермонтов, как и все русские в то время, неточно отличал один от другого и часто смешивал кабардинскую и „татарскую”, то есть тюркскую, балкарскую речь. Однажды Хусейн сказал мне:

— Ты не рассердишься, если я в чём-то признаюсь? Я рад, что Лермонтова убил русский. Не тому рад, что именно русский, а тому, что не наши его убили. Ведь царь на это надеялся. Если бы его убил горец, я не знаю, как бы я жил. Тогда война была, а в моём роду никто ни разу не промакнулся.

Вообще Хусейн глядел на Лермонтова не издалека, а из доверительной и душевной близости. Он даже начертил мне план пространства, где носился и мыкался Демон, и получилось, что, направляясь в сторону Грузии и Тамары, Дух изгнания неминуемо пролетал над родным аулом Хусейна.

Но не везло мне в этой поездке! Хромого Хусейна я тоже не застал, он теперь работал на далекой туристической базе, и старые его родители уехали к нему на субботу и воскресенье. Всё это сообщили мне его родственники. В первом ряду их собрания стояли зрелые и осанистые мужчины: Ишай, Даньял, Ахья и Сафарби. Во втором — юноши, все с красивыми и доверчивыми лицами. За ними, вдалеке, разместились женщины и малолетние. Говорил только Ишай, — по-видимому, старший. Он же спросил меня: не казах ли я, — и мне жаль было сказать: нет. Вдруг все они пришли в волнение, те, кто курил, бросили и пригасили сигареты, стало совсем тихо, только Ишай успел шепнуть мне: Аубекир! Вот так Аубекир, подумал я, сразу же разделив общую робость и заведомое послушание. Аубекир был старый человек в крестьянской одежде, с лицом поразитель-

ной силы и гордости. Всё это лицо, тяжелое и золотое при солнце, было один спокойный и достойный ум, окрепший в трудах и тяжелых испытаниях до совершенства, до знания истины. В этом лице и в этом уме не было места для пустого и тщетного движения. Он глядел просто и приветливо, но я был подавлен и стыдился всего, что знал о себе. Вдруг его лицо ослабело, расплавилось, растеклось, и я остолбенел от этой перемены, которая объяснялась тем, что, безбоязненно раздвигая старших родственников, вперед выдвигался мальчик, едва умеющий ходить, с крепким голым животом и крулыми черными кудрями. Аубекир схватил его и жадно понёс к глазам, и такая мощь нежности выразилась в его лице, которой достало бы целому многоопытному народу для раздумья о своей неистребимости, о прибывающей жизни, уходящей далеко за горизонт будущего времени. Аубекир вскоре ушел. Мне объяснили, что меня повезут в горы, чтобы отпраздновать мое прибытие. Это будет как бы благодарственный пир — „курмалык” — в честь того, что несчастье нашей разлуки кончилось. Аубекир ушел раньше, потому что не любит ездить в автомобиле, хотя у него есть „жигули”, — на этой машине отправимся мы, Даньял за рулем. Еще на равнине мы обогнали всадника, Даньял вежливо притормозил — тот слегка кивнул, позволяя ехать дальше. Солнце, уже близкое к горам, отражалось в его лице, в смуглой шерсти коня. Аубекир прямо смотрел на солнце, на блеск снежных вершин.

Уже горы теснили дорогу. Чтобы увидеть деревце на краю обрыва, надо было откинуть затылок на спину. Я не видывал такой высоты. Лермонтов не мог быть здесь — в то время эти места были закрыты для пришельцев, и предки моих спутников зорко смотрели за этим.

Всё сделалось очень быстро. У реки, принимающей в себя отвесный водопад, расстелили на земле скатерть, развели огонь. Всем ведал Ишай. Если он был недоволен помощью, он мимоходом шлёпал любого, и Даньял, сильнейший в их роду, по-детски прикрывался от него руками. Над шумом воды и огня главенствовал особенный звук тишины. При горах душа нечаянно подтягивалась, как при Аубекире. Аубекир приехал к концу пира. К нему почтительно при-

двинули баранью голову и наполненный стакан. Он ласково кивал головой на заздравные тосты, но ничего не пил. Я шепотом спросил: почему? Ишай ответил:

— Аубекир никогда не пил. Он видел много горя. Две войны, чужбина, смерть близких и смерть маленького сына — чтобы пережить это, надо иметь много силы и много работать. Глаза его всегда были трезвые и сухие. Только две слезы побывали в них — когда он увидел горы после долгой разлуки.

Остальные мужчины пили весело, но без развязности и суматохи, как и подобает здоровым, сильным и добрым людям. Единственный среди них городской житель — Ахья — был слабее других. Они ни о чём не спрашивали меня, но смотрели с любовью и поощрением. И я быстро и крепко их полюбил, хотя обычно схожусь с людьми не просто и не близко. Я подумал, что Лермонтову было бы ловко и хорошо с ними. Вот бы он удивился, узнав от них, что Бэла — скорее балкарка, чем черкешенка, а всё остальное: ее красота, тоска, любовь и гибель — совершенная правда, происходившая неподалёку. И великий Карагез был балкарским конем, потому что по-балкарски его имя означает: „Черные глаза”. У кабардинцев и черкесов другой, не тюркский, язык. Русские тогда относили балкарцев к татарам, а сами они называют себя „таулу”, потому что „тау” — гора — стоит в заглавии их жизни.

В начале ночи я уже был возле Машука и смотрел на землю, когда-то принявшую кровь, текущую из сердца сквозь малиновую канаусовую рубашку. Вдруг прямо возле уха услышал я вкрадчивый голос:

— Михаил Юрьевич лежал не здесь. Упал он вон в том месте, а уж потом был перенесён вон туда — пожалуйста за мной, я вас сопровожу.

В темноте робко мерцал мой дневной знакомец. Он увлекал меня в сторону и второпях говорил:

— Я тоже имел несчастье несколько опоздать — впоследствии я не скрою от вас причины. Но кровь на тропинке застал я еще не остывшей.

— Да вам сколько лет? — спросил я с раздражением.

Он объяснил, что родился в девяносто шестом году, и

я похвалил его молодежь. Он заметно обрадовался и выпалил, даже подпрыгнув от молодого кокетства:

— Да вы недослушали! В девяносто шестом году осьмнадцатого столетия — вот когда я родился в благородной семье и был крещён. Но имя мое в дальнейшем сам я оконфузил и осрамил и, отстранившись от своего рода, стал зваться иначе. Сказать ли вам — как? Да вы не будете ли смеяться?

— Скажите, — тупо ответил я. — Какой уж тут смех.

Он поклонился:

— Аспид Нетович Аплошкин. Вас я давно имею честь знать и даже способствовал вашей переписке с известными лицами. У меня и теперь есть письмо к вам от госпожи Весельчаковой, содержащее в себе приглашение к дружбе.

— В таком случае благоволите передать ей на словах, что я на дружбу не расточителен и ничем служить ей не могу. — Я уже освоился с неожиданным перепадом времени и был спокоен.

А почему бы нет? Мартынов стоял вот здесь, выстрелил и не промахнулся. Но, если Лермонтова нисколько и нигде нет, к чему вся эта история? Зачем сидел я по вечерам при свече, не допуская других гостей, и утром пёс дыбил шерсть и махал хвостом на узкий след гусарского сапога? Зачем чудесный тамбовский житель Николай Алексеевич Никифоров писал письмо, в котором живмя-живёхоньки и ненаглядно-румяная казначейша, высватанная в селе Рассказово, и сухопарый казначей, и даже купец Воротилин, сдававший ему дом: „приземистый, скорее — широкий, плоский, чем толстый, с бабьим голосом”? Зачем Фёдор Дмитриевич Поленов в Поленове, художник Васильев, архитектор Кудрявцев, инженер Миндлин, разделяя мою заботу, рылись в архивах и книгах для цели, о которой пока не время говорить, и ни разу не усомнились в насущном и близком присутствии Лермонтова? И если у Гейченко в Михайловском нет Пушкина, то что же тогда есть на белом свете?

Так-то оно так, а не послушать ли нам господина Аплошкина, старейшего среди нас?

— Я рано остался сиротой, учился на казенный счёт, служил, бедствовал, а в 1840 году, по наущению темных сил,

проиграл в карты не свои деньги. Меня простили, но побудили к посильной службе отечеству важного и тайного свойства. Обязанности мои были незначительные и вознаграждение скудное. В конце мая 1841 года получил я наставление следовать в город Пятигорск для бдительной и неприметной опеки над господином Лермонтовым, который временно уклонился от назначения в Тенгинский полк, якобы по нездоровью. По прибытии я тщательно проверил медицинские свидетельства и другие документы, касающиеся остановки господ Лермонтова и Столыпина для лечения. Номера этих бумаг, оказавшихся в порядке, были: 360, 361, 805, 806...

Тут я его перебил:

— Простите, а прежде — видели вы Пушкина?

Рассказчик сокрушённо потупился:

— Хотел бы солгать, да не могу — нет, не видел. Я при его жизни служил по другому ведомству. А вот супругу его, уже вдовою, видел выходящую из кареты. Она была женщина большой и трогательной красоты.

— Замечательная новость! — съязвил я. Я уже начал капризничать, и Аплошкин обиделся:

— Я вижу, вам мало того, что я более месяца был неотлучною тенью Михаила Юрьевича Лермонтова, великого поэта, украсившего собою русскую словесность!

— Ну-ну, я виноват, — торопливо поправился я, — продолжайте, сделайте милость. Только как же преуспели вы в вашей неотлучности? Я полагаю, что в дома́ Чилиева или Верзилиных вы не были вхожи?

Он всполошился:

— А лето? А открытые окна? А соблазны природы? А Елисаветинский источник, доступный всем жаждущим? Да и внешность моя тогда не как теперь — не навлекала на себя внимания. Впрочем, после одного случая господин Лермонтов стал меня отличать и заботливо кланяться со мной, чем не однажды удивлял своих товарищей и спутников. Началось это с того, что я проследовал за ним в ресторацию, в ту пору пустую, поместился вдалеке и спросил себе какую-то малость. Господин Лермонтов от услуг отмахнулся и сидел, грустно и открыто глядя перед собой, опершись

подбородком о сплетённые пальцы, рúки у него были белей и нежней лица. Вдруг он быстро подошел ко мне, и я встал. Тут я сразу прошу прощения у него и у вас, что передаю речь его моими неумелыми и нескладными устами, слова его только приблизительно были такие: „Милостивый государь, я очень виноват, что беспокою вас в вашем уединении, но, может быть, вы окажете мне честь и позавтракаете вместе со мной? Вы меня очень обяжете, если не обидитесь моим дерзким приглашением”. Я не нашелся с ответом и в крайнем смущении последовал к его столу — он шел сзади, не давая мне отступить. В большом возбуждении стал он заказывать вина и закуски, поминутно взглядывая на меня с лаской и вопросом: как мне угодить? — и хмурясь от смущения. Ему очень хотелось, чтобы я ел, да мне кусок не шел в горло, даже вино не лилось, хотя я уже не умел обходиться без помощи обманной влаги. Он участливо спросил: нет ли у меня какого горя? — и пожелал мне долгой жизни, прибавив: „Да я вижу: вы будете долго жить”. В этом он, как видите, не ошибся. Потом, отряхнувшись от раздумья, заметил (опять я перевру его слова): „А хорошо бы долго жить. Ведь, как ни спеши, раньше времени ум не образуется. Говорят, человеческая мысль проясняется в зрелые лета, — а где их взять?” Тут его окликнули из дверей, он поднялся и проговорил быстро-быстро: „Не потому, что вы имеете нужду в деньгах, а потому, что они для меня лишние, — освободите меня!” Сделал по-своему и убежал, как мальчик. Деньги эти я вернул ему через его человека Андрея Соколова, а одну купюру оставил и ни в одной беде не расточил. (Он достал николаевскую ассигнацию, но в руки мне не дал, полюбовался и спрятал.) Видимо, я очень жалок показался ему, да я таков и был. После матери моей господин Лермонтов был единственный человек, сожалевший обо мне. А ведь я был его вредитель! Следуя указаниям, поступавшим ко мне через других лиц, я, завидев на улице Мартынова, крикнул ему французские слова о нём Лермонтова, хорошо известные еще в начале лета. А уж те мои соратники, которые много превосходили меня рангом, попеняли Мартынову на вялость его чести — вот-де прохожие и те величают вас горцем с кинжалом. Подступали они к Ли-

саневичу, да он не годился в убийцы. Но я уже стал задумываться, тосковать и искать стихотворений Лермонтова, хотя самый талант его был не по моей части — этим занимались люди более сведущие. И я скажу вам, что стихотворения эти ранили меня, зачем это было так важно и так просто? И как случилось, что эта сокровенная печаль не отвергала меня, не гнала в чужаки и изгои, а была совершенно мне понятна, как если бы я сам был человек и высокий страдалец, а не мелкая подслеповатая сошка? С тех пор стал я манкировать моим долгом и в службе моей явились пробелы. Так, однажды я услышал, как Столыпин невзначай посетовал Лермонтову на Мартынова: „Опять наш Николай сморозил глупость”. А тот ему: „Ты о каком Николае? Оба — наши, и оба умом не горазды, что с них взять!” Я об этой беседе в докладе не упомянул. Да ведь не один я ходил под окнами! Так что оба заинтересованных лица были извещены о сделанной им характеристике. Начиная с конца июня я твердо ждал беды. Еще раз случилось мне говорить с Михаилом Юрьевичем в галерее. Опять он был ласков и застенчив ко мне и осведомился: идут ли мне на пользу целебные воды? Вместо ответа я взмолился: „Уезжайте вы отсюда подобру-поздорову, не медлите!” Он улыбнулся и спросил: „Куда?” Вечером тринадцатого июля я наперёд знал всё, что будет. Весь следующий день метался я между Пятигорском и Железноводском, схватил на бульваре руку князя Васильчикова, он брезгливо отдернулся и не стал меня слушать. Бросился к Монге — он мне заметил, что дело это до меня не может касаться никоим образом. Пятнадцатого утром положил я быть на месте дуэли, пасть в ноги Мартынову или, что вернее, выскочить из кустов и сорвать ему выстрел — пусть лучше он меня порешит. Я восторженно приготовился к смерти и исповедался у отца Павла, служившего потом панихиду по Лермонтову с большой неохотой. Волнение изнуряло мои силы, и я прибег к услугам вина в армянской лавке. Я пил и вырастал над собой, над прежней никчемной жизнью. Только проснулся я уже от грозы и пешком бросился к Машуку. По дороге встретил я князя Васильчикова — конь его поднял на меня воду и грязь. Я понял: всё кончено! Далее я вполне предался вину, на служебные при-

звывы не отвечал, пока на меня не махнули рукой и не забыли навсегда. Успел я еще сделать маленькую покражу. Михаил Юрьевич во время поединка имел при себе золотой обруч с головы молоденькой госпожи Быховец, оброненный ею в тот день и присвоенный им для шутки. После уже господин Дмитревский взял этот предмет для передачи владелице, а я его выкрал и храню. Год еще болтался я в Пятигорске, пьянствуя и дразня бывших моих сподвижников. Когда прах господина Лермонтова повезли в Тарханы, я двинулся вслед. Там видел я, как вели под руки в церковь бабушку его Елизавету Алексеевну, и не приведи Бог кому-нибудь видеть такое лицо. Оно было хуже и непробудней мёртвых лиц, потому что те помечены отдыхом, а ее убили, но не дали забвения, и вот влекли под локти. Приметив меня, она оттолкнула поддержку и твердо спросила: „Кто ты таков?“ Я молчал, но она вызнала сквозь мое лицо мою вину и прокляла меня на веки вечные — я склонился, как под благословение. С той поры нарёк я себя Аспидом и повадился являться Мартынову, да это был тщетный труд.

Я еще раз прервал речь симпатичного мученика:

— А зачем вы при его бракосочетании озорничали?

Он испугался меня:

— Откуда вы знаете?

Я усмехнулся. Он подумал и развеселился воспоминанием:

— Я имел цель смутить его и погубить, заживо спалить взглядом. Но добился лишь того, что он и от аналоя воротил ко мне голову и растратил на меня глупые глаза свои. В жене его было больше живости. Она меня потом выглядела и хотела привадить деньгами, но мартыновской милостыни никогда я не брал. Всё спрашивала о Лермонтове, и я уверил ее, что он был прекрасен собой — для меня он таков и был. Она мне покаялась, что ужасная слава ее суженого была ей лестной. Потом она к нему остыла и говаривала: „Да точно ли он совершил столь великое злодеяние? Какой он убийца?! Разве такой, что от него мухи мрут“. Ей невдомёк было, что так оно и водится на свете. Я ей про ее мужа много делал плохих намёков — надеюсь, не без удачи. А потом, что же, умирали люди на белом свете, рождались,

а моей скорбной юдоли нет конца. Я уж совсем устал и со-
скутился, теперь вот развлекаюсь вашими трудами и путе-
шествиями.

Я поблагодарил его. Солнце уже освещало высокий
снег. Вдали с утренней силой заржал и пронёсся конь. Всад-
ник был коренаст, а держался в седле ловко и крепко.

Вот пока и всё о кавказских приключениях и бес-
смертном господине Аплошкине.

VI

ПРИВЕТ ФРАНЦУЗАМ!

Когда самолет уже задрожал и напрягся для подъёма, я уви-
дел, что по полю хромает Хусейн и сильно машет рукой. Да
уж нечего было делать!

В самолете со мною соседствовал француз, посетив-
ший Пятигорск для служебной надобности, а именно для
изучения знаменитой минеральной воды. Ее превосходные
свойства поразили его не менее, чем неукрощённый избы-
ток, образующий возле Эльбруса целые потоки и заводи.
Заинтересовался он и Лермонтовым и всенародным палом-
ничеством к месту его жизни и смерти. Но у него были не-
которые недоумения. Он с обидой спросил меня, зачем
русские иногда говорят, что в Пушкина по крайней мере
целила французская рука, а с Лермонтовым было ужасней,
потому что его убил соотечественник. Нужно ли тут приме-
шивать Францию? Я его совершенно успокоил на этот счёт,
сказав, что по языку, духу и всему устройству Мартынов при-
ходился Лермонтову таким же глухонемым чужеземцем, как
Дантес Пушкину, и национальность тут ничего не значит.
Ростопчина писала прекраснейшему французу Дюма: „Стран-
ная вещь! Дантес и Мартынов оба служили в кавалергард-
ском полку”. И это пустяки, они ближе, чем однополчане,
они — одно. Он осторожно намекнул, что русские, как ему
кажется, склонны несколько преувеличивать всемирное
значение своих поэтов — ведь непередаваемая прелесть их
созвучий замкнута в их языке (Толстой и Достоевский, ска-

зал он, — это другое дело). А вот он слышал, как один человек назвал Лермонтова: „Высочайший юноша вселенной” — не слишком ли это? И не кажется ли мне, что, например, Гюго больше повлиял на общечеловеческую культуру, хотя бы потому, что французский язык не был закрыт для всех читающих людей прошлого века? Я возразил, что трудно высчитать степень влияния, ведь Толстой и Достоевский зависели же от Пушкина и Лермонтова. Я выразил ему мое восхищение Гюго и воспитавшим его народом и передал самый сердечный привет всем французам без исключения. Потом добавил:

— Мне остается еще та утешительная радость, что ни про одного великого русского поэта никто никогда не может сказать, что он был скареден, или хитроумен, или непременно хотел в академики.

Француз с лёгкостью согласился:

— О да, русские вообще очень беспечны к материальной жизни. Надеюсь, вас не обидит мое предположение, что скромность вашей заработной платы несколько не влияет на ваше поведение?

Он был прав.

Так что обе стороны были вполне удовлетворены приятной беседой.

VII

Письма, вернее, письмо восьмое

(автор записок — художнику Васильеву)

Милый и дорогой друг!

Благодарю Вас за то, что Вы приняли в моей печали такое живое участие и подвигли к тому же других добрых и учёных людей. Во всём этом я узнаю Ваши талант, свободную изобретательность ума и великодушие.

Я всем сердцем оценил описание усадьбы в бывшей Тульской губернии, сада и дома над Окой. Для меня драгоценны сведения о медальоне с портретом Лермонтова, раздавленном каблуком, — чьим? Мстительным женским? Ревнивым мужским?

Белла Ахмадулина

Мы к этому еще вернёмся. Пока примите в дар стихотворение, вырытое из моих бумаг.

Глубокий нежный сад, впадающий в Оку,
стекающий с горы лавиной многоцветья.
Начнёмте же игру, любезный друг, ау!
Останемся в саду минувшего столетья.

Ау, любезный друг, вот правила игры:
не спрашивать зачем и поманить рукою
в глубокий нежный сад, стекающий с горы,
упущенный горой, воспринятый Окою.

Попробуем следить за поведением двух
кисейных рукавов, за блеском медальона,
сокрывшего в себе... ау, любезный друг!
сокрывшего — и пусть, с вас и того довольно.

Забываясь лишь о том, что стол накрыт в саду,
забыть грядущий век для сущего события.
Ау, любезный друг! Идёте ли? — Иду. —
Идите! Стол в саду накрыт для чаепитья.

А это что за гость? — Да это юный внук
Арсеньевой. — Какой? — Столыпиной. — Ну, что же,
храни его Господь. Ау, любезный друг!
Далёкий свет иль звук — чирк холодом по коже.

Ау, любезный друг! Предчувствие беды
преувеличит смысл свечи, обмолвки, жеста.
И, как ни отступай в столетья и сады,
душа не сыщет в них забвенья и блаженства.

VIII
ВЕЛИКАЯ БАБУШКА

Елизавета Алексеевна Арсеньева, урождённая Столыпина, пензенская помещица, влиятельная и властная барыня, брившая для поучения бороды крепостных, не доверявшая книжникам, говорившая про Пушкина, что он добром не кончит, несчастливая в замужестве, схоронившая молодую дочь, лелеявшая единственного внука. Жития ее было семьдесят два года (1773 — 1845). Вот и всё.

Да славится ее имя во веки веков!

Она одна дала Лермонтову всю любовь, которой не дал ему отец, уже не могла дать мать, еще не могли дать грядущие поколения, в которой отказали ему множество знакомых и современников. Одна — против вздорных, слепых, надменных, ленивых, алчных, желающих истребить и истребивших, каждый день, каждое мгновение, всей жизнью, не имеющей значения и цены без него.

И Лермонтов был любим, как только может быть любим человек.

Неисчислимая любовь к нему всех, кто был, есть и будет потом, — не больше той, одной, бабушкиной.

Мы всегда будем видеть его таким, каким она его видела: осенённым Божественным даром, хрупким, беззащитным перед обидой и гибелью и — несказанно красивым.

IX
ПУШКИН И ЛЕРМОНТОВ,
ЛЕРМОНТОВ И ПУШКИН

Никакого литературоведения — я ему не учён, это дело не мое, а только зачем Вяземский жаловался, что навряд ли Лермонтов заменит России Пушкина? Замена тут вовсе ни при чём.

Пушкин еще был жив, а уже было понятно, что у России есть еще один великий поэт.

Появился Лермонтов — его молодости оставалось четыре года для достижения зрелости и совершенства. Исто-

рия не спрашивает у человека: сколько ему лет? Слишком мало для величия? — ступай, оставайся в безвестных способных юношах. Еще не было решено: велик Лермонтов или не велик, но он заговорил на языке Пушкина как на своём, и это уже был язык всей русской литературы. Вдвоём их стало больше, чем только двое: Пушкин и Лермонтов — это была целая и великая поэзия народа, определившаяся раз и навсегда.

Имена их неразлучны в русской памяти, сведены в единое средоточие всего родного.

А Лермонтов не встречался с Пушкиным, не видел, не хотел видеть — так нестерпимо любил. Думаю, что не раз ему говорили: иди, там твой кумир стоит у колонны, на берегу бала, или гуляет меж статуй и деревьев Царскосельского сада. Он вскакивал — и падал ничком на кровать, закрыв лицо, один со своею любовью. Принять на себя взгляд Пушкина — казалось грубой развязностью, лишним расходом его зрения, и больно было за свою недостаточность, и гордость мешала: да ведь есть же и во мне хоть что-нибудь?!

Пушкина оплакали люди и народ, но заступился за него всю жизнь один Лермонтов.

Большим, заметным, недобрым взглядом смотрел он в гостиных на Наталью Николаевну, вдову Пушкина. Она робко, с детской обидой — за что? — обращала к нему чудное, кроткое, вопросительное лицо, он отворачивался. Что это? Ревность безумия? — она, с глазами для разглядывания драгоценностей и кружев, а не для чтения, видела его каждый день, а я — никогда? Ненависть — за вину? или за неравноценность? Но она ни в чём не повинна! Пусть, Тамара тоже ни в чём не повинна, а жалко Демона, и вся ее красота и все добродетели не стоят волоса с его грешной головы. Или просто бедная месть за неказистую робость перед спокойной и знаменитой красавицей?

Он и сам понимал в этом чувстве только его силу — и смотрел.

И вот последний вечер у Карамзиных. При общем внимании и недоумении он не отходит от нее, ласково глядит — и не может наглядеться, почтительно и пылко говорит — и не может наговориться. Что это? Новая уверенность в себе после признания и успеха? Счастливый случай, от-

кривший ему глаза на прелесть женского ума и грациозного сердца? Да уж не любовь ли безумия? Да, любовь — к тому, любившему ее так сильно, давшему ей детей, наполнившему ее собой, создавшему ее из воздуха, взявшему ее в бессмертие под фамилией: Пушкина-Ланская.

Она потом рассказывала об этом дочери, радуясь, как чудесное дитя, заполучившее во власть очарования всех, и великого угрюмца, воздавшего должное не красоте, — это не ново! — а собственным достоинствам личности.

А он — прощался с Пушкиным, до встречи — навсегда.

И еще — вместе с Пушкиным и Лермонтовым, другой стороной сердца, — клянусь всегда любить писателя Соллогуба, имевшего величие сказать: „Елизавета Михайловна Хитрово вдохновила мое первое стихотворение: оно, как и другие мои стихи, увы, не отличается особенным талантом, но замечательно тем, что его исправлял и перевёл на французский язык Лермонтов”.

Х

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ

(автор записок — критику Б.С.)

Глубокоуважаемый Б.С.!

Вы оказали мне честь, упомянув меня в статье, общего значения которой я, по роду моих склонностей и занятий, не могу оценить в должной мере. Ваша память обо мне тем более для меня почётна и лестна, что я не имею привычки и страсти к публикациям, и внимание критики для меня чрезвычайная редкость.

Я совершенно согласен с Вами в отрицательной оценке слабого и вульгарного стихотворения, некстати поминающего имени Пушкина и Лермонтова. Единственное, что может оправдать меня перед Вами, — это то, что указанное стихотворение, писанное в давнишней и непривлекательно-невежественной молодости автора, сознательно не включено в разбираемую Вами книгу. Так что огорчение Ваше — заслуга не моей, а Вашей энергии. Но всё это для меня ровно ничего не значит.

Белла Ахмадулина

Важно лишь то, что Вы в Вашей статье прямо и точно говорите, что мне „не жалко Лермонтова”.

Я полагал, что Вы сами примете меры для наказания человека, в котором Вы предполагаете злодейское сочувствие убийцам Лермонтова. Не только такое обвинение, но даже такое подозрение заслуживает немедленного и решительного разбирательства.

Я настоятельно прошу Вас безотлагательно сообщить мне, каким образом могу я получить от Вас удовлетворение моей чести и совести.

Любые Ваши условия, кроме перевода бумаги, буду считать для меня подходящими.

Примите уверение и прочая...

XI ЭПИЛОГ

На этом записки неизвестного обрываются.

1972

Такая маленькая, родом из Выборга, и в облике — особенное выражение, по которому часто можно угадать истинных ленинградцев: неизгладимый отсвет благородного города, который день за днём отражался в пристальном лице человека и запечатлелся в нём чертой красоты. И — слабая голубая тень, неисцелённость от блокады, от страдания, перенесённого в младенчестве. Выпуклость лба — нежная и прочная вместе, как у людей, усугубивших врождённую склонность к знанию кропотливым трудом.

Но не в учёности было дело, а в более грозной и насущной страсти, это я сразу поняла, когда увидела, как та, маленькая, с насупленным лбом, стоит одна между Пушкиным и множеством людей, пропуская через себя испепеляющую энергию этой вечной взаимосвязи. Казалось бы: много ли удали надо — быть экскурсоводом, но как доблестно, как отважно стояла, вооружённая указкой, готовая сопроводить к Пушкину или заслонить его собой, если вдруг сыщется среди паломников человек случайный, ленивый, грубый и невежда! И представьте себе — сыскался.

Она говорила приблизительно вот что. В тот день Пушкин проснулся, разбуженный своей улыбкой, словно внушённой ему извне в знак близкого и неизбежного счастья. Он заметался, домогаясь найти причину нарастающей радости, выскочил на крыльцо и, по привычке зрения к простору здешних мест, глянул широко, с размахом, но близоруко увидел лишь спуск к реке, потому что над Соротью стоял туман и не пускал смотреть дальше. И вдруг, разом, без проволоочки обнажилось сияющее пространство на том берегу — и душа, ликуя, ринулась на приволье. Он уже не

сколько часов бодро жил наяву, а непреодолимая улыбка всё длилась. Он совсем забыл, почему оказался в этих отрадных местах. А ведь он всегда, ожогом гордости, помнил об этом. Не потому ли, что часть его сильной крови была сведуща в незапамятном опыте черного рабства, кровь его болела и запекалась в затылке, когда его неволили и принуждали? Но сегодня он был совершенно свободен. Только эта улыбка — кто-то поддерживал и разжигал ее своей непреклонной властью, и, когда он хотел переменить выражение губ, получался — смех... Если бы ему сказали тогда, что этот день пройдет, как все остальные, что его жизни, столь молодой, минет сто семьдесят пять лет и все люди, обнимаясь и плача, оповестят друг друга об этой радости, — о, какую гримасу скуки выразил бы он переменчивым и быстрым лицом! Что значат эти пустяки в сравнении с тем, что вот-вот должно случиться! Он с утра, с начала улыбки знал, что обречён к счастью, и всё же кружева, порхнувшие в двери, застали его врасплох — он испугался, что так не умён. А она, как вы знаете, была гений и светилась себе на сильном солнце, не имея ни единого изъяна, как белый день и природа. Вот, кстати, ее плавный профиль, рисованный его рукой.

Но какой двоякий у нее голос: нежный и важный, как у благовоспитанного ребёнка, но с потайным дном темной глубины, на устах детский лепет, а в изначалье горла — всплески бездны, взрослой, как мироздание.

По этой аллее они гуляли, он всё был неловок, и она споткнулась — о, ужас! — не был ли при этом поранен ее башмачок? Нет, слава Богу, нисколько, вот на этой скамеечке, обитой зеленым, он гостил, целый и невредимый, видите подпалину на увядшей зелени? — это он потом поцеловал незримый след того башмачка. Вот каково было чуждое мгновенье его жизни, ставшее для прочих людей чуждой вечностью наслаждения.

Тогда тот случайный и небрежный гость — помните, я говорила, что такой сыскался? — обратился к экскурсоводу и сказал приблизительно вот что. Всё это нам и без вас известно. Но не кончилось же на этом дело, были у них другие мгновенья! Прошу внести ясность в этот вопрос для сведения вот этих доверчивых и наивных граждан.

Та, маленькая, со лбом и указкой, выдвинулась вперёд прыжком, на который не имел права Данзас, и, обороняя уязвимую хрупкость, чьи изящные очертания сохраняет маленький жилет на Мойке, стала в упор смотреть на противника, пока он не превратился в темный завиток воздуха, вскоре развившийся в ничто. Даже жаль его, право, — разве что пошлый, а так безобидный был человек, как, впрочем, и победители роковых поединков, за смутное сходство с которыми он заплатил.

Та, о которой речь, хоть речь, как всегда, о Пушкине, жила в пристройке к длинному несуразному барскому дому, не однажды переделанному, горевшему и опять живому и здоровому. Некогда здесь обитало семейство, расточительное на дружбу и гостеприимство, возглавляемое просвещённой, пылкой и снисходительной маменькой и тёткой. Барышень, своих и приезжих, всегда было в избытке, был и брат, резвый в шалостях и рифмах, не любимый мной единственно из упрямства и своеволия. Всё это летало, лепетало, шелестело громоздким шелком, пело, пререкалось по-французски, было влюблено в Пушкина и любимо, дражно, мучимо и воспето им.

По вечерам из пристройки нам было слышно, как за стеной вздыхают одушевлённые вещи, клавиши позванивают во сне, плачет заводная птичка, постукивают разгневанные или танцующие каблуки, спорят и любезничают голоса. Когда они уж очень там расходились, владелица указки строго глядела в их сторону — я знала, что она пылко ревнует Пушкина, и справедливо: он был ее жизнь и судьба, но, нимало не заботясь об этом, предавался дружбе, влюблялся, любил, а когда стоял под венцом, был бы вовсе бел лицом, если бы не его неискоренимое африканство.

Не от этой ли непоправимой тоски гуляла она вчера с приезжим бородачом, горестно запрокинув к пушкинскому небу юное старинное лицо? Впрочем, бородач в каморку не был допущен, и, когда нам уже не хватило свечи сидеть и разговаривать, мы услышали, как вошел Пушкин и уселся на табурет, подвернув под себя ногу по своему обычаю.

Вы скажете: это не Пушкин был! А я скажу: чьи же еще белки умеют так светиться в ночи, а губы темнеть в потём-

ках, потому что их кровь смуглее, чем мрак? К тому же в эту ночь пламенно белел Святогорский монастырь, и прямо над ним дрожало и переливалось причудливое многоцветье, не виданное мной доселе.

Вы скажете: это северное сияние проступило из соседних сфер. Я скажу: пусть так, а всё же не раз приходил, сиживал неподалёку и однажды совсем втеснился в наше братство, хоть и скучал от наших разговоров о его вездесущей и неведимой жизни и славе.

Но тут, как на грех, случилась из города золотоволосая гостья, не сведущая в пятистопном ямбе. Она забрала себе всё пламя свечи и стояла — насквозь золотая, как гений, как вечная суть женственности и красоты. Она имела в виду проведать упомянутого бородача, а того, кто сидел, подвернув ногу, она не узнала, да он ей и ростом мал показался, но она за дверь — и он за ней, только их и видели.

Вы скажете: а может, это всё-таки не наяву было, а в стихах, например? Я скажу: если житьё-бытьё и бои с неукрошенным бытом — меньшая явь, чем стихи, как стану жить?

Чтобы окончательно запутать литературоведение, добавлю, что в ту недавнюю пору и в тех благословенных местах Пушкин был повсюду и на диво бодр и пригож — ведь был октябрь, любезный его сердцу.

А может быть, дело просто в том, что Пушкина достанет на всех людей и на все времена, он один у всех и свой у каждого, и каждый волен общаться с ним по своему доброму и любовному усмотрению, соотносить с ним воображение, чувства и поступки.

1974

Александр Пушкин „Элегия“:

*Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино, – печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.*

*Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и тревоженья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть – на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.*

150 лет без Пушкина – да так ли это? Я думаю, что и одной минуты не удалось бы всем нам прожить без его несомненного и очевидного присутствия.

А стихотворение Пушкина, что я прочла, для нас не есть его пророчество, а есть еще просто радость, радость и причина для ликования – он родился на белом свете.

Он знал, зачем ему надобно жить – затем, чтобы мыслить и страдать. И смерть поэта – есть его художественное деяние, достижение. Впрочем, это я неточно пересказываю слова Мандельштама.

Пушкин не собирался умирать и не желал умирать, но

то, что он должен был сделать для нас, он сделал. И всякий раз, возвращаясь нашей трагической мыслью, возвращаясь к дню его смерти, мы всё-таки должны быть уверены еще в одном: смерть его — это есть завершение его художественного существования и начало жизни для всех нас.

Правда 10 февраля, в этом году особенно тяжело это пережить, и все, кто идет вослед Пушкину, все взяли на себя осознанную или неосознанную ответственность перед русским словом и перед судьбою, в том смысле, как судьба эта связана с Пушкиным.

России без Пушкина в нашем представлении нет и быть не может. То, что всякая мысль о Пушкине связана с судьбой России, доказали великие люди. Нам остается только думать, думать и наслаждаться.

И если мне и приходится говорить о самом ужасном несчастье, которое нас постигло, — о смерти Пушкина, то всё-таки я говорю это в утешение тем, кто может меня услышать — только снести миг этого осознания. Вот как Пушкин умирает и говорит Далю: „Всё выше, выше...”

Из записок Даля:

„Собственно, от боли страдал он, по его словам, не столько, как от чрезмерной тоски... „Ах, какая тоска! — восклицал он иногда, закидывая руки за голову, — сердце изнывает!”

... „Кто у жены моей?” — спросил он между прочим. Я отвечал: много добрых людей принимают в тебе участие, — зала и передняя полны с утра до ночи. „Ну, спасибо, — отвечал он, — однако же поди, скажи жене, что всё, слава Богу, легко; а то ей там, пожалуй, наговорят”.

...Ударило два часа пополудни, 29 января, — и в Пушкине оставалось жизни только на три четверти часа. Бодрый дух всё еще сохранил могущество; изредка только полудремотное забвенье на несколько секунд туманило мысли и душу. Тогда умирающий, несколько раз, подавал мне руку, сжимал ее и говорил: „Ну, подымай же меня, пойдём, да выше, выше...”

Мы всегда можем получить ответ от того поэта, кото-

рого мы любим. Но Пушкин наиболее расположен к этому — по его счастливому устройству характера. Он как бы соучаствует в игре человека, который его любит. Он обязательно отзовется: он пошлет или привет, или маленькое утешение, или какое-нибудь чудо обязательно случится, потому что в характер Пушкина входит еще невероятная доброта и благородство, почему так еще душа разрывается, почему так жалко.

Я знаю, что может быть много открытий еще будет, связанных с Пушкиным: можно найти еще письмо или еще можно найти какие-то свидетельства, вещи. Мне же доставало строк Пушкина, чтобы в пределах этой строки делать открытия.

Нам остается только по мере сил наших не провиниться перед именем Пушкина, перед тем, что он сделал для нас.

1987

„О ВРЕМЯ, ПОГОДИ!”
Маленькое предисловие

Свеча ли неуместно и нежно загорится по чьей-то прихоти, мелькнет ли луна среди зимних бесовских туч, или зажелтеют листья за старой решеткою сада — и вдруг невесомо и больно ляжет на душу тень прошлого столетия, всегда похожая на тень Пушкина, на тень Лермонтова. Жизнь каждого человека, для которого русский язык — кровно-изначальный, колыбельно-родимый, с младенчества и навсегда так наполнена Пушкиным и Лермонтовым, что он ими двумя озаглавливает и населяет первые десятилетия девятнадцатого века и невольно соотносит с ними все остальные события, судьбы и лица. О чём бы ни шла речь, мы думаем: „Боже мой, да они оба еще были живы тогда, а всё остальное как-нибудь обойдется!” Или читаем про какого-нибудь ни в чём не повинного благополучного старца и люто придираемся к его долголетию: раньше Пушкина родился, век на исходе, а он живёхонек! Что ж, то горькое время России в одном отношении было для нее драгоценно счастливым: в ней одновременно, ни разу не встретившись на аллее или в гостиной и ни разу не разминувшись в памяти потомков, были молоды, жили, творили сразу два великих поэта!

Но почему же — два? Ведь совсем рядом с ними по времени, в 1803 году, родился великий русский поэт Фёдор Иванович Тютчев. Почему же мы называем Пушкина и Лермонтова прежде всего, как бы на едином выдохе любви, а уже потом, выждав маленькую паузу сердца, поминаем и утверждаем величие Тютчева? Разве он дальше от нашей жизни, от нашего сознания и пребывает с ними как бы в двуродной близости? Нет, ни в коем случае. Думаю, что дело не в этом и не в том, что в личности и судьбе Тютчева нет того явного, мучительного, трагического ореола, кото-

рый так терзает нас при мысли о Пушкине и Лермонтове, — ведь их злодейски убили, это непоправимо во веки веков, и, безутешно мучаясь и жалея, мы любим их еще больше и больше. Фёдор Иванович Тютчев претерпел много страданий, страстей, разочарований, но, на радость нам и тем, кто будет после нас, дожил до семидесяти лет, и наше воображение обычно видит его уже не молодым, с гордым высоким лбом, умудрённым долгой и сильной жизнью ума, в лёгких и зорких очках, изящным и не то чтобы несколько чопорным, но строгим и недоступным для вольного или пошлого обращения. Может быть, дело в том, что Пушкин и Лермонтов сопровождают нас с первых дней создания, они нас баюкают, учат говорить, писать, втолковывают нам красу земного бытия и родной речи, сопутствуют детству, юности и затем — всей дальнейшей жизни, словно меняясь, взрослея и старея вместе с нами. Тютчев же, как мне кажется, поэт именно для зрелости, для сложившегося ума, для упрочившегося сердца. Если душа твоя стала жадно искать утешения и поучения в Тютчеве, — что же, немолодой и многоопытный школьник, видимо, ты перешел в следующий и счастливый класс твоей жизни. Если же, напротив, томик Тютчева внушает тебе лишь почтительную вялость и отчуждение, — останься в нём на второй, на третий год, не торопись, всё придет в свое время. Но пусть непременно придет, потому что без Тютчева ты всё-таки не сможешь постичь язык, на котором говоришь с рождения, сам лишишь себя выгоды и блага узнать, что несколько слов в дивном и математически точном порядке строк определают необходимую тебе истину. Годы, на которые Тютчев пережил Пушкина и Лермонтова, упрочили затеянную ими речь и возвели ее в степень совершенства — дело было за великими русскими поэтами, которые вот-вот должны были родиться. Может быть, тяга к Тютчеву зависит не только от собственного возраста человека, но и от общего возраста нашей культуры. В таком случае, сегодня люди вновь обратятся к поэзии Тютчева с особенно нежным и пристальным вниманием. Столько событий произошло в мире. Столько шумных поэтических выступлений в огромных аудиториях было за последние годы. Прекрасно, когда поэту внима-

ет множество людей. Но необходимо, чтобы иногда к поэзии прибегал не слушатель, а читатель, остающийся с книгой один на один. Помните — у Тютчева:

Треск за треском, дым за дымом,
Трубы голые торчат,
А в покое нерушимом
Листья веют и шуршат.

Тютчев уводит нас прочь от вздора, от суеты, учит тишине, сосредоточенности, внятности мысли, исчерпывающему значению слова. Но я не учёный, не литературовед и не беру на себя дерзость рассуждать о стихотворениях Тютчева — они сами расскажут вам гораздо больше, чем тот, кто о них рассуждает. Добавлю лишь, боясь сказать лишнее слово, что та любовь, которая стала таким страданием для Тютчева, стала счастьем многих людей, потому что теперь она принадлежит им, воплощённая в дивные и необъяснимые строки.

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня...
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?

Когда-то людская молва жестоко осудила женщину, любившую так сильно, страдавшую так много, умершую так рано. Теперь людская молва благословляет ее незабвенное имя.

Я думала об этом, когда артист Михаил Козаков попросил меня принять участие в возникновении пластинки, которую вы держите в руках. Был чистый, тихий, светлый летний день. Я слушала стихи Тютчева и думала, что, хоть они никогда не покидали нас, душа опять по ним сильно истосковалась.

Сейчас вы услышите стихи Тютчева, посвящённые Денисьевой, другие его стихи, отрывки из его писем, а также отрывки из писем и дневников близких ему людей. Эта композиция составлена М.Хромченко. Исполняют ее артист Козаков и я — не артистка.

1977

ПОЗВОЛЬТЕ ПОЗДРАВИТЬ ВАС...

(к 190-летию со дня рождения А.С.Грибоедова)

Поздравим друг друга с днём рождения Александра Сергеевича Грибоедова!

Собственное мнение, суждение о Грибоедове — для меня невозможны: Пушкин исчерпал эту возможность. Допускаю, что кто-нибудь удачливей меня и преуспел в намерении раздобыть и возыметь оригинальную точку зрения, но мне эта удача кажется чрезмерной и излишней. Пушкин, нечаянно и непринуждённо, для нас и вместо нас взял на себя труд (какой ценой — известно) безукоризненно стройной мысли. Нам остается лёгкое занятие: любоваться силой и статью этой мысли, на этот раз — помыслами Пушкина о Грибоедове.

Поскольку день рождения — о „Грибоедове“, о 1829 годе не станем помышлять — ан не выходит: сразу очнулись боль и тоска. Только стоит вспомнить его щемящее признание: „Прощайте, прощайте на три года, на десять лет, может быть, навсегда. О Боже мой! Неужели я должен всю мою жизнь провести там, в стране, столь чуждой всем моим чувствам, моим мыслям“.

Превосходная степень ума, лицо, содержащее тайну, силуэт безупречного благородства. Впрочем, когда мы восхищаемся отвагой, честью без единой помарки — великие люди, где-нибудь там, недоумевают: а что, бывает как-то иначе?

Вот первая моя вина пред Грибоедовым (а вдруг — не худшая?): в детстве я написала продолжение „Горя от ума“. К моему отчаянию, жуткая эта вещица (Чацкий, конечно, на Сенатской площади и потом на каторге, Софья благоденствует замужем за генералом почему-то Хрюкиным,

Молчалин, кажется, усложняется в какую-то ястребиную моль) — вещица эта, к моему отчаянию, сохранилась и не отдается мне владельцем для сожжения.

Только никогда, никогда не осерчайте на меня, моя дорогая, любимая учительница Елена Николаевна Домбек! Благодарю Вас — за Грибоедова, за поощрение моих сочинений — Вы их любили, простите меня за всё и за то, что, не подумав, я так грубо отозвалась об обласканной Вами вещице. Просто у меня тогда ни горя, ни ума не было. Примите привет моей признательной души. Позвольте поздравить Вас с днём рождения Грибоедова!

Всех, всех, каждого учителя моего сей (пятый пополудни) час, при пушкинской луне, я вспомнила. Странная судьба: все были ко мне добры, все — великодушны. Всем в ноги кланяюсь, кому — с Новым годом! Кому — вечная память!

Я призналась, что не владею собственным мнением о Грибоедове, но зато некоторое время я владела его наволочкой (подарил известный тбилисский житель Додик Давыдов — я повладела и отдала Семёну Степановичу Гейченко, как взволновал его отчетливо сохранный, шелком вышитый вензель: А.Г.). Хрупкий, нежный, потускневший батист — но довольно! Не то сразу затмит глаза грёза о Грузии, о садах Цинандали, о Той красавице, всех превзошедшей грациозностью ума и сердца... Нет, навряд ли Грибоедов приглашает меня говорить о его любви. В Грузии же мы окажемся вместе на следующей моей странице. (А я опять уезжаю туда сегодня вечером.)

Пушкина — не перемыслишь, но Пушкин не возбраняет нам мыслить и страдать.

Ленинград усугубляет мысль и страдание о Грибоедове.

Однажды мне довелось целую неделю жить прямо на бывшем Екатерининском, ныне — его собственном, Грибоедовском канале. (Моим ненаглядным соседом был Булат Окуджава.) Тогда починяли или как-то прихорашивали храм Спаса на крови — я отворачивалась: Грибоедов его не видел, он жил вон там, в доме близ Харламова моста. Меня туманило и волновало, что много раз на дню я поминаю имя Грибоедова: Булата и меня то и дело спрашивали, где мы

обитаем (это были две маленькие соседствующие квартиры, предоставленные нам Театральным обществом). Но имя я не все поминала, не как просто адрес.

По многим моим причинам я люблю бывшую Большую Морскую, ныне улицу Герцена. И здесь жил Грибоедов, и рядом, на Исаакиевской площади, и на Невском проспекте, и в гостинице Демута, и... Да что значит: жил, ведь не о житье-бытье речь! Здесь бодро и светло действовали его ум и душа, драгоценный след этого действия невредим, открыт для зрения.

Мне всегда казалось, что заколдованный этот город содеян дыханием его великих обитателей. Что-то отсутствует, что-то обманно, лишь их присутствие в их городе для меня непререкаемо и очевидно.

А чудный дом Лавая на набережной, опекаемый неусыпно лежащими львами! Не так уж давно: 16 мая 1828 года — сам Автор читал здесь „Бориса Годунова“. Представляю, как слушал его Грибоедов. Бывает же такое на свете! Будем считать, что это случилось с нами. Да так оно и есть.

Но вот и Грузия, вот и Тбилиси. В декабре прошлого года я впервые привезла туда двух моих детей. Мы поднимаемся на фуникулере: четверо моих московских друзей, мои дочери, дорогие для меня грузинские дети — две девочки, Бася и Тамрико. Всё шире, всё нежней открывается нам этот столь влиятельный, столь влияющий на судьбу город. Сколько раз всё это уже было со мною! — но даже сейчас, когда я пишу об этом, сердце терпит уже ритуальное для него затруднение непереносимой любви и печали. В крайнем волнении достигаем мы вершины святой горы Мтацминда. Долго глядим вниз. Бася и Тамрико как-то очень возвышенно и изящно ласкают и ободряют моих детей: не трудно ли им? понятно ли им? Мне даже начинает казаться, что милосердные старшие дети хотят упростить, облегчить силу впечатления от их родного города, мягко загладить обольщающую вину его величия, подготовить младших детей и старших гостей к тому, что ждет их внизу, возле церкви Святого Давида.

Мы спускаемся. Я смотрю на бледную младшую дочь, на гвоздики в ее руках, ярко алеющие в синеве сумерек.

Девочка склоняется перед оградой надгробий, кладет гвоздики: это — Ей! это — Ему! — и с напряжением читает вслух: „Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но зачем пережила тебя любовь моя”...

Я невольно пытаюсь утишить пульс, отстраняю и скрываю лицо (то же и сейчас) и думаю: всё сбылось, этот миг моего бытия совершенен, большего желать не следует и невозможно.

1984

ПРЕКРАСНЫЙ ОБРАЗ

Выступление на вечере, посвященном
70-летию со дня рождения М.Цветаевой

Я не прочитаю своего стихотворения, я хочу сказать только несколько слов о Марине Цветаевой.

В русской литературе есть судьбы, которые странны и прекрасны игрой обстоятельств, как-то всё время перемещаются в своем масштабе величавые явления, значительное становится чрезвычайно близким.

Марина Цветаева писала, что ей было жалко Пушкина, как будто он ее дитя, а не умер давно, просто был прекрасный мальчик. У Марины Цветаевой всё самое далекое проходило через ее живое тело, через ее живую душу. Она так писала о Пушкине, как будто бы он был частью ее организма. Каждое ее слово приобретало достоверность.

Я навсегда осталась в ее невероятной, странной власти, как если бы я имела основание вспоминать ее, зная ее лично. Ее прекрасный образ всегда близко стоит от меня, и на щеках своих я чувствую дух ее поэзии, чувствую всю прелесть ее поэзии.

Она была большим и близким человеком, большим явлением в русской литературе. Она была дитя каждому из нас. Она была дитя человечества.

Марина Цветаева была величава и прекрасна и в то же время беззащитна в своей судьбе. Она была огромной человеческой доброты, это вытекает из всей логики ее личности. Это несомненно было так.

Цветаева, на мой взгляд, явление чисто русское хотя бы по жадности к жизни, по огромности дарования, по той энергии, которая в ней жила.

Она писала и стихи, и прозу, и всё это выходило, слепя глаза. Когда я это вижу, голова кружится от безмерной

человеческой радости, которая в ней жила. Она ни перед чем не останавливалась до самой смерти.

В этой трагической судьбе были свои поучительные и счастливые моменты. Ее жизнь при всех обстоятельствах всё равно была исполнена счастья, ее дарование цело в высоких образах ее поэзии. Поучительность такого счастья и ее открытый нестигаемый дух должны остаться с нами. Мы должны ее любить и безмерно гордиться ею, как человеком огромной отечественной культуры, должны уметь воспринимать ее всем сердцем.

Прочту ее стихотворение „Тоска по родине”.

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно всё равно —
Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма.

Мне всё равно, каких среди
Лиц ошестиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной — непременно —

В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведём без льдины
Где не ужиться (и не тщусь!),
Где унижаться — мне едино.

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично — на каком
Непонимаемой быть встречным!

(Читателем, газетных тонн
Глотателем, доильцем сплетен...)

Двадцатого столетья — он,
А я — до всякого столетья!

Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне всё — равны, мне всё — равно,
И, может быть, всего равнее —

Роднее бывшее — всего.
Все признаки с меня, все меты,
Все даты — как рукой сняло:
Душа, родившаяся — где-то.

Та́к край меня не уберег
Мой, что и самый зоркий сыщик
Вдоль всей души, всей — поперек!
Родимого пятна *не* сыщет!

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё — равно, и всё — едино.
Но если по дороге — куст
Встает, особенно — рябина...

1934

О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ
Выступление в Литературном музее

Перед тем, как будет то, что будет, чему должно быть, я должна сказать несколько слов, естественно, вежливой и пылкой благодарности некоторым людям.

Во-первых, я благодарю сотрудников и стены Литературного музея, что они позволили нам собраться здесь вместе по столь высокому поводу.

Я почтительно и нежно благодарю прекрасную Анастасию Ивановну Цветаеву, которая превозмогла некоторую усталость, некоторую временную, как мы уверены, хрупкость самочувствия и вот — здесь, передо мной, и возвышает наш вечер уже до каких-то надзвёздных вершин.

Несравненный Павел Григорьевич, Павлик для Марины Ивановны и для всех нас, спасибо вам всегда и сегодня.

Я особенно благодарю Владимира Брониславовича Сосинского (не вижу его в зале, надеюсь, что он здесь), благодарю за всё — за долгий опыт жизни, за то, что не только мне помог он в сегодняшний вечер, любезно предоставив многие материалы и документы, принадлежащие ему и его семье, а также благодарю его за то, что он и близкие ему люди помогали Марине Ивановне Цветаевой тогда, когда она в этом особенно нуждалась.

С особенным чувством хочу упомянуть Льва Абрамовича Мнухина, нашего молодого современника, замечательного подвижника благородного книжного и человеческого дела, который собрал драгоценную коллекцию рукописей, книг, вещей Марины Ивановны Цветаевой, собрал, разумеется, не для себя, а для всех нас, для тех, кто будет после нас. Я ему также обязана многими сведениями, многими документами, многими бумагами, которые он мне доверительно открыл.

И в завершение моего краткого вступления я от всей души благодарю вас всех, кто пожаловал сегодня сюда не из-за меня, а из-за того, что причина нам сегодня собраться столь долгожданна и столь возвышает и терзает наше сердце.

Я сказала: перед тем, что будет. А что, собственно, будет? Я и сама не вполне знаю. Некогда Марина Цветаева написала Анне Ахматовой: „Буду читать о Вас — первый раз в жизни: питаю отвращение к докладам, но не могу уступить этой чести никому. Впрочем, всё, что я имею сказать, — осанна!“* Доклад, который имеется в виду, не состоялся. Я имею в виду тоже сказать: осанна! — и думаю, что доклад, который я имею в виду, — не состоится.

Доклад... не только по старинной своей сути бюрократической, но и по устройству слова, по устройству названия должен был быть чужд Марине Ивановне Цветаевой. Мы все знаем ее хваткость к *корню*, ее цепкость к *середине*, к сути слова. Это у других людей приставка — просто так, приставленное нечто. У Марины Ивановны Цветаевой приставка — всегда ставка на то, в чём триумф слова. То есть как, например:

Рас—стояние...

Нас рас—ставили, рас—садили,

Чтобы тихо себя вели

По двум разным концам земли**.

Или „до“: до—мой (в огонь—синь), до—жизни, до—детства. И „до“ как высочайшая и первая нота среди столь ведомой Марине Ивановне гаммы.

В этом смысле до—клад — это что? Преддверье клада. И вот как изложена тема моего сегодняшнего, не знаю, как, — сообщения, вот к чему она сводится: к *кладу* именно, не к тому, что *до*, а к *кладу*. Я приглашаю вас к созерцанию клада, к пересыпанию из ладони в ладонь его драгоценных

* „На днях буду читать о Вас — в первый раз в жизни: питаю отвращение к докладам, но не могу уступить этой чести другому. Впрочем, всё, что я имею сказать, — осанна!“ (Марина Цветаева. Собрание сочинений. В 7-ми т. М. : Эллис Лак, 1994 — 1995 (далее — СС), т.6, с.203).

** СС, т.2, с.258.

россыпей. Потому что речь идет о чём? О нашем несметном национальном богатстве, о нашем достоянии, которого хватит нам и всем, кто будет после нас. Мы будем одарять друг друга сегодня тем, что было и есть несравненный дар Цветаевой. Потому что дар в понимании Цветаевой и в понимании всех, кто понимает, — это как: дар оттуда, свыше, предположим ей или мне, — и дар сюда. Дар и дар, то есть одарение других*. Вот об этом как бы и пойдет речь.

Сказано в программе вечера, в билете: поэт о поэте. Я скажу иначе: поэт о ПОЭТЕ. Это очень важное соотношение для меня звуковое. Видите ли, соотношение моего имени, кровного имени, с именем Цветаевой и с именем Ахматовой если и было для меня честью, то причиняло мне много страданий. Я утверждаю мое *право* на трезвость к себе в присутствии имени, в присутствии имён Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.

Почему я вообще соединила эти имена? Не я — новая наша жизнь, быт, обмолвки... Многие люди, особенно начальственные лица, обращаются ко мне: Белла Ахматовна. То есть оговорка. На самом деле так проще, так как-то ближе. Я как бы отмежёвываюсь. Я делаю это не в свою пользу, а в пользу этих высочайших имён.

Право на трезвость... У меня где-то написано:

Но, видно, впрямь велик и невредим
рассудок мой в безумье этих бдений,
коль возбужденье, жаркое, как гений,
он всё ж не счёл достоинством своим.

Рас—судок... Опять-таки слово, не применительное к Марине Ивановне, к ее грамматике. Сказано ею про кого-то: „Ее, как меня, *нельзя* судить, — ничего не останется“**. А мы и не станем судить, не станем рассуждать — станем любоваться. В одном письме она пишет некоторому человеку, своему знакомому, который, видимо, ее не понимает. И она

* „Ум (дар) не есть личная принадлежность, не есть взятое на откуп, не есть *именно*. Есть вообще — дар: во мне и в сосне” (СС, т.7, с.396).

** СС, т.6, с.750. Речь идёт об Анне Ильиничне Андреевой (1883 —1948), жене писателя Л.Н.Андреева.

не приглашает его понимать, она сразу говорит ему: Рассуждать обо мне невозможно. Вам только надо поверить мне на слово, что я — чудо, принять или отвергнуть*. И надо иметь много доблести, чтобы сказать о себе так.

Хорошо. Сошлёмся на слово „мозг”, потому что это слово приемлемо Цветаевой. Она не однажды упоминает это слово и это состояние, это качество своего организма. Вот пишет: мозг, о чьем спасении никто никогда не хлопочет, видимо, в отличие от души, — не дог ли ведает им?*** Дог будем читать как чёрт, как ту милую нечистую силу, которую Марина Ивановна соотносила с собакой.

Так вот, я всё это склоняю к некоторой чрезмерной осмысленности того, что я иногда говорю и пишу о Цветаевой. Мешающая мне промозглость, смысл, взывающий мзду с вольного пения души, — вот что пагубно отличало меня от чудно поющего горла Цветаевой.

Все мы помним роковое лето таинственного указания „поэзия должна быть глуповата” и никогда не узнаем, что это значит. Но за это — право „ногу ножкой называть”, данное лишь одному человеку.

Так, страдая от желанной, но недостижимой для меня роли, любезно предлагаемой мне добрыми мечтающими почитателями, я скорбно и нескладно сумничала про себя и про Цветаеву:

Молчали той, зато хвалима эта.
И то сказать — иные времена:
не вняли крику, но целуют эхо,
к ней опоздав, благословив меня.

Зато, ее любившие, брезгливы
ко мне чернила, и тетрадь гола.

* „Из меня, вообще, можно было бы выделить по крайней мере семь поэтов, не говоря уже о прозаиках, родах прозы, от сушайшей мысли до ярчайшего живописания. Потому-то я так и трудна — как *целое*, для охвата и оонания. А ключ прост. Просто поверить, просто понять, что — чудо” (СС, т.7, с.394).

*** „...мозг. (О бессмертии мозга никто не заботится: мозг — грех, от Дьявола. А может быть мозгом заведует *Дог?*)” (СС, т.6, с.669).

Рак на безрыбье или на безглыбье
пригорок — вот вам рыба и гора.

Людской хвале внимая, разум слепнет.
Пред той потупясь, коротаю дни
и слышу вдруг: не осуждай за лепет
живых людей — ты хуже, чем они.

Коль нужно им, возглыбься над низиной
из бедных бед, а рыба немота
не есть ли крик, неслышимый, но зримый,
оранжево запекшийся у рта.

Всё это я привожу лишь для надобности моего сюжета, а цену себе вообще я знаю. Начало моего сюжета относится к вычислению соотношения: она и я. Всё это склоняется лишь к уточнению скромности моей роли в том, что сегодня происходит.

Не ее превосходство в этом соотношении терзает и мучит меня. Потому что, по Цветаевой, любить человека или лучшего из людей, как она полагает, любить поэта — это как? Это — распростёртость ниц, это — простёртость рук снизу вверх, это — жертвовать собой и обожать другого. И так следует поступать. Я поступала так и, обращаясь к, может быть, лучшему, может быть, к равному, может быть, не к лучшему, может быть, не к равному, говорила... там... что-то в его пользу. Мне сказали: зачем? Я сказала: имею право и возможность расточать. Я не оскудею.

Так вот, мучась несовершенством, несовершенством моего дара, о чём говорить в предисловии мне необходимо, прозирая ночную тьму, прожигая взором потолок, сквозь потолок, сквозь всё, что над потолком, в самую-самую вершину небес, туда, куда устремляет каждую ночь всякий человек взор — всякий человек, который, разумеется, имеет совесть, — вот, глядя туда, я говорила: Прости, не знаю, кто там — ангелы или природа, спасение или напасть, кто Ты ни есть — твоя свобода, твоя торжественная власть... Так вот то, что есть возбудитель нашей совести, к этому обращаясь, я говорила: Прости мне! Прости суету, праздность,

жестокосердие, скудость души моей — но дай мне ВСЁ!

И какой же ответ? А предупреждаю тех, кто не верит, что ответ, ответ доносится. Ответ такой. Сначала как бы вопрос: а за что? за что человеку дается то ВСЁ, что было у Цветаевой?

Спросим у Цветаевой. Она скажет, при этом скажет задолго до ее крайней крайности, задолго до смертного часа: Ни с кем. Одна. Всю жизнь. Без книг. Без читателей. Без друзей. Без круга. Без среды. Без всякой защиты. Без всякой причастности. Без всякой жалости. Хуже, чем собака. А зато... А зато — ВСЁ!* Прибавим ко всему, что перечислено, то, что мы знаем о конце ее дней, и мы поймем, какую ценою человеку дается ВСЁ.

Рассудим так. Поэт, как ни один другой человек на свете, может быть, любит жизнь, имеет особенные причины. Ну, во-первых, один из поэтов сказал: сестра моя — жизнь. На что Цветаева не замедлила восхищённо отозваться: Каков! По-человечески так не говорят!** Так каковы же эти поэты, которые жизнь могут назвать своею сестрой? И что же делает она специально для них?

Жизнь благосклонна к поэтам совсем в другом смысле, чем к людям-непоэтам, словно она знает краткость отпущенных им, возможную краткость отпущенных им дней, возможное сиротство их детей, все терзания, которые могут выпасть им на долю. И за это она так сверкает, сияет, пахнет, одаряет, принимает перед ними позу такой красоты, которую никто другой не может увидеть. И вот эту-то жизнь, столь драгоценную, столь поэту заметную и столь им любимую, по какому-то тайному уговору с чем-то, что выше нас, по какому-то честному слову полагается, то есть полагается быть готовым в какой-то момент отдать ее как бы за других. Очень может быть, что не взыщут, что она останется с нами до глубокой старости, и блаженство нам

* „...ни с теми, ни с этими, ни с третьими, ни с сотыми, и не только с „политиками”, а я и с писателями, — не, ни с кем, одна, всю жизнь, без книг, без читателей, без друзей, — без круга, без среды, без всякой защиты, причастности, хуже, чем собака, а зато —

А зато — всё” (СС, т.7, с.384).

** „Сестра моя Жизнь, так люди жизни не зовут” (СС, т.5, с.381).

тогда. Но может быть, что взыщут. Во всяком случае поэт, который просит для себя всего, должен быть к этому готов, Цветаева всегда была к этому готова. За это так много дано. Вот это, то, что мы говорим условно, то есть называем высшей милостью, или Божьей милостью, — страшно подумать, какая это немилость всех других обстоятельств. Тот, кто готов подставить свой лоб под осенённость этой милостью, должен быть готов к немилости всего остального.

Так вот, это всё относится к моим мучениям соотносить себя и ее. Но осознать свою усечённость в сравнении с чьей-то завершённой, совершенной замкнутостью круга — это уже попытка совести, способ совести, которого на худой конец достаточно.

Опять: она и я:

Растает снег. Я в зоопарк схожу.
С почтением и холодком по коже
увиджу льва и — Это лев! — скажу.
Словечко и предметище не схожи.

А той со львами только веселей!
Ей незачем заискивать при встрече
всем, о которых вымолвит: Се лев.
Какая львиность норова и речи!

Я целовала крутолобье волн,
просила море: Притворись водою!
Страшусь тебя, словно изгнали вон
в зыбь вечности с невнятной звездой.

Та любит твердь за тернии пути,
пыланью брызг предпочитает пыльность
и скажет: Прочь! Мне надобно пройти.
И вот проходит — море расступилось.

Кое-что объясняю в этом стихотворении. Лев — почему? Ну, во-первых, нежная домашняя игра Цветаевых—Эфрон, подробности, которые не обязательно знать. Во всяком случае знаю: у Ариадны Сергеевны Эфрон записано еще

в детском дневнике: „Се лев, а не собака”, — и все в это играют, и все поэтому почему-то ликують. А что значит „Се лев, а не собака”? Мы знаем, и Анастасия Ивановна знает, что же для Цветаевых — собака. Собака — божество. Всю жизнь так было. Анастасия Ивановна сказала мне третьего дня: „Собаку пишу не с большой буквы, а вообще большими буквами”. Каково! А почему? К этому еще вернемся. Но вот воспоминания молодой знакомой Марины Ивановны парижского времени. Уже хорошего мало, и голод, и всё. Эта знакомая завела большую собаку. Приходит Марина Ивановна, становится на колени, падает ниц перед своим божеством и, заглядывая в большую, а вдруг опасную, но, разумеется, не опасную пасть, говорит: „Божество мое, сокровище мое”, — а в руках держит пакет обрезков. Знакомая пишет: всегда большой. Что значит — во время бедности, а пакет для собаки большой. Так вот: собака — божество, перед которым надо падать ниц, но лев — ровня, которого можно потрепать по загривку. И этот лев, который так таинственно приснился однажды Марине Ивановне (я не нашла сегодня, когда искала, описания точного этого сна, но помню, что снился лев), и она так это попросила: подвинься, дескать, и он подвинулся — она прошла*. Лев как символ чего-то чудного. Вот, например, тарелка, упоминаемая и Ариадной Сергеевной Эфрон, и самой Мариной Ивановной Цветаевой, — тарелка с изображением льва. (Мне, кстати, подарили такую. И там — лев.) Она видит в этом милое и любезное ей сходство с Максимилианом Волошиным. То есть что она в этом читает? Гриву, доброту, обширность лица, безмерность характера. И что еще? Все помним: часто, не однажды, Марина Ивановна говорит: кого люблю на белом свете... Вот кого не люблю, все знают — только вредителей духа, только обывателей. Остальных — любит. Но кого превыше всего? Высочайших аристократов и простых простых людей, и, наверное, простых людей более всего.

* „...Сон 23 апреля 39 г. Иду вверх по узкой тропинке горной — ландшафт Св.Елены: слева пропасть, справа отвес скалы. Разойтись негде. Навстречу — сверху лев. Огромный. С огромным даже для льва лицом. Крещу трижды. Лев, ложась на живот, проползает мимо со стороны пропасти. Иду дальше” (СС, т.4, с.608).

И вот лев. Не есть ли он символ как бы? Царственность, но какая? Не царствовать и бездельничать, а царственность, добывшая красоту непрерывным рабочим трудом мышц.

Да, кстати о снах Марины Ивановны, описанных ею не однажды. Они все замечательны, наводят на многие размышления. И опять поражаешься ее не-отдыху никогда. У нее есть такая оговорка: Рабочий после завода идет в кабак и — прав. Я — вечный завод без кабака*. Вечный труд, без забытья, без отдыха, даже без сна, потому что терпеть такие сновидения — это значит творить, никогда не отступить от единственного дела на белом свете.

Хорошо, со львом разобрались. А море? (Это всё к тому стихотворению.) А море? Что же море? У Марины Ивановны Цветаевой с морем всегда какие-то пререкания, всегда какие-то к морю с ее стороны придирки. Попробуем разобраться, что это значит. Обожает строчку „Прощай, свободная стихия!”. Или любит у Пастернака: „Придается всё. Лишь тебе не дано примелькаться”. Это любит, но это значит, что она любит образ. Кстати, по ее собственному утверждению, она не знает разницы в драгоценности между вещью и образом, между предметом и словом, и сама говорит: Я никаких умерших поэтов не знала, для меня умерший поэт — всегда живая, нуждающаяся в защите личность**. Предмет и слово в ее исполнении почти всегда совпадают. Так вот. Это море она любит как слово, как образ, но пререкается со стихией. Не однажды об этом читаю: то купается в море, плавает в море, но пишет как бы вкруг да около: Не могу пробиться к сути. Это она-то, которая даже про любовь сказала: Никогда не хотела *на* грудь, всегда хотела *в* грудь, всегда хотела *внутри****. Ну, не всякий еще (мы потом об этом поговорим), не всякий еще на это согласит-

* „Рабочий после завода идет в кабак — и прав. Я — рабочий без кабака, вечный завод” (СС, т.6, с.702).

** „...для меня каждый поэт — умерший или живой — действующее лицо в моей жизни. Я не делаю никакой разницы между книгой и человеком, закатом и картиной. — Всё, что люблю, люблю одной любовью” (СС, т.6, с.120).

*** „Я никогда не хочу *на* грудь, всегда *в* грудь! Никогда — припасть! Всегда пропасть! (В пропасть)” (СС, т.4, с.525).

ся, и море, тем более, не соглашалось. Нет, оно если берёт, то навсегда. Марина Ивановна боялась этого. И уже в печальное время последних ее двух лет где-то записала, уже думая о том, о чём не хочется говорить сегодня: И заведомая враждебность воды, заведомое неприятие воды как последнего, последнего прибежища*. Так вот, мы все знаем, что Марина Ивановна любила ходить. Входило это в завод ее организма. Ходила. Уж и есть-то, казалось бы, нечего, а она всё пишет в Берлин куда-нибудь: Туфли, туфли, туфли! Но какие, не на каблучке же, а такие, в которых ходить, пешеходничать. Любила пространство. Преодолевала его и разумом, и впрямую — ходьбой. Сердилась на море, что занимает то место, которое нужно ей для ходьбы. Пастернаку написала, что опять оно вот тут, не дает где ходить. И вдруг пишет: Оно ко мне подлизывается**, — с торжеством! Каково! Какой апломб! Но имеет право. Что же это есть? Не есть ли это ревность и соперничество двух стихий? Сошлёмся на воспоминание Бунина о том, что сказал Чехов о Толстом. Зачарованный, вернулся из Гаспры, кажется, и говорит: Да нас-то он всех любит, мы-то ему что, а вот Шекспир уже его раздражает***. То есть нашел себе, кто по росту, и пререкается. Не есть ли и это, не есть ли и это величие двух, двух равновеликих действующих в пространстве, в мироздании сил?

Всё так, про море как бы договорились. Море при этом. А вот при чём же, при чём же здесь я? Начнем с несходства во многом, даже не говорю сейчас, не сравниваю равноценность, там, дарований — это исключаем. Просто

* „...враждебность, *исконная* отвратительность *воды*” (СС, т.4, с.610).

** „...я не люблю моря. Не могу. Столько места, а ходить нельзя”.

„А знаешь, Борис, когда я сейчас ходила по пляжу, волна явно подлизывалась” (СС, т.6, с.252, 256).

*** „Знаете, что меня особенно восхищает в нём, это его презрение к нам как писателям. Иногда он хвалит Мопассана, Куприна, Семёнова, меня... Почему? Потому что он смотрит на нас, как на детей. Наши рассказы, повести и романы для него детская игра, поэтому-то он в один мешок укладывает Мопассана с Семёновым. Другое дело Шекспир: это уже взрослый, его раздражающий, ибо пишет не по-толстовски...” (Бунин И.А. Собрание сочинений: В 9-ти т. М.: Худож. лит., 1967, т.9, с.203).

даже способ быть, писать. Марина Ивановна, во всём исходя из Пушкина, вела нас к иному слову, то есть куда-то туда, как полагалось по времени. Я же теперь полагаю, что придется вести немножко туда, к бывлой речи, то есть проделать как бы весь этот путь сначала в одну сторону, потом в другую и искать утешение в нравственности и в гармонии нашего всегда сохранного и старого в том числе, русского языка. Обратно к истокам.

Совершенная противоположность пред-предрождения. Никакого сходства ни в родителях, ни в обстоятельствах. Совершенно две разные России, совершенно разные леторождения. Больше этого. В том году, в котором я родилась, дочь и муж Марины Ивановны Цветаевой прибывают в Россию из Франции. И я, неизвестно откуда, тоже прибываю впервые. Два года спустя, в 1939 году, прибывает и Марина Ивановна. Я, как вспоминают у меня в семье, вижу вот такой вот цветочек и впервые говорю внятно: „Я такого не видала никогда”. Что же это значит? Я вижу ослепительное пространство, полное цветами, желтизною, красотою и зеленью. В этом пространстве всё смерклось для Марины Ивановны. В августе 1941 года Марина Ивановна в Елабуге, я — в Москве, в кори. Помню мальчика, от которого заразилась корью, и даже как бы этот жест мне запомнился как величественный: никто с ним не играл, нельзя было брать заразного мальчика за руку, взяла — и взяла из его ладони его болезнь, захворала. Потом, в эвакуации, всё думаю теперь, в тот день, когда не стало Марины Ивановны, что изменилось в малом ребёнке, обречённом потом всю жизнь ее помнить? Про это не говорим. Вспоминаю фантастическое невежество моей юности, мой мозг, заросший такими сорняками, о которых даже не хочется сейчас вспоминать. Почему именно это темное сознание, эта духота спёртого, неразвитого юношеского ума, почему именно это стало прибежищем на многие годы для Марины Ивановны, для ее слова или для ее тени? Почему именно в этот бурьян души вселилась? Может быть, издали присматривалась и выбирала себе место, где быть. Помните, в детстве когда-то, всегда хотела где-то жить, например, в фонаре? Говорила, что хочу жить в фонаре. Еще вспоминаю такую грустную, груст-

ную и прелестную историю, связанную с семьёй Цветаевых, то есть не вполне с семьёй, но с Иловайскими, короче говоря. Вы помните, может быть, были девочка и мальчик, Надя и Серёжа, и больны чахоткой, и умер сначала прелестный мальчик, потом умерла чудная девочка и была спящей царевной в гробу. Умерла 20-ти лет, Надя Иловайская. Анастасия Ивановна и Марина Ивановна тогда были в Швейцарии, сколько я помню, в пансионе. Марина Ивановна пишет, что когда она получила от отца сообщение о смерти Нади Иловайской, это так поразило ее, и она долгое время с ней играла в какую-то безвыходную гибельную игру: то поднималась в дортуар, где вдруг ожидала ее увидеть, то, наоборот, от нее куда-то уходила... И сама же пишет: Зачем, зачем так преследовала она меня? неужели дальновидно рассчитывала быть мною воспетой?*

И вот это помещение Марины Ивановны тут во всех людях — просто каждому надо по-своему об этом сказать — но вот, я говорю о себе — помещение Цветаевой вдруг во мне, вместо всего: вместо дома в Трёхпрудном переулке, вместо даже могилы с мраморным надгробием, как полагается у приличных людей, стало быть во мне и в вас — вот единственное известное прибежище. Эта осознанность ее присутствия всегда была во мне и всегда меня страшно терзала, но, впрочем, и обязывала, даже как бы заставляла собой отчасти дорожить, пока не буду уверена, что где-то еще, где-то еще воочью существует. Помните, Марина Ивановна в тех случаях, когда люди помогали ей (а к нашему счастью, люди помогали ей, в человечестве такие люди были, и они иногда предоставляли ей комнату, чтобы жить, и вообще место, где бы жить), она, наверное, как написано и как мы все можем предположить, не была лёгкий жилец и как бы теснила хозяев из их законного жилища. И вот опять-таки, в продолжение того, что сказала, хочу прочесть, как томила, как перенасыщала меня и как тяжело было...

* „Почему именно за мной ходила, передо мной вставала, — именно мной из всех тех, которые еще так недавно за тобой и вокруг?

Может быть, милая Надя, ты, оттуда сразу увидев всё будущее, за мной, маленькой девочкой, ходя — ходила за *своим* поэтом, тем, кто воскрешает тебя ныне, без малого тридцать лет спустя?» (СС, т.5, с.133).

Морская — так иди в свои моря!
Оставь меня, скитайся вольной птицей!
Умри во мне, как в мире умерла,
темно и тесно быть в твоей темнице.

Мне негде быть, хоть всё это мое.
Я узнаю твою неблагосклонность
к тому, что спёрто, замкнуто, мало.
Ты — рвущийся из тесной кожи лотос.

Ступай в моря! Но коль уйдешь с земли,
я без тебя не уцелею. Разве
как чешуя, в которой нет змеи,
лишь стройный воздух, длящийся в пространстве.

Но чтобы уточнить всё это и лишить это некоторого поэтического преувеличения, хочу сказать, что я также точно, как вы, как всякий из нас, я — лишь длительность жизни, неизбывность нашего отечества, продолжение его истории. Просто один из тех, к кому прямее, чем к своим современникам, обращалась Марина Цветаева и даже в юности, когда говорила, что „моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд”. Так и случилось, только другое дело, что вина, производимые ею, всегда были совершенно зрелые. Дозревать до этих вин по мере жизни оставалось нам, человечеству.

Я очень ценю взор Марины Ивановны Цветаевой (о котором мы еще поговорим просто как о физическом взоре на вас или мимо вас), вообще превосходящий ее знаменитую близорукость, ее всевидящий дальновидный взор туда, в грядущее, то есть приблизительно в наше время. Всегда знала, всегда знала, что люди не разминутся с ней, и я думаю, что это будет всегда счастливым утешением для нас, когда мы будем думать про Цветаеву. Всегда твердила одно: знаю, знаю, как буду нужна, как оценят! Пишет: Я всё всегда знала отродясь. Пишет в одном письме: Я и теперь знаю, как буду любима через сто

лет*. Это написано всего лишь сорок с чем-то лет назад, что будет через сто лет. И еще одно: И, может быть, будет человек, может быть, поэт, может быть, женщина, который поймет, который отзовется, который послужит посредником между одним человеком и другим. И главное в нашем собрании — ответить ей теперь, через то время, которое она когда-то превозмогла вот этим своим дальновидным обращением и уже давно ждет ответа. Главное в нашем собрании — удостоверить это „да”, сказать: „Да! Так оно всё по Вами писанному и вышло! Не разминулись. Безмерно и всенародно любима”.

Очевидность Марины Ивановны, очевидность ее присутствия в пространстве, в ее стране для меня не менее реальна, чем, например, звонок маленькой девочки по телефону. Пишет стихи. И говорит: — Ну, Вы, наверное, не обратили на мой конверт внимания. — А как, простите, Ваша фамилия? — Чудный детский голос: — Цветаева. Совпадение всего лишь. Дай Бог, чтобы стихи были хорошие, но растрогана была, и воздух, наверное, был растроган, сквозь который донеслось это вдруг повторенное имя.

Хорошо, а почему именно Марина Ивановна Цветаева? Почему именно она, ее судьба и почему ее имя, почему *это* вынуждает нас к особенному стеснению сердца и особенной спёртости воздуха в горле? Мы, человечество, сызмальства закинувшие голову под звездопад шедевров; мы, русские, уже почти двести лет как с Пушкиным и со всем пушкинским; мы, трагические баловни двадцатого века, получившие от него такой опыт, который, может быть, и понукает нас к изумительному искусству, — почему мы, имеющие столько прекрасных поэтов, почему особенной мучкой сердца мы устремляемся в сторону Цветаевой? Что в ней, при нашем богатстве, что в ней из ряду вон, из ряду равных ей, что? Может быть, и наверное, особенные обстоятельства ее жизни и смерти, чрезмерные даже для поэта, даже для русского поэта. Да, может быть и это, но это

* „Драгоценные вина” относятся к 1913 г. Формула — наперёд — всей моей писательской (и человеческой) судьбы. Я *всё* знала — отродясь”.

„И — главное — я ведь знаю, как меня будут любить (читать — чтó!) через сто лет!” (СС, т.7, с.383; т.6, с.684)

для детской, простоватой стороны нашей сущности. Для той именно детско-житейской стороны, с которой мы не прощаем современникам Пушкина, что именно он был ранен железом в живот, в жизнь, в низ живота, как пишет Цветаева. И ведь как бы ни говорили, есть некоторая двоюродность, пока мы совсем не повзрослеем, есть некоторая двоюродность, в отношении, например, к Тютчеву. И, может быть, вот эта наша детская насупленность к нему, которую нужно преодолеть специальным просветлением мозга, может быть, она связана именно с тем, что он не был, не был же убит на дуэли. И только сосредоточившись на ясном разуме, мы вспомним о его страдании другого свойства. Вспомним, как Тургенев увидел его в парижском кафе и не вынес этого зрелища, потому что, как пишет Тургенев, и рубашка его стала мокра от слёз. Или как он шел и у него замирали ноги, и в муке, значение которой мы еще не знаем, он, там, говорил это свое знаменитое „Ангел мой, ты видишь ли меня?“. Не говоря уже о старике, который покинул Ясную Поляну и нёсся по мирозданию — сам был соперник мироздания, — нёсся куда-то неизвестно куда, всё такой же, каким он когда-то шел с Буниным по Девичьему полю и говорил после смерти маленького Ванюшки: Смерти нету! Смерти нету! А смерть меж тем была, а разгадки ей, разгадки ей до последней минуты так и не было.

Да. Особенные обстоятельства жизни и смерти, которые мы все знаем и которых мы никогда не забудем. Судьбы страшнее Марины Цветаевой я не знаю*, — сказала та, сказал тот человек, чью осведомлённость в страдании мы, как говорится, на сегодняшний день вынуждены считать исчерпывающей. И всё-таки страдание и гибель — это лишь часть, часть судьбы Цветаевой. Это не всё о ее судьбе. Судьба Цветаевой совершенна дважды: безукоризненное исполнение жизненной трагедии и безукоризненное воплощение каждого мига этой трагедии, воплощение в то, что стало блаженством для нас. И в этом смысле нам остается считать судьбу Цветаевой счастливейшей в истории нашей словесности, потому что редко кому дано так воплотить всё,

* „Я не знаю судьбы страшнее, чем Марины Цветаевой“ (Мандельштам Н. Вторая книга. Paris : YMCA-PRESS, 1972, с. 523)

что даровано в идеале человечеству, а в нашем случае ей одной — Марине Цветаевой. Еще учтём, что она была не нам чета. Она была вождь своей судьбы, и воинство ее ума и духа следовало за этим вождём.

Чтобы отвлечься от Елабуги, хочу сказать, что некоторые люди — здесь ли у нас, во Франции ли — как-то словно извинялись и передо мной, и в моём лице перед кем-то другим, что, вот, в свое время они не сумели помочь Цветаевой ну хотя бы малой человеческой помощью, и вот, дескать, теперь эта тень всегда лежит на их душе. Я слушала это со скукой, особенно в некоторых случаях. Я думала: „Э, мадам, это мания величия с Вашей стороны. Вы полагаете, что Вы, Вы можете помочь Марине Цветаевой?!“ Эта старая дама жива до сих пор*. Она со мной говорила об этом недавно. Я слушала ее с состраданием, когда она сострадала судьбе Цветаевой. Нет, ей об этом жалеть не приходится. Хотя... И потом Марина Ивановна сама никогда не склоняла нас к злопамятству и упрёку. Упрёк — не цветаевский способ соотноситься с собеседником. Она сказала: Не бойся, что из могилы я поднимусь, грозя! Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя!**

Но всё-таки соблазн упрекать кого-то велик. И вот у меня есть совершенно вне гармонии написанный упрёк. Получилось так: в Доме творчества все обедают, а я читала письма к Тесковой:

А вы, пожиратели жира,
под чайною розой десерта
сосущие сладость углевода,
не бойтесь голодной Марины!

Марина за вас отслужила
труд бедности и милосердья.

* Поэтесса Ирина Владимировна Одоевцева скончалась в Санкт-Петербурге в 1991 г.

** Не думай, что здесь — могила,
Что я появлюсь, грозя...
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!
(СС, т.1, с.177).

Поэтому — есть и свободна!
А вас — иль нет, иль незримы!

Но всё-таки, опять говорю, что не дано было, не дано... И я еще и искренне никого не виню. Потому что если мы представим себе то время и всё, что с нами тогда происходило... В общем, как-то недостает совести упрекать едва выживших людей в том, что они не помогли другому человеку. Но вот то, что смерть Марины Ивановны была ее собственный великий поступок, — это всё-таки я в последний раз отмечаю. Написала так:

Нам грех отпущен, ибо здесь другой
убийца лишний. Он лишь вздор, лишь мошка.
Такое горло лишь такой рукой
пресечь возможно.

Но отвлечёмся от житья-бытья и от смерти, входящей в житьё-бытьё, потому что житьё-бытьё не было, не было стихией Цветаевой. Она не любила быт, который, правда, всю жизнь ей пришлось укрощать, и так и не удалось с ним совладать. Но тем не менее душа ее парила. Вот она пишет: Боюсь, что беда, судьба — во мне. Я ничего по-настоящему, до конца, то есть *без конца*, не люблю, не умею любить, кроме своей души, то есть тоски, расплесканной и расхлестанной по всему миру и за его пределы. Мне во всём, в каждом человеке и чувстве — тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить, то есть длить, не умею жить в днях, каждый день, всегда живу *вне* себя. Эта болезнь неизлечима и зовется — душа*.

Вот это то главное преувеличение, с которым во все-

* „Боюсь, что беда (судьба) во мне, я ничего по-настоящему, до конца, т.е. *без конца*, не люблю, не умею любить, кроме своей души, т.е. тоски, расплесканной и расхлестанной по всему миру и за его пределами. Мне во всем — в каждом человеке и чувстве — тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить, т.е. длить, не умею жить во днях, каждый день, — всегда живу *вне* себя. Эта болезнь неизлечима и зовется: душа” (СС, т.6,с.708).

ленной выступает Цветаева. Ду—ша. У всех вдох приблизительно равен выдоху, то есть вдыхаем больше, чем выдыхаем, потому что что-то остается на пользу организма. У Цветаевой — не то. Берёт меньше, чем отдает. Осыпает больше, чем берёт для себя. Возвращает с избытком, касается ли это просто доброты или касается это предмета и его воплощения в слове. Видит, например, просто рояль, а возвращает нам какое-то чудо из чудес, громоздкость, которой достанет всему литературоведению на долгие годы.

Подходим как бы к главному, для меня во всяком случае. Чрезмерность того, что Цветаева называет душой, и ее несовместимость с, ее невместимость в. Ее слова:

Что́ же мне делать, слепцу и пасынку,
В мире, где каждый и отч и зряч...

Что́ же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший — сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью
В мире мер?!*

Чрезмерность для мира мер, может быть, и есть наш путь к разгадке таинственного дара Цветаевой и также к попытке разгадать ее трагическую судьбу. Эту чрезмерность, эту непомерность, эту громоздкость и — даже нет такого величественного суффикса, чтобы определить то, как представляю я себе, — вот эту, что я назвала, кунсткамерность дара („кунсткамерное чудо головы” — я написала), то есть эту вот именно из ряда вон, неприемлемость для простого житейского понимания, то есть приблизительно так, как Цветаева в детстве слышала и видела слово „гиппопотам”. То есть она думала: вот похоже на рояль, то есть гип-по-по, а еще хвост, потому что это где-то там. То есть такая неумещённость в одном пространстве. И, может быть, вот эта ее чрезмерность, она как-то и определяла ее литературную и человеческую судьбу. Она сказала про рояль, уже упомяну-

* СС, т.2, с.185—186.

тый мною, что ведь это он так, только вблизи громоздкий, если на него смотреть. Дайте роялю место, где быть, и он станет изящен, совершенно эфемерен*. И вот, может быть, только теперь у Цветаевой есть такое место, где ей есть где быть. Она написала: Что до меня, — вернусь в Россию не допущенным „пережитком”, а желанным и жданным гостем**. Вот, мы свидетели того времени, которое уже длится давно при нас, свидетели того времени, когда она совсем, когда она впопад вернулась в Россию. И здесь ей достанет места, чтобы выглядеть не обременительной, а как раз уместной, как раз точно, как раз без промаха и впопад.

Здесь теперь раздолье, но это теперь уместно. Если соотнести эту огромность с живой человеческой жизнью, то, может быть, вот есть о чём подумать. Я, некогда для себя выясняя, что же, например, Цветаева, что она, например, в соотношении с Ахматовой, когда-то думала, то есть сравниваю лишь просто, как два чуда, на равных, и думала: Ахматова есть воплощённая гармония и, может быть, поэтому как-то небесно прекрасна. Цветаева — *больше* гармонии, а больше гармонии нельзя быть, это дисгармония, так не должно. И вдруг через много лет в записях Ариадны Сергеевны Эфрон читаю про Цветаеву, про Ахматову: Она гармония — и только***. То есть она, значит, сама как бы это знала и имела на это как бы другой взгляд. Но ее пример отношения вообще к себе, к своим

* „И еще — сама фигура рояля, в детстве мнившаяся мне окаменелым звериным чудовищем, гиппопотамом, помнится, не из-за вида, — я их никогда не видала! — а из-за звука: гиппопо (само тулово), а хвост — там”.

„...ведь рояль только вблизи неповоротлив на вес — непомерен. Но отойди в глубину, положи между ним и собой всё необходимое для звучания пространство, дай ему, как всякой большой вещи, *место стать собой*, и рояль выйдет не менее изящным, чем стрекоза в полете”. (СС, т.5, с.29).

** „Что до меня — вернусь в Россию не допущенным „пережитком”, а желанным и жданным гостем” (СС, т.4, с.619).

*** „Абсолютная гармоничность, духовная пластичность Ахматовой, столь пленившие вначале Цветаеву, впоследствии стали ей казаться качествами, ограничивавшими ахматовское творчество и развитие ее поэтической личности. „Она — совершенство, и в этом, увы, ее предел”, — сказала об Ахматовой Цветаева” (Эфрон А. Страницы воспоминаний. — Звезда, 1973, № 3, с.177).

человеческим способностям... (Анастасия Ивановна, опять я всё про этот рояль и музыку!) И сказано там: Ну да, у меня были недюжинные способности. И вдруг брезгует этим, как какой-то малостью, как бездарностью! Сколько же ей было нужно, если этим погнушалась, как каким-то вздором!

И вот, значит, такая преувеличенность ее личности. А личность и есть душа. Сама пишет про себя: У меня душа играет роль тела, то есть что у других тело — у меня душа, то есть диктатор, главное, главное существование. И вот эта преувеличенность ее души, может быть, она сказывалась и на ее соотношениях не только с житьём-бытьём, но и на отношениях с великими современниками. Чужеземный исследователь говорит про Цветаеву и про Ахматову: Цветаева любила Ахматову так, как Шуман любил Шопена, то есть он восхищался и относился к нему снизу вверх; тот отделялся лишь оговорками*.

Мы все знаем, как рано, с первой книжки, Цветаева пылко и безгранично полюбила Анну Ахматову. Потом, кажется, в 16 году был разгар этой любви. И так она всё это любила, воспела, так это и осталось: Анна всея Руси. Потом прошло время, они увиделись, и как бы из этого союза, кроме безмерной печали, ничего не вышло. Я склонна истолковывать и эту одинокость Цветаевой как бы в пользу и Цветаевой, и Ахматовой. Потому что мы не можем предложить людям из ряду вон соотноситься на доступный нам, на человеческий манер.

И, может быть, самое убедительное подтверждение вот этой чрезмерности одарения, когда уже, как Пастернак написал про природу, „ты больше, чем просят, даешь”, может быть, самое горестное подтверждение этому — отношения Цветаевой и Пастернака. То есть все знаем переписку, частично опубликованную, какая это любовь и до чего же это доходит. То есть уже когда начинаешь читать эти

* „Вы [Ахматова] относитесь к Цветаевой так, как Шопен относился к Шуману. — Шуман боготворил Шопена, а тот отделялся вежливыми, уклончивыми замечаниями” (Адамович Г. Мои встречи с Анной Ахматовой. — Воздушные пути, 1967, V, с.110).

письма, то вдруг понимаешь — кто-то один должен устраниваться, выдержать такого нельзя, от этого умирают. И Цветаева сама как бы это осознаёт. Она предлагает Пастернаку такую высоту, такую высокопарность общения, такое парение над всем, что выше человеческого здравомыслия, что, действительно, вынести это невозможно. И сама ему пишет в одном письме: Я как-то чувствую, что Вы от этого отстраняетесь, что величина того, что я Вам даю, уже становится для Вас обременительной. И действительно, потом это становится каким-то ликующим и безумным ТЫ, трубящим вообще сквозь, от Франции до России. Потом грядущий сын, почти назначенный к тому, чтобы быть Борисом. И естественно, что один кто-то устранивается. Два, два великих человека не могут петь на одной ноте. И вот и в этом, и в этом ее ждет одиночество, когда она возвращается сюда.

А с Рильке... Все их отношения с Рильке... Может быть, он, он бы, может быть, понял, он же сам, сам написал ей: Вот мы небо, Марина, там, мы море...* Но из этого ничего не вышло по чисто таким, трагическим жизненным обстоятельствам.

Вот здесь, может быть, во славу Цветаевой нужно отметить ее отношение к Маяковскому, к человеку, к поэту, который как бы не был специально для нее уготован, специально для ее любви рождён. Напротив, она — за вечность, а он — за апофеоз, вот, того времени. Кстати, я всему литературоведению предпочитаю ее литературоведение, ее проникновение в сходство и разницу между Пастернаком и Маяковским, ее фантастический анализ Пушкина, например „Капитанской дочки”. И как бы и получается, что и Маяковский как бы остается в долгу перед ней. Потому что пока она восхваляла его всё, пока она приветствовала его в Париже в ущерб себе, в ущерб своей эмигрантской репутации, в общем не нашло это никакого отклика в нём.

* „Волны, Марина, мы море! Звёзды, Марина, мы небо!” (Рильке Р.М. Новые стихотворения. М. : Наука, 1977, с.322).

И вот её соотношение с революцией, вообще с той порою, когда всё это происходило. Опять-таки как-то получается, что всё это в пользу Цветаевой складывается. Вот она пишет, о революции именно, в статье „Поэт и время”: Второе и главное: признай, минуй, отвергни Революцию — всё равно она уже в тебе — и извечно. И извечно стихия, и с русского 18 года, который хочешь не хочешь — был. Всё старое могла оставить Революция в поэте, кроме масштаба и темпа. Ни одного крупного русского поэта современности, у которого после Революции не дрогнул и не вырос голос, — нет*. При том это совпадает с вообще присущей ей мятежностью, о которой она пишет просто по ходу своего рассуждения в статье „Пушкин и Пугачев”, то есть восхваляет заведомую готовность человека к мятежу и как бы даже поощряет пребывание в этом состоянии. Кроме того, ее любовь к тому, что вот мы называем народом (и на самом деле так оно и есть), то есть это просто ее многократные пылкие утверждения: Я вообще люблю простых людей, вообще люблю народ... И желание всё отдать... Сами знаете, где-то упомянуто, ей никогда ничего не было жалко, если думать, что это пошло на пользу другим, — ни денег, разумеется, которыми она никогда не дорожила, а, наоборот, только презирала, ни... ничего, чем она располагала. И вот как бы получается, что не мы, что не мы, послереволюционные люди, что... что не она перед нами — мы перед нею в долгу. Потому что, в конце концов, здесь музей, построенный отцом, нам, народу так называемому, принадлежат две библиотеки цветаевской семьи и вся ее жизнь, до последнего ее дыхания. Нам остается только прибегнуть к здравому смыслу и отслужить ей всё это, поставить всё на должные места.

Вообще эта чрезмерность, о которой я говорила,

* „Второе и главное: признай, минуй, отвергни Революцию — всё равно она уже в тебе — и извечно (стихия) и с русского 1918 г., который хочешь не хочешь — был. Всё старое могла оставить Революция в поэте, кроме масштаба и темпа”.

„Ни одного крупного русского поэта современности, у которого после Революции не дрогнул и не вырос голос — нет” (СС, т.5, с.338).

наверно, страшно обременяла людей, на которых падала благосклонность Цветаевой. Вот я уже говорила: не *на* грудь, а *в* грудь, до—мой в огонь—синь... Тут надо было иметь большую крупность грудной клетки, огромность воображения, чтобы пойти на это и не закапризничать от столь бурного, столь сильного вселения в тебя другого, любящего человека. Вот знаем, что она сотворяла еще себе человека (те, кто помнят ее, говорят об этом), сотворяла себе его, когда любила, по своему усмотрению. И правильно делала, иначе бы ей пришлось обходиться тем, что я назвала „мышиный сброд умишек“. Когда любила человека, человека мужского пола, например, то приходилось и додумывать, наверное, дотягивать этот образ несколько до себя. И какие-то разочарования, наверное, и в этом ее ждали. И эта чрезмерность, или непомерность, или как ни скажи — это не вмещает. Откуда вообще всё это? И вкратце лишь я берусь проследить истоки, несколько не склоняясь к литературоведению и никогда не упоминая вообще никаких биографических данных, кроме того, что кажется мне основоположным.

Мать и музыка, пишет Цветаева, отец и Владимирская губерния, и всё, что там, всё, что там, — сельские священники, и трудолюбие, и совершенная, совершенная честность к труду и к людям. И получается, что вот такие чудовища, откуда берутся? Мать у них — музыка, отец — просто впрямую отечество. Марина Ивановна как бы не рассуждала о России, как бы не пререкалась с собственным отношением к России. Она была человек русский в величайшем смысле этого слова, хотя бы потому, что это никогда, ее великая русская суть никогда не шла в ущерб другому народу. Более того, она единственный, кажется, русский человек, который во всеуслышанье, да еще когда, уже во время фашизма, говорит о своей любви к Германии. Потому что никогда, никакой мелочности взора, никогда никакой мелочности в отношении со страной или с человеком. Ей говорят: но там Гитлер, вы что, там, не видите? Она говорит: А я и не смотрю: я вижу Рейн и гётевский, гётевский лоб среди тысячеле-

тий*. И вот эта ее мерка подхода к тому, что происходит во вселенной, выводит ее, конечно, из малости нашего житья-бытья.

Я сказала про Германию. Так же она любила Чехию, любила всё, что есть в любой стране. И благо — много было ей дано для этого в детстве — совершенная открытость всей культуры для ее жизни.

Вот ненависть ко всякому подавлению. Мы говорили о собаках, которые божество. Сюда же, кажется, относятся поэты, негры, евреи, то есть все, которые подлежат гонению, все, которые рискуют быть обиженными человечеством. Мы знаем, как изящно владеет речью Марина Ивановна Цветаева. Из ее письма: собрание, там, каких-то младороссов. Выступает человек, говорит про Гитлера и про евреев. Из зала кто-то: „Сам, небось, из жидов”. Все молчат. Одна Марина Ивановна, совершенно беззащитная, совершенно покинутая всеми, встает и говорит: „Хам-ло!” Зал замирает. Она еще раз говорит: „Хам-ло!” Тот, по-французски, видимо, говорит, что не понимает. Говорит: Не понимаешь, скотина? Когда человек вместо „еврей” говорит „жид” да при этом, при этом прерывает оратора, он — хам-ло! И с этим покидает собрание**.

И так в отношении ко всему. Этот негр, который собственно, никем Цветаевой не приходился, ну разве что

- * — Что Вы любите в Германии?
— Гёте и Рейн.
— Ну, а современную Германию?
— Страстно.
— Как, несмотря на..
— Не только не смотря — *не видя!*
— Вы слепы?
— Зряча.
— Вы глухи?
— Абсолютный слух.
— Что же Вы видите?
— Гётевский лоб над тысячелетьями”.

(СС, т.4, с.550. Дневниковая запись сделана в 1919 г. „Несмотря на...” — это о первой мировой войне, а не о Гитлере.)

** „Я: — „Не поняли? Те, кто вместо еврей говорят жид и прерывают оратора, те — хамы. (Паузы и, созерцательно:) ХАМ-ЛО”. Засим удаляюсь. (С КАЖДЫМ говорю на ЕГО языке!)” (СС. т.7, с.384).

„Хижина дяди Тома” Бичер-Стоу... И всё-таки он, по своему цвету кожи будучи символом какого-то гонения... И, кстати, это я тоже почему-то, просто по своему совпадению случайному с ней, всегда разделяла.

Жест ее — защищающий и дарящий — только. Между тем, кто беззащитней, кто слабей ее, кажется, был. Между тем, стоит кому-то обидеть Мандельштама (ну так — просто написать какой-то вздор), одна Цветаева пишет статью, которую, разумеется, никто и не печатает. Она всей душой и всей своей бедной силой бросается на защиту того человека, который и здесь уже, в крайние дни *своей* беззащитности опять-таки бросался защитить кого-то, например Хлебникова. Значит, черта поэта — вообще защитить. Ну, например, Пушкина... Пушкина оплакивал весь народ. Но, позвольте, кто один защитил его и заплатил за трагедию своею жизнью? Да, мы знаем, что Мартынов был самолюбив. Но что свело Лермонтова с самолюбивым Мартыновым? Начинается всё с этого, с того, что заступился за другого.

Я не уверена, что каждый из нас, каждый из вас читал всё, что написано Мариной Ивановной и Анастасией Ивановной Цветаевыми о их семье. И я здесь только просто лишний раз с благоговением хочу упомянуть имена великих их родителей, которые содействовали тому, что мы теперь располагаем нашей драгоценностью. Анастасия Ивановна сказала, что Марина Ивановна говорила: Дар... то есть за дар нельзя хвалить, это — от Бога. Разумеется, но и от родителей. И, видимо, вот это: то, что музыка и Германия, то, что Россия и всё, что за этим, видимо и есть лишний повод вспомнить дом в Трёхпрудном, в котором некогда жили две чудные девочки. И вот я люблю по книге Анастасии Ивановны Цветаевой, а теперь уже как бы по моему собственному житейскому впечатлению, люблю думать, представлять себе, как они шли в морозный день, в платках поверх шапок, люблю думать, как они шли вниз по Тверской на Кузнецкий мост, чтобы купить гравюру или альбом. Чередовались, там, голубые и розовые фонари, и шли два чудных ребёнка, обречённых к столь невероятному опыту жить, страдать и оставить людям столько всего. Но, тем не менее, это та Москва, к которой я имею ностальгическое

как бы чувство, и мы не можем этого забыть, потому что это та Москва, та столица и той нашей родины, которая непременно входит в наше душевное воспитание.

Еще вот, когда мы говорим об истоках, нельзя не упомянуть — Тарусы. Потому что — Владимирская губерния, да, и Цветаева, кажется, была там, именно тогда, когда Мандельштам у нее гостил, и не была на родине своего отца, если я не ошибаюсь, — но вот то, что мы называем средней полосой, — Таруса. Странное странное этих мест... Безусловно, они тоже взлелеяли незыблемо русскую суть Цветаевой. Я там была некоторое время назад и, конечно, не предполагала, что мне придется огласить то, что я тогда думала там. Но тем не менее я каждой секундой душой моей соотносилась с Анастасией Ивановной, с Мариной Ивановной Цветаевыми.

Все знают знаменитую зелень цветаевских глаз. Написано: зеленый взблеск глаз. Звериная зеленая роскошь глаз, тех странных цветаевских глаз, которые как-то умели смотреть, судя по воспоминаниям современников, как-то странно, как бы не на вас, а как бы мимо вас, как-то в обхват вас, как бы в вашу суть и потом еще улыбались уже тому, что они видят, как бы сами сотворив зрение*. И вот там всё так зеленело — зеленела Ока, зеленели деревья, — и я не написала стихотворения, но некоторая строчка запела во мне, и я... она принадлежит всего лишь письму, моему письму к Анастасии Ивановне Цветаевой. Но там я увидела длительность, безмерную длительность цветаевской жизни.

* „Беглый взблеск зеленых глаз, какая-то, я бы сказала звериная, роскошь — в сторону: видит вас, но как будто смеясь, как будто прячась от вас, — очень светлых и очень зеленых прозрачных глаз. Это ее повадка (звериная), обижавшая некоторых людей: не смотрит на вас, когда разговаривает” (Колбасина-Чернова О. Марина Цветаева. — Мосты. Мюнхен, 1970, № 15, с.311).

„У нее [Цветаевой] было два взгляда и две улыбки. Один взгляд, как будто сверху — тогда она шутивно подсмеивалась. Другой взгляд — внутрь и в суть и — улыбка разгадки, улыбка мгновенно сотворенному образу” (Чирикова В. Костер Марины Цветаевой. — Новый журнал. Нью-Йорк, 1976, № 124, с.141).

Какая зелень глаз вам свойственна однако!
И тьмы подошв такой травы не изомнут.
С откоса на Оку вы глянули когда-то —
на дне Оки лежит и смотрит изумруд.

Какая зелень глаз вам свойственна однако!
Давно из-под ресниц обронен изумруд,
или у вас — ронять в Оку и в глушь оврага
есть что-то зеленой — не знаю, как зовут?

Какая зелень глаз вам свойственна однако!
Чтобы навек вселить в пространство изумруд,
вам стоило взглянуть и отвернуться: надо
спешить — уже темно, и ужинать зовут...

С замиранием сердца мы с моими спутниками приблизились к тому месту, где некогда стоял знаменитый цветаевский дом. Мы не знали, в каком это месте, никто нам сначала не мог указать, потом — указали. На этом месте ныне танцплощадка. Я опять-таки прочту стихотворение, которое опять выпадает из моих представлений о гармонии, и, видимо, в этом — урок, что если хочешь писать хорошо, не надо свирепствовать, исходи из каких-то высших побуждений.

Здесь дом стоял. Столетие назад
был день — рояль в гостиной водворили,
ввели детей, открыли окна в сад...
Здесь ныне люд — ревнитель викторины.

Ты победил. Виктория — твоя!
Вот здесь был дом, где ныне танцплощадка,
площадка-танц иль как ее ... Видна
звезда небес, как бред и опечатка

в твоём дикоязычном букваре.
Ура, что победил! Недаром злился!
И морщю лоб — при этих, в серебре,
безумных и недремлющих, из гипса.

Прости меня, чудовищный старик!
Ты победил. Тебе какое дело,
что вижу я, как дом в саду стоит
и бренное твое истлело тело.

Я говорила об очевидности бессмертия, о котором много размышляла Марина Ивановна Цветаева. Вот в раннем письме Василию Васильевичу Розанову она пишет, что не верит в Бога и поэтому не верит в загробную жизнь и так пользуется каждой минутой живой, именно сейчас данной жизни*. Потом, когда эта данная живая жизнь стала отказывать ей в том благе, на которое имела она право, она сама пишет: Будет суд, перед которым уже я буду не виновата, потому что там будут судить не по платью, не по уменью напоминать всех остальных, а только по тому, что я внутри себя имею**. Такое время как бы подошло. И вот еще где-то пишет в одном письме, Людмиле Евгеньевне Чириковой пишет: Я увидела фонари, там, во время какой-то прогулки с вами, и цепочка фонарей всегда мне напоминала бессмертие***. Сегодняшней ночью, когда душой моею, но никак не разумом готовилась я к тому, что сейчас происходит, я видела в окно цепочку фонарей вдоль Тверского бульвара. Она, к счастью, мне просто видна. И смотрела на желтую милую эту светлость и думала, опять-таки вспомнила, как некогда шли здесь две чудных девочки. Одна из них незадолго до этого позвонила, и сквозь Мерзляковский, Хлебный, Борисоглебский, сквозь всё то, где всегда жила или уютилась или торжествовала жизнь Цветаевых, сквозь всё

* „...я совсем не верю в существование Бога и загробной жизни. ...Безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить” (СС, т.6, с.120).

** „Вы верите в другой мир? Я — да. Но в грозный. Возмездия! В мир, где царствуют Умыслы. В мир, где будут судимы судьи. Это будет день моего оправдания, нет, мало: ликования! Я буду стоять и ликовать. Потому что там будут судить не по платью, которое у всех здесь лучше, чем у меня, и за которое меня в жизни так ненавидели, а по сущности, которая здесь мне и мешала заняться платьем” (СС, т.6, с.307).

*** „Жаль, что Вас нет. С Вами бы я охотно ходила — вечером, вдоль фонарей, этой уходящей и уводящей линией, которая тоже говорит о бессмертии” (СС, т.6, с.309).

это донёлся прелестный, совершенно живой и живучий голос Аси, которая вот...

Анастасия Ивановна здесь, и я надеюсь, что именно в этом месте ей будет уместно меня перебить на столько, насколько ей будет угодно. А нам остается только ликовать, что мы ее сейчас услышим.

1978

БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ

Выступление на вечере, посвященном
90-летию со дня рождения Марины Цветаевой

В сей день — потому, что: День рождения, с которым мы друг друга поздравляем, но почему во всякий день Марина Цветаева, ее имя, всё, что названо этим именем, вынуждают нас к особенному стеснению сердца, к особенной спёртости воздуха в горле? Мы, человечество, сызмальства закинувшее голову под звездопад, к шедеврам; мы, русские, уже почти двести лет, как с Пушкиным; мы, трагические баловни двадцатого века, понукаемые его опытом к Искусству; мы, имеющие столько прекрасных поэтов, — почему особенно мучкой сердца устремляемся мы в сторону Цветаевой? Что в ней, при нашем богатстве, — из ряду вон, из ряду равных ей? Может быть — особенные обстоятельства ее жизни и смерти, чрезмерные даже для поэта, даже для русского поэта? Может быть, и это, но для детской, простоватой стороны нашей сущности, для той пылко-детско-житейской стороны, с которой мы не прощаем современникам Пушкина, что именно он был ранен железом в живот, в жизнь, в низ живота — так Цветаева пишет о детском ощущении Пушкина, которое еще не мысль, но уже боль. Да, особенные обстоятельства жизни и смерти, осведомлённость в страдании, которую приходится считать исчерпывающей. Но страдание и гибель — лишь часть судьбы Цветаевой, совершенной дважды: безукоризненное исполнение жизненной трагедии и безукоризненное воплощение каждого мига этой трагедии, ставшее драгоценной добычей нашего знания и существования. В этой прибыли нет изъянов, она загадочно абсолютна, и в этом смысле судьба Цветаевой — одна из счастливейших в русской словесности. Сам по себе образ рока более вял, чем образ Цветаевой, она была

Белла Ахмадулина

вождь своей судьбы, воинство ее ума и духа следовало за этим вождём, охраняя не поэта, а его дар — свыше — нам, всё то, что, упустив его жизнь, мы от него получили.

Поэт особенным образом любит жизнь и имеет для того особенные причины. Поэт сказал: сестра моя жизнь. На что Цветаева не замедлила восхищенно отозваться: „Сестра моя Жизнь, так люди — жизни не зовут”. Кто же те, единственно имеющие право называть ногу ножкой, а жизнь сестрою? И что делает эта сестра специально для них?

Жизнь благосклонна к поэтам совсем в другом смысле, чем к людям — не-поэтам, словно она знает краткость, возможную краткость отпущенных им дней, возможное сиротство их детей, все терзания, которые могут выпасть им на долю. И за это она так сверкает, сияет, пахнет, одаряет, принимает перед ними позу такой красоты, которую никто другой не может увидеть. И вот эту-то жизнь, столь поэту заметную и столь им любимую, по какому-то тайному уговору с чем-то высшим, по какому-то честному слову полагается быть готовым в какой-то, словно уже знакомый, момент отдать — получается, что отдать всё-таки за других. Взыщут или нет — но поэт к этому нечаянно готов. За то, что мы называем Божьей милостью, — страшно подумать, какая за это немилость всех других обстоятельств. Трудное совпадение того и другого поэт принимает за единственную выгоду и благодать. Спросим Цветаеву, что он за всё это имеет? Она скажет, при этом скажет задолго до крайней крайности, до смертного часа: „...ни с теми, ни с этими, ни с третьими, ни с сотыми, и не только с „политиками”, а я и с писателями — *не*, ни с кем, одна, всю жизнь, без книг, без читателей, без друзей, — без круга, без среды, без всякой защиты, причастности, хуже, чем собака, а зато — А за то — всё”. Прибавим к перечисленному то, что мы знаем о конце ее дней, и мы поймем, какой ценой дается ВСЁ. Но, если про прочих нас скажут: всё то, что им дано, про Цветаеву скажут: то ВСЁ, что дано Цветаевой. И: всё то, что отдали они, и то ВСЁ, что отдала Цветаева.

Вскользь упомянем, что она и житейски — даритель, раздаватель, заступник (за Маяковского, за Мандельштама, за Германию: профиль Гёте над тысячелетьями).

Торжественно вспомним, что Иван Владимирович Цветаев отдал жизнь на принадлежащий нам Музей. Народу отданы две цветаевских библиотеки. Но главное не менее Музея — всё то, что мы ненасытно брали и берём, что будем всегда брать у Цветаевой, от Цветаевой на тех необременительных для нас условиях, что она отдала нам ВСЁ...

1982

ПОЭЗИЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО

К 80-летию со дня рождения Галактиона Табидзе

О, друзья, лишь поэзия — прежде, чем вы,
прежде времени, прежде меня самого,
прежде первой любви, прежде первой травы,
прежде первого снега и прежде всего...

Так — приблизительно так, ведь это всего лишь перевод — сказал он в ту прекрасную пору жизни, когда душа художника испытывает молодость и зрелость как одно состояние, пользуется преимуществами двух возрастов как единым благом: равновесием между трепетом и дисциплиной, вдохновением и мастерством. В мире свершились великие перемены, настоящее время ощущалось не как длительность, а как порыв ветра на углу между прошлым и будущим. Энергия этого ветра развевала знамёна, холодила щёки, предопределяла суть и форму стихов. Он был возбуждён, зачарован. Он ликовал. К этому времени он пережил и написал многое.

Светает! И огненный шар
раскаленный встает из-за моря...
Скорее — знамёна!
Возжаждала воли душа
и, раннею ранью, отвесной тропею,
раненой ланью спеша,
летит к водопою...
Терпеть ей осталось немного.
Скорее — знамёна!
Слава тебе, мýку принявший
и павший в сражении витязь!

Клич твой над нами витает:
— Идите за мною, за мною!
Светает!
Сомкнитесь, сомкнитесь, сомкнитесь!
Знамёна, знамёна...
Скорее — знамёна!

(1917)

Еще в двенадцатом году было написано и с тех пор пребывает в классике грузинской поэзии и всей поэзии стихотворение „Я и ночь”. „В классике” — звучит величественно и отчужденно, словно вне нас, в отторженном бессмертии, в торжественном „нигде”, так звучит, а значит — именно „езде”, в достоверной материи пространства, в живой плоти людей. Ночь — время и место поэтического действия, предмет созерцания и сама соглядатай, ночь — образ мироздания, вплотную подведенный к зрению и слуху. Я — и ночь, я — и мерцающая Вселенная, и неутолимая му́ка, творящаяся между нами, — суть моего ремесла, от которого нет отдыха и защиты. Можно сказать так, но это совсем не похоже на волшебство, ускользающее от иноязычного исследователя этого стихотворения. Попробую сказать по-другому:

Только ночь — очевидец
невидимой му́ки моей,
И мое тайнословье —
всеведущей — ведомо ей.

Почти точно, но какая пустая бездна несоответствия вмещается в это „почти”! Но он сказал: „Я и ночь”, раз навсегда присвоив ночь себе и предав себя ей, станемте искать его в ночи, павшей на тбилисские улицы, дворы и закоулки.

В пятнадцатом году — „Мери”. Бедная, счастливая, неверная, прекрасная Мери! Все уста, открытые для грузинской речи, вовеки будут повторять ее имя, и всё потому, что с другим, с другим венчалась она в ненастную ночь, не оста-

вив поэту никакого утешения, кроме его собственных стихов, да Шекспира, который один мог соответствовать этой скорби.

Ночь, Мери, Знамёна. Ранящий мир, любовь, события истории воспринимаются и воспроизводятся им с равным пристрастием сердца, единственным ведомым ему способом.

Наши души белеют белее, чем снег.
Занимается день у окна моего.
И приходит поэзия — прежде, чем свет,
прежде Свети-Цховели и прежде всего.

Так написал он, когда был еще молод и уже достаточно многоопытен, чтобы сформулировать свою главную страсть и доблесть и вынести ее в заглавие личности, своей судьбы, драгоценных для Грузии и общей культуры людей. Нет ли в этой формуле профессиональной замкнутости, усечённости? Видимо, нет. Ведь, когда он писал это, его звали: Галактион Табидзе, а вскоре стали звать и теперь зовут: Галактион, и только, потому что на его земле его имя не требует уточнения, он — единственный. И я счастлива, что неисчислимо много раз я видела, как действует это имя на самых разных жителей Грузии, каким выражением света и многознания отзываются их лица на заветный пароль этого имени. Счастлива, что вообще на свете бывает такая любовь всех, действительно всех людей к своему поэту, к своей поэзии. Только об этой любви и хотела я повести речь, чтобы вовлечь, заманить в нее новых пленников, как меня когда-то вовлекли и заманили добрые люди — а потом уже сам Галактион, когда душа была возделана, готова и открыта для любви. Все мы знаем, что многие творения великих грузинских поэтов блестяще переводились на русский язык, но это не вполне относится к Галактиону Табидзе, чья хрупкая и прихотливая музыка легко разрушается даже от бережного прикосновения, — в чём тут дело, я не берусь судить. Иногда кажется, что сами сти-

хи его одушевленно упорствуют в непреклонном желании остаться в естественной и неприкосновенной гармонии родного языка, не хотят нести неизбежного убытка.

Пристальное чтение станет легче и благодатней для нас, если мы предположим ему предысторию заведомой нежности к поэту, к его мятежному и сложному нраву, к его обширному, не простому, многообразному творчеству, столь дорогому для тех, кто говорит с ним на одном языке. А уж в этом надо верить им на слово.

Так я поверила Вам, батано Сандро, старый кахетинский крестьянин, чьи руки можно читать как книгу о щедрой земле, о долгом труде. Спасибо Вам, что Вы позвали нас в дом лишь за ту заслугу, что мы были путники, бредшие мимо, что луна вставала над виноградником, что стихи Галактиона, сложные для некоторых специально учёных людей, для Вас были вовсе просты.

Вы, пекари из райской преисподней, где всю ночь сотворяется хлеб, мне жаль, что мой перевод „Мери” много несовершенней горячего хлеба, вознаградившего меня за этот труд.

Вы, несравненный Ладо Гудиашвили, как я люблю Ваш дом — я только в последний раз заметила, как он красив сам по себе, прежде я всё не замечала, что вообще есть дом, — всё смотрела, как Вы похаживаете возле Ваших дивных полотен, застенчиво объясняя их названия и смысл, ободряя родительским взором соцветья и созвездья красок. Ваша память и Ваше искусство многое знают о Галактионе.

А Вас мне не сыскать, ночной сторож, мы грелись возле Вашего костра. Вы не раз видели Галактиона, он бродил по этим улицам, ему было легко и просто говорить — Вы сказали: „Говорить со мной, с такими, как я”. Таких, как Вы, я не встречала больше, но и другие люди рассказывали похожие истории...

И вот, всех упомянутых и всех неупомянутых людей я поздравляю с лучшей радостью, с днём рождения великого поэта, чья жизнь всё будет длиться и расти, и смерти его не останется вовсе — останутся рождение и стихи.

Что же, город мой милый, на ласку ты скуп?
Лишь последнего жду я венка твоего.
И уже заклинанья срываются с губ:
Жизнь, и смерть, и поэзия — прежде всего.

1973

ЖИЗНЬ ТИЦИАНА ДЛИТСЯ...

Выступление на вечере памяти Т.Табидзе

Человек, написавший в стихах о том, что он не слагает стихи, не пишет их, а сам написан ими, как всегда, сказал правду. Тициан Табидзе действительно являет собою измышление поэзии, ее шедевр, в гармонии объединяющий все достоинства без единого изъяна. Он отчётливо и прекрасно нарисован нам в белом пространстве. Нам предъявлена красота его черт, его доброта, его неувядаемая гвоздика в петлице и роза на устах, которые никогда не открывались для тщеты, для хулы или для вздора. Этот человек словно желает показать нам, каков должен быть и каков есть поэт в человечестве. Он лишает нас раздумий о совместимости гения и злодейства, он убеждает нас в том, что гений есть великодушные, благородство, доброта.

Сегодня много раз упоминалось драгоценное имя Бориса Пастернака, и вновь душа возвращается к нему, потому что встреча двух этих людей, замечательных не только потому, что речь России и речь Грузии вновь с нежностью и силой объединились, но потому, что их жизнь, их торжественная и доблестная дружба оставляют нам на память о человечестве, о нашей принадлежности к человеческому роду, замечательный документ, который говорит о том, что люди всё-таки прекрасны и не следует винить их в жестокости, а, наоборот, нужно дивиться их мужеству, долготерпению и умению спасать друг друга.

Переписка Нины Табидзе и Пастернака останется для грядущих поколений как свидетельство величайшего напряжения человеческой нравственности, человеческого ума. Меж бездной и бездной в мироздании дует сквозняк и задувает то одну, то другую свечу. Наташа Пастернак, дорогая, вот здесь внук Тициана, вот внуки Бориса Леонидовича

Белла Ахмадулина

Пастернака, чьи таинственные прекрасные лица обещают нам, что эта свеча не задута, что свет ее будет длиться во времени. Может быть, в чьей-нибудь бедной и скудной жизни бывает так, что смерть является самым существенным событием в судьбе человека. У поэта — не то. Он тратит мгновение на краткую последнюю муку и потом становится вечным приливом к нашему уму, способствующим нашему спасению. Жизнь Тициана длится в его внуках, длится в неиссякаемых гвоздиках в цветниках человечества, длится в каждом из нас, кто расположен к добру, расположен к поэзии. Два этих дома обласкают еще многих: дом Тициана в Тбилиси — все мы еще раз увидим картины Пиросмани, пианино, подаренное когда-то Борисом Пастернаком, и дом в Переделкине — тоже будет обязывать нас к доблести духа.

Я прочту два стихотворения — одно Тициана Табидзе — „Маш гамарджвеба” по-грузински, — „Итак, да здравствует”:

Брат мой, для пенья пришли, не для распрей,
для преклоненья колен пред землёю,
для восклицанья:
— Прекрасная, здравствуй,
жизнь моя, ты обожаема мною!

Кто там в Мухрани насытил марани
алою влагой?

Кем солнце ведóмо,
чтоб в осиянных долинах Арагви
зрела и близилась алавердоба?

Кто-то другой и умрёт, не заметив,
смертью займется, как будничным делом...
О, что мне делать с величием этим
гор, обращающих карликов в дэвов?

Господи, слишком велик виноградник!
Проще в постылой чужбине скитаться,
чем этой родины невероятной
видеть красу и от слёз удержаться.

Где еще Грузия — Грузии кроме?
Край мой, ты прелесть
и крайняя крайность!
Что понукает движение крови
в жилах, как ты, моя жизнь, моя радость?

Если рождён я — рождён не на время,
а навсегда, обожатель и раб твой.
Смерть я снесу, и бессмертия бремя
не утомит меня... Жизнь моя, здравствуй!

И второе — мое:

Сны о Грузии — вот радость!
И под утро так чиста
виноградная сладость,
осенившая уста.

Ни о чём я не жалею,
ничего я не хочу —
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.

Малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.

Пусть всегда мне будут в новость
и колдуют надо мной
милой родины суровость,
нежность родины чужой.

Что же, дважды будем живы —
двух невероятных стран
речь и речь нерасторжимы,
как Борис и Тициан.



*Белла
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 3

СТАТЬИ
И ВЫСТУПЛЕНИЯ

Стихотворение, подлежащее переводу, проживает сложную, трёхкратную жизнь. Оно полнокровно существует на родном языке и потом как будто умирает в подстрочнике. Лишенное прежней стройности и музыки, оно кажется немым, бездыханным. И это — самый опасный, самый тревожный момент в судьбе стихотворения. Как поступит с ним переводчик? Сумеет ли он воскресить его, даровать ему новую жизнь, не менее щедрую и звучную, или так и оставит его неодошевлённым?

Мне всегда казалось, что в подстрочном переводе есть что-то обнаженное, незащитное. Он — как дитя, оставленное без родительского присмотра. Теперь от переводчика, человека постороннего, зависит: усыновить ли это дитя, вдохнуть ли в него всю свою нежность и заботу, или так и оставить его убогой сиротой в чужом языке.

Поэтому я думаю, что перевод — это проявление огромного доверия двух поэтов, где один из них приобщает другого к своей сокровенной тайне. И тому, другому, нужно иметь много деликатности, проницательности и фантазии, чтобы по контурам подстрочника восстановить действительный облик стихотворения, подобно тому, как учёный восстанавливает по черепу черты прекрасного древнего лица.

Вероятно, смысл перевода сводится к одному — переведённое стихотворение должно стать не смутным намёком на его первоначальные достоинства, а полноправным участником другой поэзии, праздником другого языка.

Но всё это — очевидно, и спор возникает только вокруг пределов точности, не установленных до сих пор.

Мне хотелось бы сослаться на свою работу над переводами грузинских поэтов — не потому, что я считаю ее поучительным примером, а просто потому, что в ней я осведомлена больше, чем в какой-либо другой, может быть, более удачной.

Должна признаться, что я никогда не старалась соблюдать внешние приметы стихотворения: размер, способ рифмовки — исходя при этом из той истины, что законы звучания на всех языках различны. Полная любви и участия к доверенным мне стихам, я желала им только одного — чтобы они стали современными русскими стихами, близкими современному русскому читателю.

Пытаясь сохранить нежную, сбивчивую, трепетную речь Анны Каландадзе, прекрасную странность ее оборотов, я часто прибегала к свободным, необременительным размерам. Я брала за основу стро́ки подлинника, цельность которых не имела права нарушить: „О, есть что-то, безмерно заставляющее задуматься...”, „Я слечу на твои синие ветки, сирень...” — и приспособливала к ним всё стихотворение. Кроме того, этим замедленным ритмом мне хотелось подчеркнуть задумчивость, сердечную рассеянность поэтессы, необыкновенную привольность ее души. И напротив, напряжение острого чувства, патриотического, любовного, я пробовала передать короткой, напористой строкой, отчетливыми рифмами.

Я точно повторяла вслед за Каландадзе все географические названия в их подборе — тоже качество ее поэтического характера, ее страстная привязанность к Грузии.

Иногда, увлекаясь стихотворением, я позволяла себе некоторую свободу — но для того только, чтобы компенсировать потери, обязательные при переводе на другой язык.

Для грузинского читателя не секрет, что в прекрасном стихотворении Симона Чиковани „По пути в Сванетию” нет строк, впоследствии появившихся в переводе: „Теперь и сам я думаю — ужели по той дороге, странник и чужак, я проходил...” Но не думаю, чтобы этим определением — „странник и чужак”, выбранным по собственной воле, я обманула русского читателя — я хотела еще раз напомнить ему о том, как причудлив, капризен внутренний мир этого поэта.

Мне пришлось несколько упростить стихотворение „Девять дубов”, чтобы сделать его доступным русскому воображению, не испытывающему благоговения перед таинственной цифрой девять, плохо осведомлённому в повадках дэвов.

Чтобы читатель не был строг к замысловатым образам стихотворения, не спрашивал с них строгой реальности, я ввела в конце строки, намекающие на восточную сказочность, на волшебство, открытое поэту: „В глаза чудес, исполненные света, всю жизнь смотрел я, не устав смотреть”.

Я думаю, что иногда переводчик волен опустить те или иные детали, имея в виду не только разницу языков, но и разницу в поэтической психологии, в кругу образов различных народов.

В стихотворении Чиковани „Задуманное поведай облакам” есть строки: „Красотой своей ты наполнила кисеты моей души...” Полностью доверяя поэту, мне очень дорогому, я ни минуты не сомневалась, что по-грузински этот образ поэтичен и закономерен. Но в дословном переводе на русский язык он звучит грубо, почти вульгарно, и я попыталась обойтись без него, тем более, что очарование женщины и чувство поэта и так были очевидны.

Таким образом, автору угрожают две опасности со стороны переводчика, две свободы: преувеличение или преуменьшение. Мне кажется, в интересах стихотворения и то и другое в какой-то мере допустимо. И вряд ли удастся точно установить, математически вычислить — в какой именно мере. Вероятно, определить это может только сам поэт, в одном случае поступая так, в другом — иначе. Достоверным кажется мне только одно — свобода переводчика возможна до тех пор, пока она не наносит ущерба свободе автора. *При переводе должны оставаться неприкосновенными весь внутренний мир поэта, лад его мышления и существенные конкретные детали поэтического материала.* Так, было бы грешно, да и не нужно, изменить эти, например, точные строки Чиковани: „А после — шаль висела у огня...”, „Колени я укрепил ходьбою...”, „Изогнутою, около Двуречья тебя увидеть захотел я вдруг...” В них и поэтическая мысль, и за-

ведомое русское звучание настолько полноценны, что нет нужды их переиначивать. Это тот случай, когда грузинская грамматика обогащает русский текст. Я надеюсь, что стихотворение „Олени в гумне” обладает самостоятельным русским звучанием, и всё же, конечно, это совершенно грузинское стихотворение — не только из-за отражённой в нём географии, но и из-за такого, например, странного на первый взгляд, прекрасного грузинского образного поворота: „И вдруг, подобная фазану, невеста вышла на крыльцо...” И, наверно, переводчик должен быть очень бережен к этим проявлениям щедрого национального своеобразия.

Невольно присоединившись к дискуссии, я, кажется, не возразила ни той, ни другой стороне. Я просто хотела поделиться с товарищами по делу перевода некоторыми соображениями и подтвердить мою благодарность, мое глубокое пристрастие к грузинской поэзии, давшей мне много радости.

1960

Декабрь 1961

Прекрасные книги повышают наш интерес к собственной личности.

Я прочла Пруста с таким же нежным волнением, с каким обыватель читает медицинский справочник, — нечистые и родимые органы его тела откликаются на отвлеченные латинские имена и сам он, до этого такой одинокий в своих бесславных недугах, вдруг ощущает себя значительным и полноправным участником великого нездоровья человечества.

Пруст — проникновенен, как Павлов. Его доверие к одарённости действующего организма беспредельно. Он допускает самые смелые психологические преувеличения, зная, что им не дано выйти за пределы возможных причуд человеческой природы.

Витиеватую, отвлекающую, далеко идущую фразу Пруста где-то накануне точки настигает медицинская определённость. В ней есть поверхностное сияние и режущая руку грубость дорогого камня.

Художественное учение Пруста о странности духа, причудливое, усложнённое, почти нереальное, может подписывать анатомические таблицы, где в вяло-красном срезе обнажено голубое, могучее, опасно разросшееся, направленное к миру, роскошное разветвление человеческих нервов.

Наше скучное здоровье само не знает своих полномочий, довольствуясь скромной выгодой зрительных, слуховых, прочих и моральных впечатлений. Пруст ухитрялся использовать нечто большее, чем нервы, выведенные на

поверхность, когда плечом видел бабушку, слухом любил мадемуазель Стермариа, испытывал сложность чувств к лестнице в доме Сванов, входил в многозначительные отношения с малым цветком в Комбре, различал цветовые качества запахов.

С той же убедительностью гимнаст показывает нам, какая гибкость, какие чудеса спят неразбуженные в нашем ленивом, бессмысленно увядшем теле.

Пруст, хоть и в другом смысле, а всё ж дал нам знать, что за чудо, за странность был бы наш организм, если б мы не гнушались его возможностями — потенциально мы все на основе дивного сочетания рук, ног, головы и внутренних органов могли быть фокусниками, гипнотизёрами, провидцами, гениями и, на худой конец, просто приличными людьми.

1962

<...> Великие писатели часто предоставляют девушкам и поверхностным пошлякам средство приобщиться к культуре — какой-нибудь очевидно прекрасной, но лёгкой книгой, не затрудняющей ум и не требующей строгого вкуса, — Бунин „Митиной любовью”, Гамсун „Викторией”.

Вульгарно-декадентские любители Гамсуна говорят о нём с таким божественным и осторожным лицом, словно дышат вокруг одуванчика, — дурной нравственный тон подсказывает им искать в Гамсуне романтического, бесплотного, печального утешения в низкой и прямой жизни. Между тем Гамсун неуязвим в своей материальности, чужд какой бы то ни было духовной абстракции. Чистые, странные облака его таинственной, любовной речи точно знают, над каким безобразием они проплывают. Всё это выработано серьёзным и практическим умом, вовлечённым в сюжет житейских странствий, умудрённым соблазном всех человеческих ремёсел, обострённым грубым голодом, подтверждённым бесстыдством физиологии.

Гамсуну доставало селиновской, грустно-цинической прозорливости к миру, но нежность, заключённая в его личности, была так велика, что выкликала ангелов в аду алч-

ности и жестокости, наделяла их вечной му́кой недоговоро́нности, в странные позы ставила их, и девочка являлась ему с голубыми крылышками озябших рук, ставившая носки то внутрь, то в стороны, и этого достаточно было, чтобы плакать от счастья над загадочным и прекрасным миром. Нет другого грубого реализма, кроме необъяснимой тайны вечного несовпадения обстоятельств, губельного для людей.

Еще не читая Гамсуна, я говорила о „странности” как о термине, называющем непременный приём искусства. Почему именно „козерог” в „Русе” Бунина? Почему слепцы за самоварной трубой — у Нагибина? Почему „человечек с головой”, откуда это?

В Гамсуне — всё так. Почему именно слово „Кубоа” изобрёл герой „Голода”, почему он назвал ее „Илаяли”, почему выдумал И.А. Гипполати агента и его брата моряка? Почему вся эта путаница, любовь, молчание и разлука между людьми?

Вечный бред свистит в гениальной голове человечества, дикая, несообразная с логикой мысль приходит ему на ум, и в ней-то оказывается как раз единственная железная прочность. Только безумная фантазия приводит искусство и ошалевшие современные науки к детски-простой истине.

У Пруста, у Гамсуна — болезненное своеобразие облика, безумие, восполняющее недостатки разума, кривизна действий, громоздкость ассоциаций, учетверённость самых лёгких ощущений — и всё затем, чтобы человеческая личность восстала во всей своей здоровой полноценности и глубокой нормальности.

Мы-то воистину сложны и таинственны в нашем отклонении от естественных норм чувствительности. Я как-то шутя сказала, что всё это и сам Ганс Гейнс Эверс с его мрачными немецкими извращениями — меркнет перед больным, далеким, опасным, словно из пещер идущим взглядом Лазаря, пишущего повесть об агитаторе. (Так у горбуна есть преимущество сложности перед человеком с прямым позвоночником.)

Кто чем, а я — тесным избытком кишок в животе, несвежестью лёгких, поросших никотином, острым присутствием плохого зуба под языком, всей нечистой совокупностью явных и грядущих недугов, которая есть организм, — вот чем я писала стихи.

Где она, эта блаженная трель, полечка в гортани, пушкинская лёгкость: „Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса...”? Я всегда с ума сходила от зависти к этим Ижорам и особенно к слову „вспомнил” — ах, какое счастье, наглость голого ребёнка, какое нетрудное — пожалуйста, сколько угодно! — великое тра-ля-ля гóлоса. (Знаю я это тра-ля-ля, когда — не правда ли, Марина Ивановна, — африканская загнанность в угол, затыканность пальцами и смерть от раны в низ живота входят в пустяковый труд песенки.)

Есть, ходить, разговаривать — нормальный и здоровый максимум человеческих действий. Искусство — превышение возможностей, непосильное утруждение тела. Уже от крылышек балерин пахнет потом. Что говорить о поэзии — наиболее диковинном и противоестественном насилии над слабой внутренностью человека. Вдохновение — вдох без выдоха, духота, утрата духовности, напряженное осознание всего, из чего состоишь, втиснутость в собственную утробу, потому, что сейчас тебе нет помощи извне, только ты — мозг, желудок, печень, аппендикс, закрученные в один родительский мускул, — твое единственное средство совершить нечто. Желание творчества — это не жадность обрести что-то, чего не хватает, а вынужденное безвыходностью стремление организма освободиться от смертельно-лишнего. По грубости самочувствия и неприглядности горловых усилий это скорее тошнота, чем пение.

Недаром самих поэтов никто никогда не любил. (Так анатомическим таблицам не прощают их нескромную кровавость: я чистый, белый, розовый, прилично обтянутый кожей, а он — фу, чудовище, — красно-синий, бесстыжий, чужой урод.)

К поэзии, я думаю, никто не призван. Она гениям и прочим одинаково трудна. Только — гении, с чудовищным

трудом, могут, а прочие, с чудовищным трудом, не могут преодолевать ее сопротивление человеку.

30 мая 1979

Девятнадцать лет прошло, а если с начала отсчитывать, — круглое двадцатилетие.

Но, может быть, лишь из нынешнего времени год его премии и травли видится кратким, предопределённо последним: зрение притерпелось измерять его протяжённостью прямого взгляда из окна кабинета на трёхвершинное надгробье, с кладбищенского холма — на дом или на зелень, заслоняющую дом.

С вялой исторической пристальностью вспоминаю всё и себя двадцатилетней давности.

Во мне — тогда и ныне — пожалуй, одно лишь важно и крупно: ненадобность и невозможность решать и выбирать. Поступки (в их числе — видимая бездеятельность со скрытым жгучим сюжетом) извне предрешены и выбраны. Я не достигала того, что получала, и не было моей заслугой первое посвящение ему. Я не осуждала недолгих колебаний двух его юных отступников, моих сподвижников по детской опале. Я знала (наверное — не вполне) их запуганность и запутанность охранкой, твердо обещанное им выдворение из Москвы в сиротство родной глухомани, в армию без рифм и рассуждений и знала, что только их Б.Л., сиявший им и одарявший их, спасёт их от этого.

Но их мелкая жизнь и смерть, и ничтожная общая подлость, хоть и относятся к величию времени, — что значат они в сравнении с мыслью: ему тогда еще год оставался, весь потраченный на жизнь. И мне еще предстояло его увидеть.

До этой, описанной, встречи, ранней чуждой осенью 1959 года, словно не увядающей, а оранжево цветущей, в комнату (тогда № 13) Дома творчества, где я жила не по чину и не по праву, вставилось вдруг круглоглазое лицо доброго Гриши Куренева: „Иди! Там твой кумир звонит по телефону!”

Как рванулось вспугнутое сердце! — но так и сидела, поймав руками шум его крыл.

То тридцатое мая: нежный ландышевый зной, моя занятость молодостью, цитрусовым здоровьем, радостью от белого и голубого наряда. Встреченный В.Ф., не достаточный для события и вести, искажённый и увеличенный огромной бледностью: „Едешь в Переделкино?”

Первое слепое ощущение — не горя, а перемещения выше, выше, в ледяное пустое поднебесье, в торжественный блеск и звон.

И лишь позже — дом, кабинет, Лёня, Стасик, их любовь ко мне, так мною любимая, но и горько чрезмерная: какая же скудость выдвинула меня оберегать ладонями иссякающую свечу.

И вот — сияющий, простёртый к душе, всё имеющий и о чём-то умоляющий день, движение воздуха из окна в окно, из Хлебного переулка — на Поварскую, всегда причиняющую любовь, память и грусть.

На кладбище, как обычно в этот день, теснятся благородные и прочие паломники.

Ужасное чтение бедного и доблестного безумца, иступлённо преданного службе могиле и имени.

От безвыходной неловкости доброго чувства и невыносимости на прощанье целую его в потоки пота.

Потом, когда нежно смеркается, месяц восходит, и темнеет, сидим у нас на террасе с Ольгой Всеволодовой, с гостями, с милыми сподвижниками по последней тягучей опале.

И всё это — такое бедное, бедное.

Коренастая Люся, как приятельница и confidentка Б.Л., уверяет меня в его особенных обо мне словах и мыслях. Но я не присваиваю этого лестного сведения. Людям тягостно быть современниками просто безобразия, и мною часто заполняют неуютно зияющую пустоту.

Июнь

Жаль иссякшего мая — чудный был.

Отрадный скоропалительный зной наспех распушил и осыпал черемуху, настигнутую быстротечной сиренью, и ландыши были так мимолётны.

Белла Ахмадулина

Краткая жизнь этих задушевных цветов в этом году внушала особенную грусть.

Еще при черемухе, а ее судьба ныне в три дня уложилась, — понимая важность безукоризненного мгновения, а это и есть единственное достижимое счастье, я шла по дороге, часто оглядываясь на кладбище, на круглый блеск куполов, на плавные сонмы белых соцветий.

Думала: дам себе ветку из его сада. Так хотелось этой ветки, ее снотворного, далеко уводящего запаха, который всё мы, наивные люди, принимаем за готовое вдохновение, за сильную мысль. Но его избыток, быстро заполняющий ум своим содержанием, почти всегда остается не нашим творением, имеет независимую, дикую, неприрученную волю.

Сколько бедных жертв нашли себе нетщеславные знаменитые искушители: черемуха, соловей, луна, море, любовь, родина, чье сильное воздействие простодушный обожатель приравнивает к собственному деянию.

Как часто — без охоты, уныло, но непреклонно — говорила я это вялым певцам луны или любви, влияющих на них не менее, чем на Пушкина. Справедливо уверенные в совершенстве воспеваемого предмета, с гневом и отчуждением смотрели они на меня, как будто я к луне или любви придираюсь. Вот и третьего дня так смотрел на меня мальчик, принесший белые гвоздики, о чём наверняка потом сожалел. (Он, кстати, чуть не совпал на пороге с дородным весельчаком с красными и розовыми гвоздиками: „Ну, здравствуйте, Белла Ахматовна! Чайников Анатолий, будем знакомы... Да Вы попроще будьте: двадцатый век, свобода, равенство и братство”. — „Вот я Вам и говорю свободно: не желаю быть в знакомстве, не принимаю”. — Гвоздики, однако, хищно взяла.)

Не отозваться доступному обаянию черемухи — не менее редкий дар, чем: „Когда б вы знали, из какого сора... одуванчик... лопухи... лебеда”.

Кажется, великие поэты чаще выбирали скромные земные произрастания, эпитетом возмещая им скромность блеска и запаха, прочие — благоговели перед магнолиями, олеандрами и эдельвейсами, подобострастно принимая их имена за титул, а титул — за образ.

Художник — нечаянный соперник творящей природы. Сказать: „яркий голос соловья” — это не меньше трели, это — дерзость содеять и послать ладонью в пространство вторую составляющуюся птицу. Это не отображение, а умножение действительности, что, наверно, не кротко, не праведно и, судя по второму, трагическому, значению Божьей милости, — нельзя. Мне, кстати, всегда невежественно казалось, что пристальная забота Бога, которую я, может быть, с преувеличением, так ощущаю, это и есть его влюбленная немилость: убавил дара, прибавил ясных дней.

И Цветаева знала это соотношение: „Но за это... за это — всё”. Непреложной этой формулы ни одному хитрецу не дано обмануть.

У Блока, у Пастернака, у Цветаевой, у Ахматовой — начало жизни было столь полно, правильно, здорово, прекрасно, его было достаточно для счастья всей судьбы и для совершенной прочности дара: ко времени роковых испытаний всё уже было готово, поступиться и ухудшиться уже было невозможно.

Детства Набокова достало бы для исцеления всех нас, сырых и диких уродцев, от плебейства, косноязычия, отсутствия родителей, родины, необходимой предыстории. Это так просто — и этого не будет.

Я присвоила, усвоила это великое детство, но возымела му́ку непрестанно тосковать по нём.

Да, робко взяла себе хилую, словно лишнюю у дерева, ветку черемухи.

Бедный старый дом, где вживе лишь печаль, в медовом забытьи мягкого солнцепёка и мощной кроткой зелени, казался довольным и живым.

Ничто не причиняло боли! — она и на зов не откликлась.

Вдруг из высокой травы и откуда ни возмись явились маленькие неизвестные дети: два лепечущих создания, побольше и поменьше, в локонах, по-старинному пригожие.

Длинное мгновение... снимок в альбоме, расцветший в сновидение: маленький Б.Л. с братом.

(Возле Тарусы, одиноко гуляя, увидела двух девочек: оборачивались и уходили, оборачивались и уходили. Муся и Ася).

Дети приблизились и наяву оставались прелестны (гостят у Евгения Борисовича). — А вот незабудка! А вот Божья коровка! — И впрямь, и впрямь, мои милые. Всё же — пойду.

Душа была так велика и покойна и не умела вытерпеть непосильной благодати. Посему я пошла в бар. Тем бедным способом, которым некоторые люди горе забывают, я его — добываю. Худшее в нём — страх перед бумагой, брезгливое недоверие к своей способности: содеять.

А черемуха — долго и робко жила в доме, всё посылая свой привет и укор.

Вспомнила, как некогда, зимою, мы с Павлом Григорьевичем приехали в Переделкино на кладбище. Скользя, оступаясь, то и дело теряя палку П.Г., добрались до могилы. Смерклось, снег понёсся вкривь и вкось. „Борис! Борис!“ — закричал П.Г., и я подивилась силе и честности его тоски и мученья. Мы остереглись спускаться напрямик и стали плутать в темноте и метели, попадая в тупики стеснённых могильных оград.

Как метались под небом с тучами и луной, всегда равным пространной и неопределённой мысли о Пушкине.

Павел! Павел!

День рождения Пушкина

Людоедские посвящения чудному ребёнку в распахнутом батисте.

Недавно (10 февраля, в День его смерти и рождения Б.П.) на Мойке я не смогла без открытых слёз снести весть о его гибели. Терпела горе и с радостью удивлялась его полноте, свежести и силе. И поминальное вино беспомощно обтекало внутри-телесное жгучее страдание, хоть редко-любовно и возвышенно сообщались люди, улучшенные и украшенные силой мгновения.

И вот радуюсь, что он — родился.

Но что в нём тем, кому он так обратен и враждебен? Врут, должно быть, как всегда.

Занимающий так много души и жизни, он — утешитель в частых и горьких мыслях о смерти, столь ему ведомых: всё же его смерть — печальней своей. И потом ведь это там — где он.

8 июня

Сто лет назад: 8 июня 1879 года — Эдмон Гонкур завтракает вдвоём с Флобером, который говорит, что его дела в порядке.

А в пять часов появляется Золя в светлых брюках.

Это я с вниманием и грустью почитываю дневник братьев Гонкур, любуясь их умом и точным вкусом.

Радуюсь (вчуже) живым проявлениям безукоризненно знаменитых людей, но совершенно мил и родим — лишь Тургенев.

С началом усмешки читаю, как Эдмон Гонкур расплакался над предсмертным письмом своего героя. Но не выходит усмехнуться, и влажнеют глаза: бедные, бедные художники.

Идём с детьми в Переделкино за подарками (завтра у Лизы день рождения).

Чудный цветущий тихий день. Счастливые дети наперегонки собирают для меня цветы.

И, как всегда, из всего, что можно принять за счастье, получается — грусть.

Так, золотясь, течет и утекает июнь. Я медленно существую, пристально вглядываясь в прелестные черты лета, не пытаюсь воспеть его благодать и печаль.

История с Альманахом как-то не очень занимает меня: возможная кара или помилование — одинаково скушны и безнадежны, тем более, что мое поведение предопределено и обдумывать его не приходится.

Вдруг присланные Гией экземпляры книги не приносят мне радости.

Мои литературные товарищи несомненно возглавляют это бедное время, но нет у меня Гонкуровского прилежания описывать наши частые обеды и ужины.

Во мне совершенно ослепло ощущение грядущего времени.

Много, подряд, читала и думала о Блоке, о тайне его трагедии.

Всякое многознание о нём (например, В.Н. Орлова) — всё же скудно. Сила его жизни — открыта, но замкнутость неодолима и сурово охраняет себя от докучливых посягательств.

Множество чужеземцев: развлекаю, ублажаю и скучаю до зевотной дрёмы.

Выпроставшись из очередной суеты, принимаюсь, как за важное дело, за созерцание этого лета, столь сильного, полного и не воспетого (начну что-нибудь — и брошу).

5 июля

Дождь.

Сегодня хоронят, уже похоронили Ларису и ее пятерых несчастных товарищей.

Написала — и ничто не прояснилось. Только доблестно и победно живой понимаю ее. Мы неграмотны прочесть беззащитность людей, внушающих уважение прежде, чем нежность, веру в них, а не страх за них — не потому ли в крайний миг не спасены они чьей-то молитвой?

Еще до стены дождя, вплотную к телу и воле, сильные заросли неведомых мне обстоятельств не пускают меня ехать и отяжелевшее сердце само вершит одинокую заупокойную службу.

9 и 10 июля —
в Ленинграде

Едва вышла из поезда — радость, радость.

Пока ждали такси, покупала себе цветы, особенно воз-

любив белые крупные колокольчики, приписав им какое-то не расхожее, ленинградское, влажное и нежное выражение.

Из окна гостиницы — ширина Невы и чрезмерное множество Ленинграда, уже не позволительное, освобождающее взор от творческого действия, от собственного труда. Исаакий, и Адмиралтейство, и Петропавловская крепость, и Летний сад — всё в одном букете, преподнесённом счастливому ленивцу.

Весь день — радость, что душа жива, свежа, чиста, отверста чудному сильному влиянию.

Неимоверный город уравнивает свою стройную сохранность мощным излучением всего, что вобрал, из чего состоит. Поколебался бы, если бы не поделился со своими гениями и влюблёнными зеваками.

Второй день — весь на студии. Склонили (напрасно, конечно) пробоваться на роль Комиссаржевской.

Я-то знала, как права, сильна, свободна, как безразлично мне всё вокруг: „Потому что это я — умираю!“ — и лицо, к ужасу милой девочки статистки, залито слезами. И так — три раза подряд, ухудшаясь, разумеется, под вредоносным предводительством режиссёра.

Всё это во мне знала и любила Лариса, ей первой должно было это принадлежать.

И вот — где она, я не понимаю, и ночью вижу ее в тяжёлом укоризненном сне.

Хорошо, что по здоровому устройству личности, я равнодушна к тому, что пропало во мне по чужой грубой и глупой воле.

Важно лишь то, что я сама погубила.

11, 12, 13 июля

снова в Переделкине

Влажно, важно, неспешно творит себя это прелестное старинное лето. Душа алчно и пристально внимает ему — и не проговаривается ни в чём.

Вчера собирала цветы в лесу, в теплом прозрачном тумане.

Белла Ахмадулина

Вышла на поляну с розовой дымчатой травой. Смотрела, дышала с обожанием — и ничего не умела к этому прибавить. Благодарю Тебя, Господи, прости меня.

Из этой моей жизни, из внимающей и втайне творящей дрёмы вскоре изымет меня громоздкая поездка на юг с детьми.

Как житейская сторона жизни истомила меня, износила. Этого — я совсем не умею. Вообще, если бы не множество побочных улик (вроде этой вот упомянутой бездарности), я бы совсем разуверилась в приписываемом мне таланте.

В этом смысле меня поражает и озадачивает несомненный талант Юнны — тем более для меня убедительный, что он при мне и на моей памяти стал быть блестяще очевидным. Но он как бы одинокая черта ее существа и поведения, без косвенных (и, видимо, необязательных) подтверждений, словно весь ум, вся прелесть честно истрачены на главное, тайное: на художество.

У меня-то хуже, я наоборот расточаю.

И, как вывод из всего этого, вечером (12-го) приходит Володя Войнович, в котором — всё хорошо, как и пришло тому, кто подлинно, крупно и навсегда хорош. И как это просто, не замысловато, нормально: талант — и, стало быть, ум, доброта, щедрость, жалость к птенцу, выпавшему из гнезда.

В злодее каком-нибудь — не разберешься, хоть вся его непроглядная сложность обычно не больше корысти.

И как ясны, как ненаглядны Аксёнов, Битов, Искандер.

Мне бы тоже изложить мою точку зрения на дело художественного перевода, но у меня нет точки зрения, а есть зрение. У меня есть руки, которыми я пишу, есть мое сердце, при помощи которого я работаю, и дальше я пойти не могу.

Здесь много говорили о том, как следует переводить. Это полезно, это поучительно, и я всё-таки не знаю, как надо переводить. Если бы мы знали, было бы больше прекрасных переводов Галактиона Табидзе и других.

Я еще хочу сослаться на обязательный момент — деловитость. Будем рассматривать наши совещания не только как программу работы Союза писателей, как мероприятие нашей общественной жизни, но подумаем, *что* привело нас друг к другу, *что* влечет нас встречаться и говорить об одном и том же. Я имею в виду искусство, то, что всегда сближает нас, а кроме этого у нас нет ничего.

Я рассматриваю перевод, как любовь одного человека к другому. Я так говорю не только потому, что мне довелось любить поэтов, которых я переводила, что через стихи Симона Чиковани, Анны Каландадзе я видела их облик, а потому, что я бесконечно доверяла им как поэтам и очень любила их.

Здесь говорили о подстрочниках. Наверное, жесткие слова, сказанные о подстрочнике, очень справедливы, но я думаю, что мы можем не признаваться друг другу в том, каким образом работали. Давайте будем делиться результатами нашей работы, и они скажут сами за себя.

Я не собираюсь упрекать Пастернака в том, что он прибегал к подстрочнику, потому что он *постигал* величайшую грузинскую поэзию, и было бы кощунством упрекать

его. Я нежно отношусь к подстрочникам. Мне кажется, что подстрочник — это дитя, если можно так сказать, которое беззащитно, оно потеряло ту жизнь, в которой оно жило на родном языке, и еще не определило новой жизни. Пока это только дитя, с которым можно сделать всё, что угодно. И лишь настоящее искусство поставит, направит, усыновит это дитя, сделает его не только своим ребёнком, но отнесет ко всему миру, чтобы весь мир принял его в свои объятия.

Я не позволю глумиться над этим ребёнком, не позволю сделать нечто дурное, пусть дитя всегда будет прекрасным.

Мне кажется, что есть еще один обязательный приём перевода, это — одержимость. Я буду на этом настаивать, и я говорю это не о себе, а о других. Товарищи, которые принимают участие в этом совещании, это люди, вооружённые не только знанием своего дела, но и своей способностью познать поэзию по подстрочнику. В наших условиях это обязательный технический приём, необходимый для художественного перевода. По подстрочнику только истинный поэт может понять смысл стихотворения.

Я всё время говорю о поэзии, потому что больше ее знаю, и я уверена, что только настоящий поэт восстановит облик стихотворения, как облик прекрасного лица. Я ссылаюсь на себя не потому, что считаю себя примером в работе переводчика, просто я это больше знаю. Следует говорить о том, что знаешь лучше, о своем опыте, и я ссылаюсь на грузинскую литературу не в ущерб другой литературе, а опять-таки потому, что я ее больше знаю. Я специально ограничила себя переводом грузинской поэзии. Я хочу сосредоточить себя на этом языке. Я узнаю грузинские слова из тысячи других слов, я настроила себя на это и думаю, что это очень важно.

Мы говорили о пределах вольности перевода. Я думаю, что математическим способом не удастся вычислить должный предел. Мы всегда можем говорить, что можно сделать так или иначе, мы добивались переводов точных и неточных, и я знаю, что я делала. Я считаю, что истинно точным перевод можно сделать путём каких-то неточностей, потому что потери при переводе с одного языка на другой обязательно бывают. Мне никогда не удавалось вос-

становить звучание грузинских слов, я подчас специально нарушала размер и строй грузинского стихотворения, потому что то, что может звучать в грузинском размере, не может звучать в русском.

Опять-таки мне посчастливилось, я переводила те стихи, которые казались мне прекрасными, иначе я не могла бы работать над ними. Но есть моменты, которые не подлежат точному воспроизведению. Я уже говорила когда-то, как я переводила стихи Симона Чиковани. Там были вещи, которые я не могла воспроизвести точно, потому что, при всём доверии к Симону Чиковани, при огромной нежности к его поэзии, я знала, что по-грузински это прекрасно, а по-русски это не может так звучать. И при переводе Галактиона Табидзе „Тебе тринадцать лет” — эти слова по-русски не звучат поэтически, и по-русски нельзя это сказать таким образом.

Я уважаю многих товарищей, которые упрекали меня в вольности перевода Галактиона Табидзе. Дело в том, что Галактион принадлежит Грузии, но каждый грузин не обязан знать, что может угрожать Галактиону. То, что мы даём из грузинской поэзии, — это очень много, но не для Грузии, а для России. Я хочу донести стихотворения Галактиона Табидзе до русского читателя и считаю это возможным. Я не выкидывала ни строчки, не проявляла небрежности, а если и делала что-либо по-своему, то потому, что хотела осветить Галактиона по-русски так, как слышала по-грузински. Когда я хожу по ночам в Тбилиси, мне кажется, что хожу вместе с тенью Галактиона. Я знаю его стихотворение, я знаю, в чём его смысл, оно не чуждо логике, но оно всё держится на музыке, которую я не могу точно воспроизвести, — не просите у меня невозможного. Я могу только сказать русскому читателю, что это звучит на грузинском языке божественно. Я хочу, чтобы русский читатель поверил мне на слово, что Галактион — великий поэт. Если бы для этого мне нужно было бы танцевать, я бы танцевала.

Я говорила, что иногда сама работа вынуждает нас к вольности. Когда я переводила стихотворение Симона Чиковани „Девять дубов”, я тревожилась за него, я боялась, что это „дитя” не станет любимым русским читателем.

У нас число девять не принято обыгрывать. Я специально ввела в конце стихотворения стрóки, которых не было у Чиковани. Я хотела, чтобы читатель понял, что поэт играет с ним, я хотела облегчить русскому читателю восприятие этого стихотворения.

Но есть какая-то точность, которую нельзя нарушить, и для этой точности нам нужно менять размер и находить пути, которые должны оставить неприкосновенными грузинские обороты тогда, когда они звучат прекрасно и по-русски.

Иногда я переводила стихотворения Симона Чиковани, Анны Каландадзе несоответствующим им размером с тем, чтобы передать ту сердечную сбивчивость, которая там была, чтобы донести ее до русского читателя.

В заключение я хочу сказать, что у нас очень много работы. Но я считаю грузинскую поэзию своей, и у меня не будет покоя, пока я не переведу всего того, что должна перевести.

Грузинская поэзия всегда будет со мной. Я буду служить искусству, которое сближает нас, дарует нам счастье и всех нас украшает.

1962

Было, бывало, будет и впредь, есть и сейчас — сей, третий, час с начала дня, и всё же до его начала, потому что еще длится непрочное мгновение июньской ночи — уж вы-то его растянете, используете во всю длину сновидений, вы, ба-ловни, счастливицы, не знающие, о чём идет речь. Выглядит это так: большая, пустая, нехорошо горячая тяжесть лба прячется в ладони, и всё это рушится, клонится к столу. Озвучивается это так: „Я любил этот труд превыше всякого другого труда... я служил ему как мог... но я изнемог... неужели я навеки сослан на нежную каторгу чужой души, чужой любви, чужого представления обо всём, что есть?.. Дудки, довольно...” И всё это — чистосердечно, и всё это — ложь, друзья мои, потому что я не умею, не желаю жить без этого, да и не пробовала никогда. Но если вы и впрямь не знаете, о чём идет речь, — да всё о том же: о таинственном, доблестном, безвыходно-счастливом деле перевода — я расскажу вам, как это начинается, как это для меня начиналось. Вот — ты молод, толст, румян, собственную неуязвимость принимаешь за ранимость, застенчивость выдаёшь за надменность, и, украшенный всем этим, ты приезжаешь в иную страну — назовем ее: Сакартвело — благосклонно взираешь, внимаешь, уезжаешь и понимаешь, что, уехав, ты остался навсегда в капкане нежности к ее говору, говорению, приговариванью, к ее чужому, родимому языку, загромоздившему твою гортань горой, громом, горечью, виноградной гроздью огромного, упоительного звука. Так и будешь всю жизнь горевать по нему, по его недостижимости для твоих губ и горла. Речь идет о деле перевода, и пора бы уже упомянуть какой-нибудь исчерпывающий, всё объясняющий

термин, но мне неизвестно литературоведение, я не преуспела в нём, не начать ли мне со слова „обречённость”. Обреченность — этому ремеслу, этому языку, этому человеку — переводимому тобой поэту, а ты и не знал, что он — твой родимый брат, точно такой же, как ты, но лучше, драгоценнее тебя, и вовсе не жаль расточить, истратить, извести на него свою речь, жизнь и душу. Вот он сидит рядом с тобой, вы говорите о пустяках, любясь друг другом, сходством, братством, нерасторжимостью навеки, но он сходит с крыльца, удаляется, углубляется в снегопад, Господи Боже, не тяжёл ли этот снегопад его хрупким плечам, его бедному пальто, в котором нет нужды в стране Сакартвело, там в зимних садах голубеют цветы ия, или фиалки, как вам угодно. Бывало ли с вами то, что было со мной: он всего лишь спускался с крыльца, оборачивался, помахивал рукой, не было в этом никакой многозначительности, его звали Симон Чиковани, я совершенно не умела без него обходиться, да и не будет в этом никогда нужды, он просто спускался с крыльца, но я точно знала, что больше я его никогда не увижу. С того снегопада, в который он ушел, начался мой иной возраст, который больнее, печальнее, но лучше молодости. Этот возраст удобен для мастерства перевода. Симон, Симон Иванович, любовь моя, радость, благодарю, что меня во мне меньше, чем вас, я вас переводила, перевела — в себя и во что-то иное, дальнейшее, чему и мой уход в снегопад вовсе не помешает. Да вот вам и термин: подстрочник. Вот как он расшифровывается: стихотворение жило, ликовало, лепетало в своем родном единственном языке, и вот оно насильственно умерщвлено, распластано перед тобой на столе — нагое, бездыханное, беззащитное, оно — подстрочник, ты — переводчик, теперь всё от тебя зависит: ты можешь причинить ему грубый вред дальнейшей мёртвости или дать ему его же собственную, принадлежащую ему по праву, вторую, вовсе не лишнюю жизнь. И если ты не дашь ему всего, чего оно просит: музыки, утверждающей предмет его любви, свободы в твоём языке — не меньшей, большей, чем у тебя самого, — если ты не дашь, значит, — возьмешь, значит, — ты и не переводчик вовсе, а грабитель, отниматель чужого, обкрадыватель человечества, един-

ственного и полноправного владельца всех прекрасных стихотворений и музыки. А как ты всё это сделаешь, как ты вынудишь подстрочник проговориться в тайне первоначального звучания, как найдешь точное соответствие между драгоценной сутью и новым звуком, — этого я не знаю...

1970

Спросили: каким представляете вы себе вашего читателя?

И я, пригасив зрение веками и ладонью, стала вглядываться в милый отвлечённый образ, творимый зрачком по моему усмотрению. Уже под веками и ладонью брезжил свет предполагаемой лампы, затевались в окне приметы неизвестного города, прояснялось чье-то дорогое лицо. Когда это лицо, с пристрастием и обожанием составленное мною из прекрасных черт и выражений, сбылось во всём великолепии, картина, видимо, изображала идеального в моём представлении читателя, и оставалось врисовать в нее том Пушкина или другую великую книгу, я в ней не была обозначена. С присущей мне витиеватостью я прямолинейно клоню к тому, что из читателей мне наиболее близки те, которые со мною как с читателем совпадают в главном выборе, — а я не из тех, кто зачитывается собственными строками. Совершенная правда, что чрезмерная похвала, выдвижение меня на недолжное место если и льстили моему грешному самолюбию, то всё же внушали уму скуку и отчуждение. Так же трогала и пугала меня излишняя пылкость взволнованных чтением незнакомок и незнакомцев, ищущих немедленного и тесного житейского общения, — я как читатель этого не понимаю. Почему-то это совершенно не противоречит тому, что среди иных взволнованных чтением незнакомок и незнакомцев я обрела близких и необходимых соучастников жизни — как-то не насильно, само собою случилось. Впрочем, всё это просто: между пишущим человеком и читающим, вообще между человеком и человеком не должно быть ни подобострастия, ни фамильярности.

Если и была у меня нужда измышлять отстранённый образ читателя, то лишь затем, чтобы полюбоваться лицом человека, склонённым над книгой, обращённым к тому, что в нашем сознании может быть озаглавлено именем Пушкина или соответствует смыслу этого имени в другом языке, в другой географии. Я, подобно всем, кому прихожусь собратом и коллегой, не только кровно и зависимо соотношусь с читателем даже без явных сигналов его внимания и участия, но получаю письма и едва ли не каждый день вижу его воочию во время выступлений или других, преднамеренных или случайных, встреч. Среди неисчислимых любителей поэзии есть — пусть немного, пусть сколько-то — тех, кого я имею дерзость и нежность назвать моими читателями. Это значит лишь, что я разделяю с кем-то особенную страсть к родимой речи, к ее усугублению по мере жизни и к невидимой сохранности и что кто-то одобряет способ труда и жизни, которым я намеревалась этому послужить и не имела другой корысти. Способов столько, сколько поэтов, и покуда я не преуспела в том, чтобы мой показался мне совершенным. Но я знаю, что тот читатель, о котором я говорю, полагает, как и я, что слово равно поступку, и сознает его нравственное значение. Та любовь к поэзии, которая оборачивалась благосклонностью ко мне, бодрит и укоряет меня и держит мою совесть в надобном напряжении. И вовсе безотносительно ко мне, особенно во время дальних путешествий, меня не раз поражала высокая просвещённость современного читателя.

И еще я видела множество людей, никогда не читавших моих книг и не слышавших моего имени, но это их язык был дарован мне при рождении и был краше и больше моего, с ними связана я всею жизнью до последней кровинки.

Я надеюсь отслужить жизни, что знала ее благо, была читателем прекрасных книг и видела доброту людей, которым сейчас, на рассвете, я так сильно, так сосредоточенно желаю счастья в Новом году и всегда.

1975

Памяти Асафа Михайловича Мессерера

Начну с начала, опишу всё по порядку.

Представьте себе человека, который сидит у столь большого окна, что, не поводя головой из стороны в сторону, он не может увидеть всё, что видно в окно.

День сияет, ночь смеркается лишь на мгновение, человек давно уже так сидит, поводит головой из стороны в сторону и видит непомерное множество невской воды и столько обожаемого им гóрода, что этого слишком много для одного взора, для яви.

Загадки никакой: так построен отель, так высоко и велико окно, и человек терзаем избытком того, что он видит, и своим мучительным долгом описывать неописуемое. Человек думает, что Пушкин... И в это время звонит телефон, и спрашивают: „Что вы думаете о Большом театре?“ Как, ко всему, что мучит ум, уже болеющий белой ночью, нужно прибавить еще одно раздумье?

Гаснет купол Исаакия, темнеет в Летнем саду, разводят один мост, другой, краткая темень, и снова во всю величину окна сверкает Нева. Человек улыбается: он ловит себя на том, что вот уже сутки он думает о Большом театре, и это совпадает и с Пушкиным, и с тем, что в окне. Стало быть, не только на своей площади, но и в сознании человека воздвигнут Великий Театр, и достаточно малого оклика, намёка, и вот он явился перед памятью, перед влюблённым зрением.

Первое воспоминание: драгоценный, красный с позолотой воздушный шар — вожделение моего детства. Бабушка купила, намотала на палец нитку, а шар размотал ее своей силой, освободился от детской алчности. Разрывание

сердца, утрата рук и прибыль зрения: красный шар в синеве вселенной, нежная белизна хрупко-громоздкого здания, прочно опершегося на колонны, посылающего в небо коней. Не знаю, говорила ли бабушка: „Смотри, это Большой театр”, вряд ли, я уже должна была и прежде это знать, но увидела так впервые, уже раз и навсегда.

Затем — непрерывная удача детства, счастливое знакомство мамы, и на все, на все спектакли ведут, дают перламутровый бинокль, алеет бархат, блестит позолота, меркнет люстра — и ах!

Как прекрасно, как безумно ты, возлюбленное человечество. Разве мало просто ходить и разговаривать, а ты вон что: на носках, на божественных и невероятных пуантах, бесшумных, а всё же и слух знает наизусть их быстрый-быстрый лепет по сцене, немислимо изогнув шею, всем телом свершаешь подвиг красоты, и чьи-то уста уже разомкнулись для пения. Да не чрезмерность ли это? О нет, это именно то, что соответствует твоей сути.

Принаряженное дитя еще не понимает смысла слезы, мешающей смотреть в перламутровый бинокль. Там просто — ножка о ножку, прыжок, повисание, прыжок, но почему это причина для слёз? Восходит надземная люстра, прощай, бинокль, зато вот пальто, как будто одно заменит другое! Большой театр парит и блещет, что ему до маленького человека со слезой, чью судьбу и речь он нечаянно и непреклонно слагает и пестует; много лет пройдет, и в его честь вдруг, ни с того ни с сего, расплатится человек при Неве, при Летнем саде, клянусь вам, что — плачет.

Удачливый московский ребёнок вырастает в печального счастливого, который по-прежнему держит перламутровый бинокль и обмирает, пока меркнет люстра. Потом по неведомой причине он вовсе не ложится спать, соотнося имя Театра и величину его значения, и, видимо, одно совпадает с другим, если уже новый день сияет, а человек всё еще думает о том, о чём его мимолётно спросили по телефону.

И за это судьба осыпает его подарками невероятных совпадений: в это же время балерина дарит ему свои балетные туфли: вот они лежат, розовые, грациозные, в забы-

тъи — потому что они почти сведены на нет возвышенным трудом.

И открывается дверь, и входит человек, ему семьдесят три года, и вся его жизнь — это Большой театр, бывший, нынешний и грядущий — бесконечный. Я безмерно люблю его и почитаю, как и великое множество людей. Он спрашивает: „Как Вы поживаете? Вы, кажется, устали? Вы спать не ложились?”

Я смотрю на него, усилием зрачка побарываю и скрываю влагу и говорю: „Всё хорошо. Просто я поздравляю Вас с двухсотлетием Большого театра”.

Я поздравляю вас с двухсотлетием Большого театра.

1976

...Да, в декабре, в теплыни декабря, в жаркий день декабря несколько человек сидели за столом и говорили друг другу добрые слова. Один человек прикрыл глаза рукой и вышел. Он скрывал влажность глаз, но всё же сквозь влагу, которой он стыдился, увидел чудный сияющий день, прелесть воздуха и земли, детей, играющих с собакой. Короче говоря, заплакал человек, не знающий, чем отслужить людям и природе их доброту и красоту.

Кто-нибудь спросит: да бывает ли так — теплый декабрь, неожиданная зелень поверх земли, только добрые люди и только дети, играющие с собакой? Так бывает. Тот человек — это я была, и все соучастники того декабрьского дня знали, что всё это — совершенная правда. Кто-нибудь спросит: может быть, это в Грузии было? Там в декабре стояли жаркие дни, и там принято говорить друг другу добрые, долгие слова, которые называются тостом. Да, там это было. И вот что сказал мне мой друг и коллега:

— Подлинный тост — это те слова, которые подтверждены сосредоточенностью души на благе и благоденствии человека, о котором ты сейчас говоришь и думаешь. Это твое страстное слово в пользу другого, других.

Я верю во всё это. Я хочу, чтобы человек раскрывал уста лишь затем, чтобы сказать доброе слово. Если ночью он не спит и глядит в смутный потолок, то лишь затем, чтобы сосредоточить на ком-то другом добрый помысел, сильный, как колдовство, неизбежно охраняющее чью-то жизнь, чье-то здоровье. А за это, за это — всё. За это — приходит в гости ель, и дети томятся в ожидании волшебства, не зная, что оно уже с ними. Ель еще за закрытой дверью, но она уже посылает им свой привет.

Алиса опять и всегда в Стране чудес, как в моём и в вашем детстве. „Алиса в Стране чудес” — вот еще один подарок — пластинка, выпущенная к Новому году фирмой „Мелодия”, пришла ко мне новым волшебством. И как бы обновив в себе мое давнее детство, я снова предаюсь обаянию старой сказки, и помог мне в этом автор слов и мелодии песен к ней В.Высоцкий.

Я клоню к тому, что Новый год — это наиболее удобная пора для людей делать друг другу подарки, любоваться друг другом и желать счастья.

1976

РЕЧЬ НА ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ПУШКИНСКОЙ ПРЕМИИ

У меня есть основания и есть возможность подумать о том, как причудлив и как в общем отраден путь человека. Даже само мое пребывание на этой сцене, оно как бы нечаянно, даже величественно совпадает со всеми зигзагами моего жизненного, житейского сюжета. Да, сцена знаменитого театра, да, когда-то, давным-давно, в незапамятные времена я могла в раннем детстве из публики смотреть сюда на „Синюю птицу” Метерлинка. И сейчас, соотносясь с залом, хорошо различая лица в зале, я могу думать, что волшебный, туманный, синеватый сюжет еще не исчерпан.

Но я уже привадила к этой премии задолго до того, как мне ее сейчас вручили драгоценные руки Андрея Георгиевича Битова. Дело в том, что для начала я поздравляла тех, кто получил ее до меня, и, когда сейчас вспоминаю мои светлые, очень разные ощущения, я могу причислить их к своим пусть немногим, но всё-таки заметным достоинствам: мне была совершенно присуща черта восхищаться талантами других людей, радоваться их успехам, тем более, что не так часто это случается. И мне кажется, что пусть не главный, но всё-таки обязательный признак человеческой одарённости — это любовь к таланту других людей, умение ликовать по поводу этого счастливого события: восхитительного таланта кого-то другого.

Надо сказать, что Андрей Георгиевич Битов первый получил эту премию, и я вижу в этом высокое счастливое начало. Время было не так к нему благосклонно, и даже вручение этой премии вызвало недовольство официальных кругов. То ли дело сейчас. Я получаю премию, я вижу в зале дорогие для меня лица людей. Со многими, если не со все-

ми из тех, кто почтил меня своим присутствием, связана вся моя жизнь, ее взлёты и провалы. Всех вижу и благодарю.

Так же хорошо я вижу во втором ряду господина Хельмута Тёпфера и еще раз, как и прежде за других, с таким же чувством гордости и радости я благодарю Германию, благодарю Фонд Алфреда Тёпфера, радуюсь дящемуся уделу этого человека, который умер в прошлом году на сотом году жизни. Но пока будут лауреаты, пока милость этой премии будет с ними соотноситься, имя Алфреда Тёпфера будет длиться, будет действовать во славу Германии и России, во славу их постоянного единения. А что касается этого единения, оно несомненно очень ярко, живо, выпукло, потому что великие русские поэты имели пристрастие крови, жизни, сердечной тоски к Германии. Марина Цветаева утвердила, что именно Германия есть родина музыки и поэзии. К ней относилась она наивысшее слияние этих двух музык: музыки и музыки поэзии. По ней всегда она тосковала, ее горю сочувствовала, когда в трагические для Германии и для нее годы, в тридцатые, она заслоняла своим бедственным, сиротским силуэтом образ Германии и говорила, что над всем и всегда образ Германии — „профиль Гёте над водами Рейна”, а всё остальное — лишь мимолётное несчастье.

Пастернак в юности был взлелеян Марбургом, и не однажды это сумрачное и неотъемлемое переплетение культур будет напоминать нам о себе, и хорошо, что и мой скромный опыт так или иначе относится к этому.

Пожалуй, наибольшее слияние этих душ: душ поэзии и поэзии, музыки и музыки являет нам совпадение, столь величественное, столь трагическое: Цветаева и Рильке, Пастернак и Рильке. И если Марина Цветаева с ее попирающей, пугающей силой любви, обожания к корреспонденту, к собеседнику иногда принимала в руки некую пустоту, потому что собеседник уклонялся, искал укрытия, боясь быть сметённым столь могучей силой чувства, Рильке, с которым она так и не встретилась, один протянул ей ответные руки. И эти руки поэта и поэта, навсегда протянутые друг к другу и не встретившиеся в пространстве, может быть, они и означают союз, который всегда будет занимать наши умы. Вослед великим поэтам, великим людям, и я ког-

да-то написала по поводу музыки, музыкантов: „Германия моя, гармония моя...” Это созвучие, непере译имое на немецкий язык, тоже относится к тому, что ощущаю я вместе со всяким слухом, вместе со всяким сердцем, обращенным к искусству, к культуре Германии.

Сегодня обстоятельства как бы для меня наиболее благоприятны. Я уже сказала, как я ценю лица, светлое выражение лиц в зале, хорошо различимые в полумраке. Но само собрание вот здесь, на сцене, должно быть исчерпывающе утешительным. Я имею удобный случай поздравить Ольгу Постникову и Зуфара Гареева, моих младших молодых коллег, поздравить их, пожелать им счастливого пребывания в Германии и многих успехов в творчестве. Я радуюсь за их возраст. Не будем думать, что всё-таки обязательно поэту, писателю, художнику следует начинать жизнь с гонений, непризнания и со всяких испытаний, подчас неприятных...

Благородная духовная инициатива Германии, фонда, который называем Фондом Тёпфера, особенно драгоценна для нас, потому что мы совсем не избалованы приязнью к судьбе художника, особенно в его молодости. Будем надеяться: продлится.

Здесь — Олег Чухонцев. Он член жюри, но для меня он несомненно соучастник души моей и обитатель моего сердца. Всем известна изысканность и неколебимая чистота его поэзии... И мой друг дорогой Фазиль Искандер, которого я поздравляла прежде, чем он меня... Андрей Битов... Чего же мне еще желать? Пожалуй, более нечего. И мне остается доказать и вам, досточтимая публика, и вам, досточтимые коллеги, что я, надеюсь, по мере жизни не так уж провинилась пред именем Пушкина. Мы все соотнесены с ним, все мы знаем, что каждый говорит, имеет право говорить: „мой Пушкин”. Недаром Пушкин вызывает такие живые, такие страстные чувства: ревности и всяких других сердечных признаний. Вот Андрей Георгиевич утверждает, и я уверена: он не ошибается, — что ему однажды довелось видеть, как Александр Сергеевич усмехнулся в его сторону, усмехнулся с приязнью и с несомненной благосклонностью. Булат Шалвович Окуджава видел, как Александр Сергеевич

прогуливается... И вот ко всем этим замечательным обстоятельствам прибавляется то обстоятельство, может быть, главное: 26-е мая, день по прежнему стилю, но всё-таки так, 26-е мая — это день рождения Пушкина и что может быть лучше, чем этот день. Наша жизнь, хотя бы в течение года, а в общем и во все годы нашего житья-бытья, так и делится: то мы ужасаемся его гибели в феврале по новому стилю и потом как-то оправляемся от этого страшного несчастья и уже можно готовиться к ослепительному дню его рождения. Так что всегда есть утешение: страдания в феврале и ликование в мае или 6-го июня по новому стилю.

Мне, как и всем, доводилось соотносить себя с Пушкиным. И в моих сочинениях, в моих размышлениях так или иначе присутствует он. Всё так и измеряется степенью этой опрятности (слово Пушкина), опрятности, на которую способен организм, увенчанный умом, какой уж есть. Да вот лишь бы как-то не поступиться этой честью, не посрамить себя не только перед премией, которую всё-таки, что и говорить, приятно принять в ладони, но и перед именем, заглавным в нашем сознании, перед именем Пушкина.

Я выбрала кое-что, чтобы прочесть <...> Вот стихотворение, которое называется: „Сад-всадник”. Я его собиралась прочесть, потому что оно совпадает с темой, которая и сама по себе здесь живет, и мною объявлена: тема музыкального совпадения Германии и России, России и Германии.

Я скажу лишь несколько слов о происхождении этого стихотворения. Оно написано в тарусском уединении, как раз на том, приблизительно на том месте, где желала быть похоронена Марина Ивановна Цветаева. Мне довелось там какое-то время жизни снимать дом, дом, расположенный на месте бывшего кладбища. Там есть сад, впадающий в Оку, и обстоятельства природы, погоды, мысли о Цветаевой, о Цветаевых — пестовали и понукали это стихотворение к рождению. Оно имеет эпитафию из Марины Цветаевой и несомненно связано с нею, и даже не вообще с ее образом, а с одним ее сочинением, сочинением изумительным. Это эссе, посвящённое „Лесному царю” Гёте. Сочинение так и называется „Два „Лесных царя”. Марина Цветаева сравни-

вает всем известный с детства перевод Жуковского и немецкий подлинник, и этот анализ кружит голову, он поражает чувством языка, немецкой речи и русской речи, и всё это доходит до сгущения и смешения такой силы, что нечего удивляться, если какой-то отзвук появляется и какое-то стихотворение является всего лишь последствием этого чтения. Это мое стихотворение, которое называется „Сад-всадник” — робкое и подобострастное посвящение Гёте, чье имя, чей „профиль над водами Рейна” и воплощают для нас величие и бессмертие культуры и истории Германии, Германии и России. „Das wahrhaftig Schöne sich dadurch auszeichnet, daß es der ganzen Menschheit angehört”, в переводе на русский: „Истинно прекрасное принадлежит всему человечеству”. Гёте. Стихотворение таково:

САД-ВСАДНИК

За этот ад,
за этот бред
пошли мне сад
на старость лет.

Марина Цветаева

Сад-всадник летит по отвесному склону.
Какое сверканье и буря какая!
В плаще его черном лицо мое скрою,
к защите его старшинства приникая.

Я помню, я знаю, что дело нечисто.
Вовек не бывало столь позднего часа,
в котором сквозь бурю он скачет и мчится,
в котором сквозь бурю один уже мчался.

Но что происходит? Кто мчится, кто скачет?
Где конь отыскался для всадника сада?
И нет никого, но приходится с каждым
о том толковать, чего знать им не надо.

Белла Ахмадулина

Сад-всадник свои покидает угоды,
и гриву коня в него ветер бросает.
Одною рукою он держит поводья,
другою мой страх на груди упасает.

О сад-охранитель! Невиданно львиный
чей хвост так разгневан? Чья блещет корона?
— Не бойся! То — длинный туман над равниной,
то — желтый заглавный огонь Ориона.

Но слышу я голос насмешки всевластной:
— Презренный младенец за пазухой отчей!
Короткая гибель под царскою лаской —
навечнее пагубы денной и ночной.

О всадник родитель, дай тьмы и теплыни!
Вернемся в отчизну обрыва-отшиба!
С хвостом и в короне смеется: — Толпы ли,
твои ли то речи, избранник-ошибка?

Другим не бывает столь позднего часа.
Он впору тебе. Уж не будет так поздно.
Гнушаюсь тобою! Со мной не прощайся!
Сад-всадник мне шепчет: — Не слушай, не бойся.

Живую меня он приносит в обитель
на тихой вершине отвесного склона.
О сад мой, заботливый мой погубитель!
Зачем от Царя мы бежали Лесного?

Сад делает вид, что он — сад, а не всадник,
что слово Лесного Царя отвратимо.
И нет никого, но склоняюсь пред всяким:
всё было дано, а судьбы не хватило.

Сад дважды играет с обрывом родимым:
с откоса в Оку, как пристало изгою,
летит он нырлящиком необратимым
и увальнем вымокшим тащится в гору.

Мы оба притворщики. Полночью черной,
в завременье позднем, сад-всадник несется.
Ребёнок, Лесному Царю обречённый,
да не убоится, да не упасется.

Я держу в руках маленькую книжку, она усилиями опытного питерского подвижника, любителя словесности только что вышла в Ленинграде, в Петербурге. Книжка невелика, изящно издана, называется „Ларец и ключ”. Когда на нее гляжу вчуже, я думаю, что расхожее присловье „а ларчик просто открывался” навряд ли применимо к этому ларчику смугло-зеленого цвета. Дело в том, что стихотворения, собранные в этом маленьком сборнике усилиями, как я сказала, доброжелателя, искупают провинность моей молодости. Я много времени проводила на эстраде, и это известно. Я знаю многих людей, скучающих по тому времени, которое принято величать „шестидесятые годы”. Я не разделяю этой печали, этой тоски. Я понимаю, что люди скорее скучают по своей молодости, по видимости единства, когда публика в больших количествах собиралась для слушания поэтов. На самом деле понятно, что поэзия не есть способ завораживать множество людей своей пусть даже пригожей, пусть даже благородной интонацией. Всё-таки другое соотношение писателя и читателя наиболее правильно. Эти стихи уместнее, если их читать не вслух, а если их читать глазами. Но тут есть одно небольшое стихотворение, и я его прочту <...> Стихотворение называется „Одевание ребенка”.

ОДЕВАНИЕ РЕБЁНКА

Ребёнка одевают. Он стоит
и сносит — недвижимый, величавый —
угодливость приспешников своих,
наскучив лестью челяди и славой.

У вешалки, где церемониал
свершается, мы вместе провисаем,

Белла Ахмадулина

отсутствуем. Зеницы минерал
до-первобытен, свеж, непроницаем.

Он смотрит вдаль, поверх услуг людских.
В разъятый пух продеты кисти, локти.
Побыть бы им. Недолго погостить
в обители его лилейной плоти.

Предаться воле и опеке сил
лелеющих. Их укачаться зыбкой.
Сокрыться в нём. Перемешаться с ним.
Стать крапинкой под рисовой присыпкой.

Эй, няньки, мамки, кумушки, вы что
разнюнились? Быстрее одевайте!
Не дайте, чтоб измыслие вошло
поганым войском в млечный мир дитяти.

Для посягательств пряткого ума
возбранны створки замкнутой вселенной.
Прочь, самозванец, званый, как чума,
тем, что сияло и звалось Сиеной.

Влекут рабы ребёнка паланкин.
Журчит зурна. Порхает опахало.
Меня — набег недуга полонил.
Всю ночь во лбу неслошь и польхало.

Прикрыть глаза. Сна гобелен соткать.
Разглядывать, не нагляжусь покамест,
палаццо Пикколомини в закат
водвинутость и вогнутость, покатость,

обьяття нежно-каменный зажим
вкруг зрелища: резвится мимолётность
внутри, и Дева-Вечность возлежит,
изгибом плавным опершись на локоть.

Сиены площадь так нарёк мой жар,
это его наречья идиома.

Оставим площадь — вечно возлежать
прелестной девой возле водоёма.

Врач смущена: — О чём вы? — Ни о чём. —
В разор весны ступаю я с порога
не сведущим в хождение новичком.
— Но что дитя? — Дитя? Дитя здорово.

И в завершение моего благодарственного выступления, невнятный смысл которого и есть всего лишь признательность всем, кто причастен этому радостному для меня событию. Но чтобы порадовать вас и себя, я буду следовать своей же, мною придуманной традиции: на торжестве такого рода, а именно на вручении Пушкинской премии, я всегда читала не свои стихи, а стихи Александра Сергеевича Пушкина. Пожалуй, всего угоднее мне читать стихи, написанные Пушкиным в последнее время жизни, стихи, которые всегда поражают и волнуют нас, стихи, состоящие из мысли о смерти, столь робкой, столь прозорливой, столь величественной, столь достаточной для того, чтобы и мы имели какую-то пруть размышлять о смерти. У меня где-то было в стихах: „Еще спросить возможно: Пушкин, милый, / зачем непостижимость пустоты / ужасною воображать могилой, / не проще ль думать: это там — где ты?“ Действительно жаль в конце жизни расставшись с Пушкиным, стать к нему ближе, может быть — так и есть?

Хочу прочесть столь любимое мной стихотворение. Я, по правде говоря, никогда не слышала, чтобы его читали вслух другие люди, артисты. Я не слышала, но зато я знаю, какие замечательные люди, мои друзья и коллеги, любили это стихотворение. И, может быть, это и будет как раз то место, где я должна вспомнить тех замечательных людей, тех замечательных писателей, которые не так давно или не вполне известны публике, но я их знаю, помню и люблю. Они не получали Пушкинской премии. Эти имена столь важны для меня, никакая милость судьбы, кроме изначальной, Божьей милости, на них не распространилась. Я назову три имени: Веничка Ерофеев, Владимир Кормер, Евгений Харитонов. Я видела, с какой доблестью сносили

они всё, что выпало на их долю, с какой доблестью и с какой усмешкой. Чудное выражение этого смеха, смеха в обстоятельствах, совсем не поощряющих уста к улыбке или усмешке. С любовью к этому стихотворению и с любовью к этим писателям — прочту. Я знаю, как Владимир Кормер любил это стихотворение... Сама всегда наслаждаюсь, когда его читаю про себя, а сейчас попробую прочесть вслух. Я уже говорила, что Пушкина на всех достанет, и разного Пушкина: и думающего о смерти, и Пушкина прозрачно веселого, смешливого, игривого, столь желанного для нас, чтобы улыбаться, чтобы ликовать. Стихотворение называется „Гусар”, 1833-го года. (*Читает стихотворение.*)



*Белла
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 3

ПРЕДИСЛОВИЯ
К АВТОРСКИМ СБОРНИКАМ,
ЖУРНАЛЬНЫМ И ГАЗЕТНЫМ
ПУБЛИКАЦИЯМ,
ГРАМПЛАСТИНКАМ

Передо мной — три чистых страницы, на которых я должна рассказать о себе. Я очень люблю и уважаю белую бумагу, робею перед ней, страшусь замарать впустую. Поэтому самые черные мои черновики остались во мне, мне доводилось запутывать и распутывать их целые дни, целые ночи и не прибегнуть к перу. Не всегда так было: в юности я писала легко, безбоязненно и непрерывно, это была моя лучшая радость, но я не жалею о том, что прошло. Почти все мои стихи давнего времени теперь чужды мне и не милы. Но и стихи недавнего времени не милы мне — даром, что писаны были тяжело, медленно и кропотливо. А где та единственная счастливая точность — лёгкость, но не легковесность, огромность, но не громоздкость, я не знаю пока, мучаюсь, хочу знать.

Что три, даже одна чистая страница — это безмерно много, это белизна до горизонта, это предостаточный простор для совершения чуда или проступка.

Но не начать ли мне, как это заведено, сначала?

Я сильно и остро помню то время, про которое теперь говорят: „До войны”.

Мое четырёхлетнее „до войны” состоит из золотого летнего цвета воздуха, мокрого песка, открытых рук матери, молодых одуванчиков — да, вот сколько нежного, безобидного золота было в природе на радость недавно родившемуся человеку! А еще пылко краснел воздушный шар, незаметно разматывающий свою ниточку с пальца, и уходил ввысь, научая печали неизбежного расставания.

На даче после ночного дождя скромное зеленое копьцо стало алым тюльпаном, и полунемота милой детской

абракадабры завершилась первой связной фразой: „Я такого не видела никогда”. Уже дарящая природа звала человека к общению, уже просила приветов и воспеваания. Всё это пустяки, конечно, но многоцветье земли так и осталось для меня самой насущной радостью, убедительной причиной ликовать и надеяться. А потом — последнее золотистое воскресенье и долгая зима войны.

Пока носили на плечах в бомбоубежище, потом везли, везли в эвакуацию, перевозили куда-то, защищая от последнего голода — да, всё это длинное, длинное время, пока не подбросили в воздух на Красной площади в День Победы, — чему-то важному, изначальному раз навсегда училась детская душа. Пусть этот опыт будет осознан и расшифрован лишь потом, во втором, третьем, следующем возрасте жизни, но вот чему учила война детскую душу, и накрепко научила, определив дальнейшую совесть, нравственность или судьбу — не знаю, как точнее сказать. Ведь нёс же меня кто-то, вёз, вынес, вывез, защитил, принял на себя беду и умер, а я выжила, стала взрослой, а чья-то огромная многосердечная доброта до сих пор склоняется надо мной, извлекает со дна любой печали.

Со скукой смотрю на тех, кто обобщает свои невзгоды изречением: „люди злы” или „люди коварны”. Я получила от людей столько добра, столько подарков красоты, одарённости, великодушия, что отслужить всё это — не надеюсь.

Не с той ли поры, когда тянулись мимо эвакуационной теплушки бесконечные, скорбные, зеленые предзимние поля, надо мне исчислять сильное, во всё сердце чувство родной земли, ее судьбы и истории, от которых нет ни забвения, ни отлучки?

Тогда же, в зиму войны, в глуши чужого жилья впервые пришел ко мне мой Пушкин — ведь известно, что Пушкин у всех русских один и всё же у каждого свой, отдельный, общающийся с тобой не так, как с другими. Мой Пушкин — не отчуждённое величием имя, не стороннее сведение о классике, а живая явь, насущное переживание, очевидно, пленительный и любимый человек — начался с бормотания больших бабушкиных губ: „Буря мглою небо кроет...”

Затрудняюсь точно сказать, когда я начала писать, но помню взрослого гостя, исполнившего небрежный ритуал вежливости в отношении ребенка — „коза” из двух пальцев и вопрос: „Кем ты будешь, когда вырастешь?” Мама, вспыхнув лицом, перевела мой непреклонный, угрюмый и невразумительный (из-за картавости) ответ: „Говорит — литератором”. Помню выражение любезной скуки на лице гостя, сострадающее недовольство мамы и мое одинокое высокомерие к их незнанию.

Всё школьное детство (но успевая играть, возиться с животными и птицами, пылко дружить с одноклассницами и влюбиться в мальчика из соседнего подъезда) я составляла чудовищные стихи, поэмы и повести, романы, драмы, комедии и мемуары.

Только добротой, непобедимой благосклонностью людей, осенившими всю мою жизнь, — могу я объяснить успех своего первого „авторского вечера” в районном Доме пионеров.

Среди прочих жутких творений я читала свое продолжение „Горя от ума”, — надеюсь, что величаво-хрупкая тень Грибоедова простит мне разбойничью фамильярность этой детской любви. В горячем воздухе общего возбуждения меня хвалили и мною ужасались, и кружилась бедная моя голова, понявшая, что это и есть то, что принято называть успехом.

Относительность и ничтожность этого и любого сходного успеха мне предстояло понять в тот же вечер и на всю жизнь. Я медленно шла от Покровских ворот к Ильинскому скверу, усмиряя в себе биение юной крови, ждущей и жаждущей грядущих триумфов; снежинки насмерть разбивались о горячее лицо. В подъезде моего дома во всю длину старой пятиэтажной лестницы тянулся наверх темный, непоправимый след — я сразу знала, что он не прервётся до наших дверей. Это моя собака погибла внизу, в переулке, под автомобилем. Конечно, я еще не знала тогда, сколько потерь мне предстоит, но предчувствие того, что они значительнее всех возможных приобретений, прочно определилось во мне, и больше голова моя из-за пустяков не кружилась.

Мне остается кратко сообщить еще какие-то сведения о себе. Окончив школу, я год работала внештатным корреспондентом многотиражной газеты „Метростроевец”, – спасибо ей. В 1955 году стала печататься, поступила в Литературный институт.

Мне трудно перечислить всех людей, без чьей заботы и помощи не было бы ни начала, ни продолжения моей профессиональной работы: Илья Сельвинский, Евгений Винокуров, Степан Щипачёв, Павел Антокольский, Михаил Светлов, Александр Межиров, Евгений Евтушенко, Михаил Луконин – по времени первые из тех, кто потратил на меня труд добросердечного и деятельного участия.

Но время длится, объединяя тех, у кого я учусь из почтительного отдаления, и моих ровесников, чьи уроки для меня драгоценны, и тех, кто намного моложе меня, но чьему поучению уже следует внимать. Последние слова я отношу к вам, глубокоуважаемые юные читатели, благодарю вас и желаю вам радости.

1971

Здравствуйте!

С любовью написав лишь это первое слово, издревле означающее лучшее пожелание одного человека другому, я давно уже сижу, думаю думу, смотрю в окно. Две белизны, причиняющие му́ку нежности, расстилаются передо мной: чистая страница и Москва после первого ночного снегопада. Наверное, эти две страсти, незримо и нерасторжимо связанные между собою, составили мою судьбу и душу: заманивающий и пугающий лист бумаги, не дающий отпуска и поблажки, и этот город во главе земли, без которой нет и не надо меня.

Я вижу крыши в снегу, проём между зданий, где подразумевается и неминуемо есть Тверской бульвар, небо над памятником Пушкину. Но зачем я это упоминаю? Не затем ли, что мне хочется сказать всё как есть, без прикрас и утайки? Получается, что я пишу письмо множеству незнакомых людей как единственному и близкому человеку. Может быть, к этой путанице и сводится точная цель моего ремесла: обнаружить наготу чувства и помысла перед тем, кто неведом, но родим.

Я сама еще не знаю толком, какое же признание хочу я сделать Вам — на исходе года, еще раз округлившего мой возраст, бывшего столь благосклонным ко мне. Я видела многие красоты земли, прелесть человеческих лиц и дарований, чуждое соседство двух совершенных гармоний: природы и искусства. И вот мои новые книги, из которых одна — большая, вобравшая почти всё, написанное мною. Почему же так отчетлива, так строга моя грусть? Думаю, что более всего томит и укоряет меня несоответствие между

добротою людей, на которую так везло мне всю жизнь, и значением моего им ответа. Имевшая в виду только служить родной словесности как благу и пользе соотечественников, достаточно ли я преуспела в этом, не забыла ли сделать что-то еще, чему пока не знаю названья?

Я хочу сказать, что любовь и забота моего сердца, всегда соотнесенного с Вами, больше того, что Вы сейчас услышите.

Так или иначе — возьмите на память мой голос, примите настойчивое пожелание радости и добра.

До свидания.

Ваша Белла Ахмадулина

1977

Тетрадь эта, „общая” и „в клеточку”, — заполнена мною с двух обратных сторон. Я всегда жалела белую бумагу, она казалась мне блее, чем мое право марать ее черными чернилами, — и всё-таки любила лишь белую бумагу, лишь черные чернила. Принесенные мне в больницу тетрадь и шариковая ручка сами разобрались меж собой и со мной. С одной стороны тетради — неразбериха черновиков, с другой — опрятно переписанные тексты. То и другое встретилось в середине тетради. В этом не было бы ничего примечательного, знаменательного: просто пишет человек, оберегающий бумагу, — но нежный, неслышимый скрежет услышал человек — съединялись, один за другим, мосты над Невою.

Короче и проще говоря, в мае прошлого года я была в Ленинграде (и опять туда уезжаю). Никогда не темнело, сирень... сирень... всякую и везде подобострастно обожаю, но не есть ли это растение родимое исчадие этого огражденного сада, этого града, насажденного во влажную почву, поощряющую цветение сирени и упасшую произрастания колонн?

Никогда не темнело. Но всякий раз — светало, сверкало. Я смотрела на шпиль Адмиралтейства. Это было так просто и так загадочно. Острая вспышка шпиля соответствовала моему представлению о счастье: осознать и возблагодарить краткий и драгоценный миг бытия. Потом (если смотреть из окна гостиницы „Ленинград”) я смотрела левее, на утешно-округлый, налившийся солнцем, купол Исаакиевского собора, и мне хотелось некоторой основательности, длительности, не пронзительности сквозняка

между жизнью и тем, что ей единственно близко и противоположно. Слева и совсем близко, незащитно (даже перед моим безвредным взором) зиял прозрачный Летний сад, еще не вполне прикрытый листвою, уже обнаживший зябкую мраморную плоть своих богов и богинь и героев.

Я всё это вижу сейчас не менее отчетливо, чем завтра увижу воочию, всё это правда, кроме одного: в мае прошлого года я жила в другой гостинице. Пожалуй, это было к лучшему для меня. Этот единственный город на белом свете, перед которым навтыяжку держится и старается белеть душа, чрезмерен и непосилен в окне упомянутой гостиницы и причиняет прямую боль. А во мне и так побаливало. Сирени у меня было в избытке (я каждый день выступала), но сил изъять ее из ванны — не было: припекала и допекала меня хвороба. Это докучное, не отпускающее прочь ощущение совпадало с воспоминанием о начале войны: опять несут в бомбоубежище, и ребёнок, желая выпростаться из несправедливой безвыходной тоски, говорит: всё гудит и гудит и гудит! когда перестанет гудеть! Зато как прекрасна, как свежа, как благоуханна была купальщица сирень, тяжеломерно и грациозно завладевшая водоёмом! Никогда не темнело, единственный этот город не оставлял человеку промежутка, передышки, даже краткого отпуска забытья. Тот, кого я счастливо люблю, был со мною, мы шли смотреть, как разводят Дворцовый мост. Когда он, пусть для трезвой и здравомысленной цели, безумно и непостижимо разъединялся и навзничь горели разлучённые фонари, множество влюбленных приникало друг к другу, ликовали чужестранцы, стройно-музыкальный вздох или возглас сопутствовал разрыву моста. Утром мы шли в Летний сад. В пруду на его окраине огромная рыба подплывала к верхнему краю воды и таинственно озираала восторг и ужас детей. Помеха недуга казалась виной, неопрятностью, не смеющейся соотноситься с детьми, рыбой, деревьями и целомудренным мрамором статуй.

Выступления мои завершились. Тот, с кем ходила я смотреть, как разводят мосты, отвёз меня в больницу, я не стала смотреть ему вслед, так было легче и удобнее понять мост, разомкнутый на две части.

Сначала я не могла понять, почему так сияет в окне день, не умеющий иссякнуть, почему так прельстителен больничный завтрак, — а это просто „перестало гудеть”, боль прошла — как бы сама по себе. На самом деле ласка, доброта, милость людей сгустились надо мной, и мысль об этом была основным содержанием моего трёхнедельного пребывания в больнице. Организм опешил от новости своего состояния, как от новорождённости. Какое блаженство жить на белом свете!

Никогда не темнело, и в одно прекрасное утро я смотрела на алую розу на окне, или она смотрела на меня с каким-то особенным, сильным выражением намёка или упрёка, понукая мою тупость понять, понять! И я поняла: Боже мой! День рождения Пушкина! Роза помнила, а я забыла. Кстати, эта роза по таинственным причинам так и не увяла, и все врачи, сёстры и больные радовались на нее, и все они были хорошие великодушные люди. Как мне быть, ведь это не я придумала этот идиллический (для меня лишь) больничный сюжет — он сам содеялся. Вскоре мне разрешили гулять, два чугунных льва обитали внизу, и я тайком гладила их за гривки, принимая в ладонь нечто вроде ответного любящего пульса, оповещающего меня о том, что они сознательно и одушевлённо участвуют в игре.

Никогда не темнело, и я всё время писала стихи, некоторые из них предлагаю читателям журнала „Смена” — с любовью, с пожеланием здоровья и радости.

1985

МИНУВШИЙ ГОД

День смеркается в окне, декабрь кончается, год иссякает.

Но мне так нужно и важно сказать Вам несколько слов.

Мне отведены для этого декабрьские ленинградские сумерки — достанет ли мне этой длительности, быстро темнеющей в окне?

Мой минувший год — округл и объёмен. Вот его измышленный образ мерцает, подрагивает, покачивается передо мной, как выпукло-серебристый ёлочный шар, всегда столь любимый. Сколько бликов и блесков может разглядеть в нём воображение!

Я — совсем не путешественник, но в этом году часто уезжала из Москвы для уединенных писаний или для многолюдных выступлений. Я видела красоту земли и воды, и повсюду сопутствовала мне безмерная доброта людей, которыми я так дорожу на белом свете. Вот я и хочу сказать Вам, пусть наспех, но без утайки: Дорогие мои! Вы знаете, как я люблю Вас, как глубоко кланяюсь Вам. Я всё помню и хочу отслужить Вашу благосклонность ко мне и безотносительно ко мне, все Ваши достоинства и дарования.

Здравствуйте — и благоденствуйте. Я люблю Новый год! Я верю, что счастье достижимо, хотя бы просто как осознанный миг бытия.

Всем, с кем я встретилась и разминулась, всем желаю счастья в Новом году и всегда потом. Пусть затеплится еще один шарик на Вашей ёлке.

Декабрь 1985

„Избранное” — так будет написано на обложке книги.

За чем же дело стало? Да вот за этим кратким предисловием, на которое ушло столько длительного и бесполезного прилежания, столько печали. О чём так печалится нерадивый сочинитель предисловия к своим Избранным сочинениям?

Окна его московского обиталища таковы и так расположены в мироздании, что, в течение суток и доле с места не сходя, можно озирать всё движение и поведение небосвода. Польшаает, меркнет, скудеет и заново рождается луна, сопровождаемая звездой. Может быть, дело во влиятельной луне? При ней ли писать предисловие к своей книге, послесловие к своей жизни? Если Слово, в его самовольном изъявлении, хоть как-то соответствует смыслу и содержанию всего этого подлунного сюжета, „пред...” — излишне, в „после...” — другие люди разберутся.

Незадачливый тоскующий автор со скукой косится на будущую книгу, на бывшую жизнь, совестливо и неприязненно соотнося одно с другим. Между этим и следующим абзацем проходит несколько дней, происходят события жизни и смерти, пишущий косвенно соучаствует в них, страдает и сострадает. В этом месте затянувшегося писания он как бы отсутствует, он читает — не свою, разумеется, книгу. Есть у него заветный том в ситцевом переплёте.

Посмотрим на читающего со стороны. Сгорбился, прикрыл спину каким-то утеплением (дует) и не столько читает, сколько вспоминает: когда, где, какой цветок положил он меж страниц в ситец переплетённого тома? Вдруг — сильно оборачивается. Никакого округлого польхания!

Яркий, свежий, новёхонький месяц невредимо и нежно помещён в быстро синее окно. Потрясенный соглядатай книги и небосвода вскакивает с впустую насиженного места и просит: „Радость! Ненаглядность! Помоги, как всегда помогал!”

Где та искомость, которую не могу найти? Заветный ситцевый том отзывается: „Месяц, месяц, мой дружок! Позолоченный рожок!..” и: „Погоди; об ней, быть может, ветер знает. Он поможет...”

Вот зачем так припекает, так дует.

Проситель этот так или иначе всю жизнь зависел от неимущего младенчества луны, всегда и сейчас показывая месяцу условную невзрослую „денежку”. Не ожидая приплода серебра, он никогда не имел отказа в том, что просил. Я слышу неслышимый прощающий и поощряющий смех: пространство ли смеётся или Тот, о ком всегда думаю, когда смотрю на луну? Как я люблю этот смех.

Дело стало лишь за предисловием к Избранному.

Избранник мой, читатель! Я не знаю твоего имени, но ты — именно тот, кто понимает, о чём речь, и именно к тебе обращена эта книга — где-нибудь да возьмешь ее...

Вкратце скажу: я составляла книгу, предпочитая не ранние мои стихи, а то, что написано в последние годы. Кто-то скучает по своей молодости, совпадающей с началом моей литературной жизни, и недосчитается каких-то воспоминаний, связанных со мной, — прошу простить меня... Я жила на белом свете и старалась быть лучше.

Август 1987

Я помню свой ранний возраст памятью нюха и зрения. Первое воспоминание: сильный запах мокрого песка, из которого велено что-то лепить или выпекать с помощью омерзительной „формочки”, штучки такой, до сих пор ненавижу. Отворачиваюсь, оборачиваюсь — и вижу ярко-светлый дом в глубине темного сада. Да уж не в усадьбе ли всё это происходит? Представьте и поверьте — да, в городской усадьбе прошлого времени. Эти дом и сад на Садовом кольце существуют и поныне, там обитает какое-то учреждение. В одной из комнат бывшего особняка, вместе с семьей моей, обитала и я первые три года жизни. Потом я узнаю, теперь мне кажется, что и тогда я знала, какие непоправимые несчастья постигали соседей. Как ребёнок, если не урождён тупицей или убийцей, может не чувствовать, не знать? Нет у него такой возможности.

Тогда же: поднимаю одинокое лицо и вижу красный воздушный шар, не долетевший до синего неба, нитка не допустила, зацепилась за ветку дерева. Дерево — сохранны; проезжая по Садовому кольцу, я вижу дом, деревья, дерево, ребёнка, отвлекшего лицо от насильной песочницы, красный воздушный шар, не долетевший до вольной синевы. Детей и всех посторонних навряд ли теперь пускают за эти ворота, а воздушные шары давным-давно не летают.

В скобках замечу: следующий красный воздушный шар я увижу после войны. Дорого обошелся он моей бабушке. Но вот он, вернее — во-он, упущенный мной (или отпущенный?), в синеве неба над белым Большим театром. Там тогда обитал владелец и укротитель грозди вожделенных своевольных сокровищ.

Безутешность потери и прибыль: счастье его, шара, свободы.

Воздушные шары — до сих пор предмет моего обожания. Мои дети не видели воздушных шаров, чья своевольная одушевлённость стремится прочь, учит руки — не владеть, отпустить.

Закрыв условные скобки, возвращаюсь в первый мой возраст, в мое „до-войны”. Дважды обитает в моём сознании это время. Уверена, что всеобщая трагедия, не тронувшая меня напрямую, наотмашь, соответствует урождённой неспособности человека и в младенчестве быть лишь ее соседом, а не участником. Нечаянное соучастие это потом содеет или изначально содеяло печальное содержание моих зрочков. Но как дарительно поощряло мои глаза разноцветное сверкание мира, питало и воспитывало всё, из чего и поныне состоит мой взгляд на этот мир, из чего я состою.

Тогда же: за ночь расцветают тюльпаны в саду и, впервые преодолевая всё затмение предыдущего молчания, связано говорю: „Я такого не видала никогда”. С тех пор жизнь моя шла, проходит, снова смотрю на семицветие белого света — лучших слов для похвалы ему не придумала.

Я признаюсь в этих первых ощущениях лишь затем, что знаю — раннее детство и зрелость человека находятся в таинственном соответствии, замыкают некий круг, приблизительной словесной геометрией описывая развитие личности.

Следующее долгое время: война. Мне уже приходилось писать о том, как я помню ее первый день, последний и промежуток всенародного бедствия между ними. Я была лишь ребёнок, упасенный от гибели чудом человеческой доброты. Это чудо сопровождало меня всегда потом, сопутствует и сейчас. Голос бабушки, отвлекающий и защищающий меня от сирены, бомбёжки, затемнения, от эвакуации, от всей безвыходности войны. Бабушка читала мне Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Это предопределило дальнейшую спасенную жизнь. Второе, столь же главное обстоятельство судьбы: именно — безмянные, простые, как кто-то говорит, люди были сроду близки и родимы мне, их несчастья принимала я близко к сердцу, речь — к слуху и уму, только с ними я легко ладила, только их ответственности радовалась.

Послевоенные цветные воспоминания: салют 9 Мая, объятия и слёзы. Но сильнее, цветнее: урок рисования в школе. До этого урока мою детскую замкнутость принимали за несообщительность и неударённость к учению. Помню, как стоит надо мной учительница и сопровождающая ее комиссия и я ставлю ударения только на согласных звуках. Все они ужасаются, и я вместе с ними. Но вот упомянутый урок рисования. Учитель, вернувшийся с войны, раненый, в единственной своей военной одежде и, как теперь я вижу, еще чем-то раненный и новым ранам обречённый, грустно говорит: „Дети, нарисуйте День Победы”. Я трачу все мои цветные карандаши на бесформенность, как потом бы сказали, абстрактность изображенного представления. Впервые получаю пять с плюсом, навсегда запоминаю печальное лицо учителя. С тех пор я не считалась неударённым ребенком и знаю, как всякое человеческое дарование нуждается в поощрении, в одобрении. Я, сколько помню, не видела плохих и неударённых людей, как-то разминулись на белом свете. Забота моих школьных, а потом моих литературных учителей оберегала меня и содействовала мне.

Эти мои слова обращены к тем, чья любовь, так заметно для меня, упасает меня от беды и печали. Крайним несчастьем для себя я считала бы возможность провиниться перед теми, кто внял мне и доверился моему слову. Но я надеюсь, что нет у меня такой ужасной возможности.

Короче говоря — предисловие к своей книге следует писать в двух случаях: когда это входит в художественный замысел или когда автор чистосердечно оправдывается в несовершенстве книги. Этот автор (я) имеет в виду и то, и другое. И еще одно, уже последнее: прошу Вас, поймите и простите меня, примите мою любовь.

Ваша Белла Ахмадулина

3 сентября 1987

**АВТОРСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
К СТИХОТВОРЕНИЮ „ЛАРЕЦ И КЛЮЧ”**

Долго писано вчерне и переписано карандашом и ручкой CROSS, подаренными В.Аксёновым в футляре с надписью: „Белке вместо Гусиного Паркера, но для той же цели. Ваш VAS”.

Писано набело PARKERом, подаренным Авторхановым. Мысль о дарителях сопутствовала дням.

Навеяно чтением книги Э.Г.Герштейн (должна появиться в летних номерах воронежского журнала „Подъём”). Вкратце: в Воронеже с Мандельштамами соотносился трагический и ущербный Рудаков, получавший его автографы, записывавший за О.М. толкования его стихотворений, их варианты и многие сведения, полученные от О.Э. и Н.Я. Это так и называлось: „ключ”, к которому я добавила „ларец”. После смерти Рудакова на войне его вдова корыстно расточила всё это (также и рукописи Гумилёва, доверенные Рудакову А.А.Ахматовой).

Воронежский писатель, действительно, вошел в дверь в соответствующем месте стихотворения. Простодушно спросил: а зачем вам Мендельштам?

В Воронеже — памятник Петру: одна рука простёрта, в другой якорь, второй якорь у постамента. О.М. называл памятник: „Пётр-якорник”.

В книге опубликованы письма Рудакова к жене, интересные для исследователя и непристойные и развязные в отношении Мандельштамов. Подвергая их как бы объективному анализу, Э.Г.Герштейн заметно и как-то жалко сводит счёты с Н.Я.Мандельштам. Я робко и почтительно посоветовала Э.Г. открыто признаться в том, что она обижена и уязвлена Н.Я., или не применять мстительного сар-

кастического тона к ее воспоминаниям, которые, к тому же, даже в „Подъеме” не опубликованы. Но, во всех смыслах, уже поздно и Н.Я. несомненно торжествует. Так и вижу и слышу ее едкий смех, усиленный дымом „Беломора”.

Я сделала эти записи 22 июня 1988 года лишь потому, что они как-то совпадают с не моими ларцом и ключом.

22 июня 1988



*Белла
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 3

РЕЦЕНЗИИ

СЧАСТЛИВЫЙ ДАР ДОБРОТЫ

Человек многое уже знал, у него были и хорошие, и дурные сведения, но он предпочёл сказать доброе слово об этом мире, о многих его чудесах. Так возникла книга стихов для детей, а также для всех людей, которым, как некогда Мандельштаму, выпадет вдруг настроение „только детские книги читать, только детские думы лелеять”... Человеку, поступившему столь справедливо, следует ответить добрым словом — так, может быть, и возникнет рецензия без моего усилия и умения.

Книга эта, написанная Юрием Коринцом, называется „Суббота в понедельник”* — в честь стихотворения о семи днях недели, которые, играя и капризная, все поменялись местами и повергли в недоумение здравомыслящих людей. С подобным своеволием ведут себя и другие предметы, о которых в книге идет речь: все они оживают для шалостей и лукавства, непринуждённо перемещаются вкривь и вкось, никого при этом не обижая. В этом вольном нарушении трезвой житейской логики я вижу соответствие и смелости детского ума, и правилам поэзии. Дети не знают скучной мёртвости: все вещи, ведомые им, населены живыми и милыми пульсами и потому свободны поступать по своему усмотрению. Так и поэзия относится к выбранному ею предмету, помещая его в странное, непривычное, неожиданное положение относительно традиции общего восприятия.

Цветаева заметила как-то, что дети часто хотят жить в чём-нибудь другом и немыслимом, в фонаре, например.

* Юрий Коринец. Суббота в понедельник: Стихи и сказки. М. : Детская литература, 1966.

Мне в детстве хотелось жить в овальном пейзаже, грубо вмалёванном в фарфоровую сахарницу. Любой ребёнок придётся даже благополучному быту не обывателем, а художником, и вымыслом ему веселей владеть, чем предметом. Так вот, для тех, чьей бескорыстной душе угодно погостить вдалеке, Коринец подготовил некоторый странный и счастливый дом, который то и дело возникает в стихах в разных обличьях и очертаниях. В одном, наиболее таинственном случае дом, одиноко живущий в лесу, приютил в себе сильное и доброе колдовство, заметно влияющее на всех его обитателей. В другом — он стал малой таёжной избушкой, где хозяйничают одна старуха и великое множество солнечных зайчиков. А вот большой и причудливый дом, принадлежащий художнику, и так этот дом художника любит, хвалит и опекает, что смерти его не может пережить. Дом, столь милый и желанный для автора, всегда существует по-разному и в разных местах, но характер его неизменен: он склонен к странностям и волшебству, покровительствует людям и животным и беспредельно добр. У самого Коринца рано не стало дома и родителей, но зато он много странствовал, во многих домах гостил. Видимо, тогда он и узнал нечто очень важное о доброте, потому что описание ее он доводит до большой и счастливой чрезмерности. В одном доме, например, добрые старики развели столько кроликов, что можно увидеть во сне, как всё их не поддающееся подсчёту обилие хлопочет по хозяйству и делает другое добро, оглашая поля веселым кроличьим смехом. В другом доме жили триста тридцать три прекрасных человека, все безмерно любили и жалели друг друга и по этой причине много было между ними чудес. Уж такого количества добрых людей, домов и кроликов всем должно хватить для радости и утешения.

Но добрая эта речь чужда неопределённости и витиеватости: точными, разумно выбранными словами она впрямую, без лукавства, информирует читателя о сути замысла. Описания кратки и убедительны, как исчерпывающая неполнота детских рисунков, где лишь главная линия стоит под ударением цвета. В одном стихотворении действуют лишь некие „лапки”, не обременённые головой и хвостом,

но по лёгкой их поступи, всегда имеющей цель и не знающей лишнего жеста, можно судить о нраве и облике кошки, не названной по имени. Невнятная печаль пустого поля становится более живой и острой, когда зрение усваивает живописное сиротство стогов, разминувшихся друг с другом. Яблоко забыло упасть с ветки, и никто его не снял, — вот почему длится, не кончается осень

В книге много стихов о природе, написанных в серьёзной, высокой интонации, и хорошо, что природа предстанет пред детьми не фамильярностью мелких солнышек, травок и ручейков, но значительностью солнца, растений, воды, располагающей к удивлению и раздумью.

В скромный простор этой книги вместились большие расстояния земли, много людей, умудрённых добротой и ремёслами, звери, облака, дома́, плоты, пароходы. Всё это автор изведal сполна, близко принял к сердцу и теперь предлагает вам. А вы возьмите — на радость себе и ему.

1966

ДОБРЫЙ И ЯСНЫЙ СВЕТ

Я не была в этой стране и не знаю, те же, кто были и знают, говорят: „Это чудо, которое не с чем сравнить, потому что оно одно, одиноко, не похоже ни на что другое”.

Но вот что говорит маленькая женщина, вышедшая утром в маленький сад, где растения и камни пребывают в равенстве жизни и красы:

Милая, родная Япония,
ты похожа очертаниями
на облако,
на то, что медленно
проплывает над тобой.

И еще она говорит:

О, Япония, как ты прекрасна
в полосках света и тени,
как ты до боли прекрасна
в страданье своем.

Прелестно, мило слуху имя маленькой женщины: Су-мако Фукао*. Прелестна душа ее, склонная к любви и добру, желающая одарить человека нежностью.

Пожалуйста,
я прошу вас,
подождите —

* Сумако Фукао. Избранная лирика / Перевод с японского Е.Винокурова. М.: Прогресс, 1966.

вот сейчас
мое сердце
раскроет свои лепестки,
как цветок.
А если у вас
найдется
еще хоть минута, —
я превращусь
в звезду.

Выполните эту доверчивую просьбу, выберите минуту — эта книга избранной лирики невелика, — и вы увидите, что Сумако Фукао говорит правду: ваша память обретет еще один добрый и ясный свет.

Сумако Фукао чистосердечна, как и подобает художнику: лукавящий со словом обречён его утратить. Но ее пленительная непринуждённость духа и речи всегда женского или даже детского свойства. Вот о чём задумалась она глубоко осенью:

А не нарисовать ли,
склонив набок голову, — рыбку?..

Как убедителен этот грациозный жест, как трогательна младенческая откровенность! (В русской поэзии право ногу ножкой называть Цветаева лишь за Пушкиным признавала.) Женственность и профессиональность едины в характере Сумако Фукао. Я привыкла ценить в моём ремесле твёрдость руки, мощь дыхания, отвагу и серьёзность ума, а вот люблюсь же этим милым и беззащитным — совершенно женским — признанием:

О едва различимые
оттенки!
Блики на снегу, —
вы — опора
сердца женщины.

Сумако Фукао любит уют малых пространств, малых

предметов, она с почтением и восторгом воздаёт хвалу всем малостям живой жизни, потому что каждая из них — и цветок, и тмин, и укроп, и воробей, и снежинка — большая радость для опечаленного человека.

Я смотрю
на яркие краски огурца и баклажана
и думаю:
„Человеку отчаиваться еще рано, рано...”

Приметив влюблённым взором малые и милые приметы земли, она и всю землю слышит в себе и принимает близко к сердцу: „...мир собирается в моей комнате”.

Хорошо, что в этом мире, где еще убивают детей, жгут книги, не ведают жалости и стыда, хорошо, что в этом мире звучат слова:

О, невыразимая красота
всего, что не погибло,
всего, что не разрушено.

У стихов Сумако Фукао счастливая судьба: вот они утратили первоначальное звучание и попали в новый язык, нам родимый, им чужой. Они могли бы остаться в немом и беспомощном сиротстве, но, к счастью, им было воздано добром за добро. Жить им в чужом языке или умереть бесполезно — это зависело от переводчика. Поэт Евгений Винокуров щедро, любовно, кропотливо вернул им звук, дыхание, красоту. Редактором книги был тоже поэт — Юрий Левитанский, и видно, что рука его была внимательна и деликатна.

Людям следует собираться вместе не для злого, но для доброго дела — пусть же светит им привет от Сумако Фукао:

... и становитесь всё же,
собираясь вместе,
прекрасней,
будьте, как букет цветов.

1967

Белла Ахмадулина

Я глубоко уверена, что труд, совершённый и совершаемый А.Е.Глускиной*, имеет драгоценное значение: он так пугающе обширен, так величественно скрупулёзен и, видимо, так тяжёлок, что нам остается лишь с лёгкостью насладиться его итогом. Всё сделано за нас: непостижимая даль иного языка, иного времени, иной и пленительной души, накрепко зашифрованной в таинственные знаки, оберегающие замкнутость национального духа от грубого любопытства чужестранцев, — всё это преодолено, но вовсе не обижено, не повреждено, а в целостности и сохранности преподнесено нам, для нашей радости. Передаваясь блаженству этого чтения, мы не замечаем, что предаёмся важному поучению, просвещению, улучшению ума и сердца, которые даются нам удобно и легко — тяжким усилием чьей-то любви, кропотливости, сосредоточенности, многознания и прочих качеств, для краткости и справедливости именуемых талантом переводчика. Талант переводчика — единственная возможность для нас поверить Слову, а не на слово, что поэт, скрытый от нас в своем языке, — прекрасен. И лишь потому, что переводчик „японских пятистиший” и „Манъёсю” счастливо и сильно одарён поэтической гармонией, — не схоластическим знанием, а убедительной достоверностью яви приходятся нам дивные поэты и поэтессы Японии, жившие так давно, любившие так нежно, страдавшие так сильно, возведшие беззащитную хрупкость в неуязвимое могущество.

1972

* „Манъёсю” : [Антология японской поэзии. В 3-х т.]. Пер. с япон., вступ. статья и коммент. А.Е.Глускиной. М. : Глав. ред. вост. лит. изд-ва „Наука”, 1971—1972.

Как в детстве в день праздника — проснуться не завсегда-тем быта, а избранником судьбы, приближенным Ёлки, когда твои умыванье, одеванье, поеданье завтрака относятся не к тебе, а к придворным хлопотам о *ее* воцаренье. Не то же ли самое с Театром, возводящим нас в чин ребёнка, ожидающего волшебства? Ты еще отмываешь лицо от недолгого сна, глотаешь кофейную гущу, борешься с предметами: ненужные рвутся за тобой, нужные норовят остаться — а между тобой и бело-алой, каменно-бархатной громадой шатра уже протянулся пунктир неминуемой связи, оркестранты вразнобой примеряются к вашему единству и Та, ради которой — всё, уже бледна и еще раз испытывает соотношение ног и Божьей милости. Одновременно где-нибудь в Салтыковке, при последнем издыхании сирени, рослая нескладная девочка запускает многоугольник локтей и колен в погоню за электричкой и, едва не обогнав ее, прыгает в вагон. На ней белое платье в черный горох с красным цветком из бумажного сада. Тебе нет до нее никакого дела, но ответвление того пунктира нащупывает ее в мирозданье и упирается в красный цветок. Солнце точно в зените, а ты опаздываешь, и затруднённое движение такси, не соразмерное со спешкой нервов, терзает тебя, как продираание тела сквозь кустарник. Твое явление на солнцепёке меж белых колонн поистине величественно, к тебе взывает множество

* Балет „Анна Каренина” (музыка Р.Щедрина, либретто Б.Львова-Анохина), поставленный на сцене Государственного академического Большого театра (балетмейстеры-постановщики М.Плисецкая, Н.Рыженко, В.Смирнов-Голованов, художник В.Левенталь, дирижёр Ю.Симонов, в главной роли — Майя Плисецкая).

жаждущих рук, ты наугад снабжаешь их чудом и таким образом на три часа помещаешь в угол глаза черный горох на белом фоне. Для лишнего блаженства спрашиваешь перламутровый бинокль у грациозного антикварного старца в гардеробе, упираешься локтем в бархат, в глубину времени, источающую привет-наме́к-упре́к: при этих-то чудесах, при детском золоте Театра — зачем, возможно ли затевать злое дело или грубые помыслы, не проще ли предаться музыке, всегда повествующей о любви?

Пусть просвещённые и досточтимые ценители музыки обдумывают и говорят свои справедливые слова, мне следует знать свой шесток и не рассуждать о музыке, но обратиться к ней доверчивый лопухий слух. Тем более что *эта* музыка умна, сильна, независима, не склонна любезничать со слушателем, впрямую растолковывая что к чему, и предлагает скорее раздумье, чем бессознательный трепет. Увертюра сдержанно и неболтливо уведомляет нас о значительности предстоящих событий, и торжественно обнажаются декорации — важные, лаконичные, с очень глубоким, угрюмо поблескивающим объёмом, удобным для безысходной мўки и редких ослепительных просветов радости. Спешу поздравить художника В.Левентая (и заодно похвалиться во всеуслышанье, что некогда мы занимались в одном Доме пионеров) — привет и браво!

Всё начинается при снегопаде, при грустных фонарях, с кружения снега и изящных силуэтов вокзальной публики — надо сказать, что все группы и множества людей — на перроне, на балу и везде по ходу спектакля — сплочены гармонией и играют свою второстепенную роль по правилам первоклассного мастерства.

И вот черные горохи приходят в неистовое волнение и даже, кажется, гремят в погремужке восторга — появляется Та, которой предстоит любить и страдать. Ее объявляет единый влюблённый вздох огромного зала, но и без этого совершенно ясно, что это именно она, хотя она вступает в свой круг скромно, без восклицательных движений, в платье черней темноты. Высоко занеся над общим порядком острое, знаменательное лицо, она поигрывает почти нескладным избытком грации и заведомо прельщает внима-

ние. Конечно же, это Та, в которой так сильно чувство судьбы, уже материализовавшейся в образе Станционного мужика (приблизительно того, чья многозначительная гибель под колёсами паровоза предопределяет исход романа). Артист Ю.Владимиров играет эту реальную и мистическую роль, под отдельные аплодисменты, с удалью таланта, усвоившего все классические и современные уроки, и, может быть, именно поэтому подчас кажется не столько зловещим, сколько привлекательным, не грозным роком, а милой нечистой силой, разбушевавшимся домовым например.

Если страсть к балету не вполне отвлекла вас от памяти о знаменитой книге, вы легко можете представить себе, что происходит дальше, — с естественной поправкой на условность жанра, кстати, не обидевшего литературную основу ни развязностью, ни педантичностью воспроизведения. Всё гибельнее и неизбежней сокращается пространство разлуки между Той, которая обречена погибнуть, и тем, чей поверхностный блеск с глубоким блеском осуществляет М.Лиёпа — безупречный, как всегда, и не больше Вронский, чем прежде. Но воля великого автора и не предписывает ему громоздкого и незаурядного характера, он и первоначально значителен лишь как партнёр, выполняющий поддержку в лучшем страдании и крайнем крахе. Всё идет своим чередом, всё тягостнее недоумевает чопорный муж, не умеющий и вынужденный мучиться, — мне кажутся отвагой Н.Фадеечева его преднамеренно не балетные, заземлённые движения: после нескольких быстрых, почти житейских шагов, означающих раздумье, нога нервно рисует на полу часть какого-то безвыходного круга, руки сомкнуты за спиной, в лице — демонстративно драматическое выражение, смягчённое хорошо скрытым актёрским лукавством: дескать, таков приём и я его доблестно выполняю.

И — первый триумф, назревший в конце несколько рационального и медлительного действия. Та, которая выбрала — любить, пришла сама, не оставила себе ничего, их лица сведены вплотную в опустевшей вселенной. Эта сцена так сильна, так целомудренна в своей неплатонической сути и так исполнена обволакивающего артистизма, что сослаться на быстрый холодок мурашек по спине проще,

чем подыскать слова похвалы. Бумажный цветок рядом со мной распускается в живую плоть и отчётливо пахнет розой — и всё в честь Той, для которой сегодня погибло столько цветов. Она еще надолго отдана вашему зрению — облачённая в разноцветные туманы, огромно-хрупкая, плавная, как сосуд, и резкая, как разбитое стекло. Просияют балльные шествия, огибающие ее сиротскую отдельность, промчатся сверкающие, эффектно и остроумно решенные скачки, возвысятся своды надменного дома — и везде ей предстоит страдать, а вам — сострадать и прослезиться, когда она придет к покинутому сыну. (Правда, на этот раз уже не только по причине искусства, как это было в тот миг, когда она пошатнулась, раненная падением предполагаемой Фру-Фру, видимо, случившимся где-то над вашими головами, но и потому, что как же не прослезиться при виде живого, настоящего, чудного ребёнка, вовлечённого во взрослые игры.) Затем ступит танец Рока, световые и музыкальные силы сольются в истребляющее железо (отчасти заглушающее невыносимую мысль о том — помните? — красном мешочке, который она почему-то не хотела брать с собой *туда*), и она падёт ниц, обретя искомое совершенство несходства и неблагополучия. Горохи последний раз запрыгают над бьющимся сердцем.

Но подлинными драгоценностями, соединяющими промежутки элегантного, дисциплинированного и холодноватого зрелища, останутся пылкие и мучительные диалоги двух влюблённых — „о свойствах страсти“, о вечной неразрешимости, возбуждающей прекрасное искусство.

Вы скажете, что всё это не вполне совпадает с балетом. Но ведь и балет не вполне совпадает с романом. Пусть это будет нечто по мотивам балета по мотивам романа. Пусть это будет бедный бумажный цветок к ногам Той, чей образ, помещённый в юные золотые зрачки, движется в сторону Салтыковки.

1972

Здесь он ходил. Здесь смотрел. Здесь любил... Здесь записал. Написал!

Я смотрела маленькую картину... нет — картинку, видение...*

О тверских местах, где он, Пушкин, жил, любил, писал. И мне захотелось продолжить это нескончаемое раздумье о Пушкине, которое длится и помимо наших усилий, как жизнь Земли, как непреклонный ход светил. Нельзя уличить природу в бездействии, в отсутствии времени года или заподозрить небо в отсутствии звезды: сейчас невидима, но есть же! Так и ваше, мое, общее наше национальное сознание нельзя застать врасплох, без присутствия в нём Пушкина. Его владения неисчислимы нашего знания и сознания, он присвоен кровообращением народа, да так и передается — из пульса в пульс, из поколения в поколение. Вот та старая-престарая женщина, близкая соседка Пушкина уже по другой, по псковской земле, да и по времени не дальняя его соседка — боюсь, нет ее больше поверх этой благословенной земли, давно это было. Я озябла на сеновале и вернулась среди ночи в дом. Женщина эта, истратившая глаза свои на долгое зрение, на слёзы по сыновьям, по мужу и по всем, кого случилось ей пережить, увидела всё же множество сена в моих волосах и — как она смеялась! И за этот отдых смеха и ночного веселья она чётко заметила и полюбила меня, и долго шел мне привет из деревни Малы.

В ту позднюю осень, так похожую на эту тверскую, что на экране, избыток северного сияния достигал наших не-

* „Земля тверская, пушкинские места” (режиссер А.Миров, оператор В.Супрун. „Альманах кинопутешествий” № 109. Центрнаучфильм).

бес. Призрачно бледнели на стенах избы́ лица погибших и умерших. Невнятные эти снимки, изначально размытые непристальным фокусом, не снесли влияния времени, стали вовсе блеклы и слабы... Женщина, оплакавшая их и с тех пор впервые смеявшаяся той ночью, никогда не читала ни одной книги. Кем же приходился ей Пушкин, что и тогда, как всегда, не было сомнений в его явном присутствии, в необоримой неистребимости его краткой жизни? Был ли он для нее лишь наслышкой, особенно могучей в тех местах, слухом, которым земля полнится, который по всей Руси великой — сами знаете, что прошел и всегда будет идти? Да, и наслышкой и чудной легендой — о добром, о прелестном, о курчавом, в красной рубахе, терпевшем за правду, всех жалевшем, убитом злодеем и доньне жалеющем всех, у кого печаль. И всё же Пушкина в ней было больше, чем сведений о нём, — столько, сколько благородно-живучей прочности, сколько несказанной речи, сколько ясного разума, не учёного грамоте, не имеющего изъяна темноты. Что ж, дело не хитрое — Пушкин и есть наша речь, наша словесность, наша оснащённость разумом и совестью, в жизни и житье-бытье.

Ну, хорошо, а из тех, кто заботливо и неизбежно научен читать, всякий ли читает Пушкина? Вдруг нет, вдруг кто-нибудь не читает, знать не хочет, алчет иной выгоды, как будто есть более счастливая прибыль, чем прибыль Пушкина в нашей душе, всё возрастающая по мере жизни? Кому не завидна эта корысть — пусть, не станем принуждать. Пушкин позаботится о том, чтобы не вовсе заглохла и одичала его душа, чтобы уста его детей открывались не для зла или вздора, а для сотворения родимой речи. У Пушкина достанет сил и времени, его столько, сколько нас — нынешних и грядущих.

И напоследок, на память о том, что Пушкин, как никто другой, держал сердце в доблестном напряжении возвышенного дружеского чувства, говорю: о други, о друзья мои, он, давший нам так много, живший так недолго, страдавший так сильно, — какое блаженство, что он родился!

1976

„Сначала — музыка, но речь вольна о музыке глаголить”, — всё вертелись на языке две строки из стихотворения, автор которого по своему усмотрению и произволу как бы удостоверяет одновременно наше право рассуждать о музыке и бесполезность этого рассуждения: с красноречием музыки тщетно тягаться. Тот же автор неосторожно попадает в двойной тупик, поскольку в этой заметке речь идет о фильме, в котором речь идет о музыке.

Между тем, лишь великим поэтам удавалось выйти с честью из вечной схватки двух соседствующих, соперничающих, взаимно ревнующих стихий: звука и слова. И тогда на память человечеству оставались чудно двоящиеся шедевры: музыка о музыке. Разумеется, наша задача сейчас — более деловая и скромная. Хотя человек в начале любой художественной затеи всё-таки должен намереваться совершить чудо, а не заведомое что-нибудь так себе.

Итак, „Воспоминание о Шостаковиче”* — фильм о великом музыканте. В фильме о... всегда есть опасность видимой лёгкости. То есть доверчивые авторы подчас так полагаются на гений природы или человека, который собираются воспеть, что словно освобождают себя от творческих обязанностей, от усилий собственного таланта. Но художникам, и документалистам в том числе, никакие обстоятельства не предлагают такой поблажки. Конечно, природа или музыка безукоризненно сыграют свою роль, но надобен еще особенный взгляд на предмет, сильное присутствие авторской личности. Вот и всё, пожалуй, что можно сказать о

* „Воспоминание о Шостаковиче” (сценарий Л. Белокурова, режиссер Б. Гольденбланк. Центрнауцфильм).

единственном недостатке этого тщательного и поучительного фильма.

Фильм, преднамеренно и благородно просветительский, растолковывающий, иллюстрирующий, обращённый к самой широкой, по-разному искушённой аудитории. Наверное, по нему, как по букварю, многие пытливые новички попытаются проникнуть в грамоту бессмертных симфоний. Подлинные же любители музыки и сами знают тайну, ведомую только им, — кстати, замечательные кадры фильма относятся к ним, к человечеству, внимающему музыке.

В содержании фильма — две драгоценности: музыка и живое лицо сотворившего ее человека. Застигнутый камерой врасплох или по договорённости, беззащитный перед помехой стороннего внимания, человек этот явно не может отвлечься, освободиться от того, что слышно лишь ему, по сравнению с чем всё остальное — лишь пустяк, досадная малость житья-бытья. Его обнажённо живущее, мерцающее, быстрое лицо: блеск, блик, тень — равно тому, что он слышит, и несказанно прекрасно. Слова же его трогательно сбивчивы, затруднены: ах, что ему все наши слова, это ли способ объясниться!

Речь о музыке, как ей и подобает, не то, чтобы уступает музыке, она и не силится с ней состязаться, скромно сопутствует ей, прилежно объясняя доходчивыми аксиомами то, что остается волшебно необъяснимым, заманивающим думать.

Если добычей зрителя станут волнение и мысль — лучшей удачи нельзя и пожелать авторам фильма.



*Белла
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ · ТОМ 3

«ПОСВЯЩЕНИЕ
ДАМАМ
И ГОСПОДАМ...»

**ПОСВЯЩЕНИЕ ДАМАМ И ГОСПОДАМ,
ЗАПЕЧАТЛЁННЫМ ФОТОГРАФОМ ЛЕТОМ 1913 ГОДА
В Н-СКОЙ ГУБЕРНИИ ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ**

Уходит жизнь — уж так заведено, —
Уходит с каждым днём не удержи́мо.
И прошлое ко мне неприми́римо,
И то, что есть, и то, что суждено.

Петрарка
Сонет CCLXXII

...Над вымыслом слезами обольюсь...

Пушкин

Кто бы они ни были, им остается ровно год: для непрерывных празднеств и торжеств, фейерверков, кавалькад, балов-аллегри, музыкальных вечеров, любительских спектаклей и для любви, конечно, для любви, как всегда — особенной и роковой, как никогда — особенной и роковой в то лето крайнего и последнего благоденствия. Ясные сухие погоды перемежались краткими грозами, вольное электричество гуляло в воздухе, но они уже привыкли знать, что оно, вопреки Зевсу и Юпитеру, укрощено Эдисоном для свечения матовых лампионов, блеска витрин, услужливости лифтов и еще каких-то моторов и механизмов. И есть громоотвод. Однако вскоре, 20 июля, в день Илии пророка, так польхнёт и громыхнёт, что кто-то, в шутку, перекрестится и скажет, как нянька говаривала: „Не из всякой тучи гром, а и грянул — не про нас. С нами Царица Небесная!“ Радуги строились и разрушались над церковью на холме. Но оставались другие, более прочные, как барыням казалось: в хрустале бокалов и люстр, в скромных алмазных подвесках. Тихий пред-погожий закат омрачался вмешательством знаков и фигур, раздражительно менявших очертания, словно писавший черным по алому отчаивался, ужасался непонятливости этих групп и сборищ внизу. Солнце — вдруг навсегда? — быстро уходило за дальнюю хвою. Граммофон самовольно провожал его арией Каварадосси: „И вот я умираю...

„ПОСВЯЩЕНИЕ ДАМАМ И ГОСПОДАМ...“

Ах, никогда я так не жаждал жизни!” В деревянное основание поющего устройства был привнесён медальон с изображением Льва Толстого. Трёх лет не прошло, как умер великий мучительный человек, они уже освоились с грандиозностью его ухода прочь, без гнёта его постоянного надзидания и укора втайне им полегчало, но и страшно становилось от покинутости им на беспризорную свободу. Впрочем, всё было хорошо и прекрасно — как никогда прежде и потом.

Действующие лица помещены в Н-ской губернии, но воображение льнёт к близости Петербурга, соотнося сосны, берёзы, молодой ельник, туалеты дам, осанку кавалеров и вольное усмотрение сочинителя. Это был доброкачественный, добропорядочный, двояко отчётливый круг: средневысший, статско-военный, замкнуто-широкий. Знали бы они, что семьдесят семь лет спустя кто-то войдет в их круг через увеличительное стекло, чтобы любить их, любоваться ими, скрывать от них обречённость всего, что кажется им незыблемым, неотъемлемым, необоримым.

Нечего каркать, у них впереди — целый год, даже больше года, это чуждое лето молодозелено, у меня же, для соседства с ними, — минувший день, иссякающая ночь, они могут медлить, я спешу. Они медлят, я спешу, но и следующая, нынешняя, ночь на исходе. Значит ли что-нибудь для них, что я прихожусь им незримым сторожем с неслышимой колотушкой, усающим их покой? Но это у меня осень и ночь под утро, у них — летний полдень, они всё так же покойны и беспечны. Я прижилась к ним, я знаю о них больше, чем они, не проболтаться бы ни им, ни Вам. Кое-что всё же можно сказать, не нарушив щепетильных правил.

Молодая дама и офицер разделены деревом, наглядной чертой невидимых препон, но осязаемый пунктир пульсирует между ними, соединяя их в остановленном мгновении, сохранном поныне. Только они смотрят в объектив, только для них это важно. Через минуту они встанут и пойдут по аллее. Она откроет и закроет зонтик. Спросит: — Когда Вы едете? — Завтра. — Новое назначение благоприятно? — В известном Вам смысле. И в том смысле, что везде одно и то же. — Вот как? — Я хотел сказать: для меня, во мне.

Он смотрит на анютины глазки, приколотые к атласному поясу белого платья. В его сапогах отражается свет, на лице лежит тень, в значение которой она будет бессмысленно вчитываться в декабре следующего года. Привычный уже заголовок газетных сообщений, предшествующий списку убитых и раненых, покажется несообразным, непонятным:

„С ТЕАТРА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ”.

Горничная подумает, что барыня сделалась похожа на слабоумную кухаркину девочку. А она всё будет повторять про себя: — Откуда? Ах, да, с театра. Но что за театр такой? Действий, разумеется. Зачем, каких? Военных. С театра. Военных. Действий.

Зато он никогда не узнает, и дико, несусветно, безобразно было бы жить и знать, что через малое страшное время от всей ее прелести и гордыни останется обрывок тюля, осколки зеркал, букет анютиных глазок, раздавленный пьяным подкованным каблуком. Но я — автор сочинения — не хочу, не позволяю. Пусть не год, не лето, но целый тот день еще принадлежит им, их силуэты еще видны в бесконечной аллее, и теперь видны.

Я привыкла ко всем участникам фотографического сюжета, привязалась и к полным дамам в брюссельских кружевах, даже к той, в шляпе с высоким эспри, делающей комуто ручкой, пока изящный ироничный офицер, всеобщий и мой любимец, поднимает и преподносит оброненный платок. Он видим нам во всю свою складную долговязость, умеющую умерять глиссаду вальса, преломляться в колене, безукоризненно облекать бока обожаемой лошади. С какой стати мне отпустить его в близкую гибель? Пусть на той же пиршественной лужайке выпьет веселого вина, перемолвится словом с приятелем, тем, с меланхолическими глазами и усами, тайком посвящёнными Лермонтову, чем и был дразним.

Я не стану смущать милую супругу высокопоставленного лица, застенчиво позирующую в велосипедной упряжке. Она известна чистотой религиозных чувств и благотворительной деятельностью, ее тяготит богатство, и напрасно, вскоре она совершенно искупит его греховность.

„ПОСВЯЩЕНИЕ ДАМАМ И ГОСПОДАМ...”

Трое скептических офицеров отвлечены от вина фотографом, один, еще не раскуривший сигару, раздражён докучливой помехой. Не говорить же им до времени, что они проиграют войну. Жизнь — что? — она заведомо посвящена России, но и Россию они проиграют. Или нет?

При снисходительности офицера в белом кителе, скрытом неодобрении нижних чинов и любопытстве местных ребятишек дама неловко целится из винтовки. Пусть всегда пребывают в той же позиции, не зная, что они — сами мишень, уже взятая на прицел тем, кто не промахнётся, хоть и стреляет хуже, чем они.

Мне жаль прощаться с ними, но я оставляю их не на растерзание грядущему, а разгару лета и беспечного пикника, вблизи породистых вин и десерта, увенчанного ананасом.

Еще не вечер, более года остается им до сараевского убийства и последующих событий. Я желаю им счастливо-го пиршества, драгоценных великих пустяков, из коих состоит выпуклая, живая, как бы бессмертная жизнь на снимках. Пусть здравствуют и благоденствуют, пока возможно. Безмолвно добавляю: Вечная память.

КОММЕНТАРИИ

- с.7 Впервые опубликовано в журнале „Звезда Востока” (1967, № 3).
- с.12 Впервые опубликовано (с сокращениями) в журнале „Литературная Грузия” (1963, № 12) под названием „Дождь”.
- с.17 *Кваренги Джакомо* (1744–1817) – итальянский архитектор-классицист, работавший в России.
- с.17 *Василий Блаженный* – Собор Покрова „что на рву” на Красной площади в Москве.
- с.19 *Блок Александр Александрович* (1880 – 1921) – поэт.
- с.23 Впервые опубликовано в журнале „Юность” (1964, № 1).
- с.28 *Санта Лючия* – неаполитанская песня.
- с.28 *Генуя* – город в Италии, один из крупнейших портов Средиземного моря.
- с.31 *Шурале* (татар.) – леший.
- с.33 *Помпеи* – античный город в Южной Италии, у подножия вулкана *Везувий*, засыпанный при его извержении в 79 г.
- с.33 *Офелия* – персонаж трагедии У. Шекспира „Трагическая история Гамлета, принца Датского”.
- с.34 *Иоанна (Жанна) д’Арк*, Орлеанская дева (ок. 1412–1431) – народная героиня Франции.
- с.34 *Лена* – река в Восточной Сибири.
- с.36 *Леонардо да Винчи* (1452–1519) – итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер.
- с.36 *Джордано Бруно* (1548–1600) – итальянский философ-пантеист, поэт.
- с.38 *Росинант* – лошадь Дон Кихота, героя романа испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведра (1547–1616) „Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский”.
- с.39 *Михайловское* – псковское родовое имение Ганнибалов–Пушкиных, место ссылки поэта в 1824–1826 гг.
- с.47 Впервые опубликовано в журнале „Москва” (1967, № 1).
- с.48 *Юдоль* – о месте, где страдают, мучаются, терпят нужду.
- с.49 *Фуляр* – головной, шейный или носовой платок (обычно цветной) из легкой и мягкой шелковой ткани полотняного переплетения.
- с.51 *Ганнибал Абрам (Ибрагим) Петрович* (1688–1781) – сын эфиоп-

ского князя, камердинер Петра I, генерал-аншеф. Прадед А.С.Пушкина по материнской линии.

с.54 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 13 ноября 1974 г.

с.57 *Керн Анна* Петровна (1800—1879) — знакомая А.С.Пушкина, адресат его стихотворения „Я помню чудное мгновенье...”.

с.59 *Берлиоз Гектор* (1803—1869) — французский композитор, дирижер.

с.59 *Смитсон Генриетта* (Гэрриет) (1800—1854) — ирландская драматическая актриса, исполнительница ролей Офелии и Джульетты. С 1833 г. жена Г.Берлиоза.

с.59 Впервые опубликовано в журнале „Юность” (1983, № 6). Музыкально-поэтическая интерпретация драматической симфонии Г. Берлиоза „Ромео и Джульетта” осуществлена дирижером Геннадием Николаевичем Рождественским (р. 1931) и Б.Ахмадулиной. Эта композиция была дважды исполнена в апреле 1976 г. в Большом зале Московской консерватории Государственным академическим симфоническим оркестром СССР.

с.59 *Шекспир Уильям* (1564—1616) — английский драматург, поэт, актер.

с.61 *Фаятон* (фр.) — легкий экипаж с откидным верхом.

с.65 Впервые опубликовано в книге: *Ахмадулина Б.* Сны о Грузии. Тбилиси: Мерани, 1979. Симфония „Эпизод из жизни артиста (большая фантастическая симфония в 5 частях)” написана Г.Берлиозом в 1830 г.

с.65 *Геенна* (церк.) — ад.

с.65 *Эдем* (библ.) — страна, где обитали Адам и Ева до грехопадения; рай.

с.65 *Баден-Баден* — курортный город на юго-западе Германии.

с.66 „*Одеон*” (Театр де Франс) — французский театр на площади Одеон в Париже, открывшийся в 1783 г.

с.67 *Бах Иоганн Себастьян* (1685—1750) — немецкий композитор, органист.

с.67 *Бетховен Людвиг ван* (1770—1827) — немецкий композитор, пианист, дирижер.

с.70 *Фиакр* (фр.) — легкий наемный экипаж.

с.71 *Парадиз* (англ.) — рай.

с.73 Публикуется впервые. Композиция подготовлена к 75-летию венгерского поэта *Аттилы Йожефа* (1905—1937) и исполнена 15 декабря 1980 г. в посольстве Венгрии автором и артистами Театра на Таганке.

с.78 *Монор* — небольшой венгерский город к юго-востоку от Будапешта.

с.84 *Бабич Михай* (1883—1941) — венгерский поэт, переводчик.

с.85 *Вундеркинд* (нем., дословно: чудо-ребенок) — необыкновенно одаренный ребенок или подросток.

с.86 *Мандельштам Осип Эмилевич* (1891—1938) — поэт.

с.89 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 18 октября 1995 г.

с.89 *Васильевский остров* – самый большой остров в дельте Невы, исторический район Санкт-Петербурга.

с.89 *Погорельский Антоний* (псевдоним *Алексея Алексеевича Перовского*) (1787–1836) – писатель-романтик.

с.89 „*Пушкин писал брату из Михайловского...*” – имеется в виду письмо поэта Л.С.Пушкину от 27 марта 1825 г.: „*Душа моя, что за прелесть „Бабушкин кот”! я перечел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Трифоном Фалалеичем Мурылкиным. Выступаю плавно, зажмуря глаза, повертывая голову и выгибая спину. Погорельский ведь Перовский, не правда ли?*”

с.89 *Логен Поль Эжен Анри* (1848–1903) – французский живописец, скульптор, многие годы проработавший на островах Полинезии.

с.89 *Рождество* – церковный христианский праздник в честь рождения Иисуса Христа.

с.89 *Руссо Жан Жак* (1712–1778) – французский философ-просветитель, писатель, композитор, наиболее влиятельный представитель французского сентиментализма.

с.89 *Святой Николай* – архиепископ мирликийский (IV в.), великий христианский святой, прославившийся чудотворениями при жизни и по смерти, повсеместно чтимый в христианской церкви.

с.90 *Кузнец Вакула* – персонаж повести Н.В.Гоголя „*Ночь перед Рождеством*” из „*Вечеров на хуторе близ Диканьки*” (1831).

с.90 *Декокт* (декокт) (лат.) – отвар из лекарственных трав.

с.90 *Ницше Фридрих* (1844–1900) – немецкий философ.

с.90 „*Русский крест близ Ниццы*” – имеется в виду могила А.И.Герцена (1812– 1870) в окрестностях *Ниццы*, средиземноморского курорта во Франции.

с.90 *Дузе Элеонора* (1858–1924) – итальянская актриса, с огромным успехом выступавшая во многих странах, в том числе и в России.

с.91 *Солутан* – лекарство от кашля.

с.91 *Тверь* – один из политических и культурных центров Руси.

с.91 *Минеи* („*Четьи-Минеи*” – „*чтения ежемесячные*”) – сборники житий святых, составленные по месяцам в соответствии с днями чествования церковью памяти каждого Святого.

с.91 *Нахимов Павел Степанович* (1802–1855) – флотоводец, адмирал.

с.91 *Пилигрим* (итал.) – странствующий богомolec, паломник, странник, путешественник.

с.91 *Пелерина* (фр.) – короткий плащ до пояса в виде круглой накидки или короткая круглая накидка с капюшоном, надеваемая поверх плаща.

с.91 *Крузенштерн Иван Фёдорович* (1770–1846) – мореплаватель, адмирал, начальник первой русской кругосветной экспедиции (1803 –1806).

с.92 *Чадра* (тюрк.) – покрывало, которым женщины-мусульманки закрываются с головы до ног, оставляя открытыми только глаза.

с.92 *Гарлем* – район г. Нью-Йорка на северо-востоке острова Манхаттан,

населенный главным образом неграми („негритянское”, или „черное гетто”).

с.92 *Мансарда* (фр.) — чердачное жилое помещение с косым потолком или косой стеной.

с.92 *Манго* — тропическое плодое дерево с ароматными сладкими плодами.

с.93 *Жан Кокто* (1889—1963) — французский поэт, прозаик, драматург.

с.93 *Кафе „Куполь”* — знаменитое парижское кафе, место встречи художников.

с.93 *Таити* — самый крупный остров в группе островов Общества в Тихом океане.

с.93 *Коралл* (греч.) — известковое отложение морского животного, камень красного, розового и белого цвета, используемый для поделки украшений.

с.93 *Альянс* (фр.) — союз, объединение на основе договорных обязательств.

с.94 *Дрезина* (нем.) — двухосная железнодорожная тележка, передвигаемая по рельсам.

с.94 *Смарагд* — одно из названий изумруда.

с.94 „Ты помнишь ли, как Пушкин анекдот...” — литератор Тит *Космофратов* (псевдоним Владимира Павловича *Титова*, 1807—1891) осенью 1828 г. слышал рассказанную Пушкиным у Карамзиных „сказку про черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров”, записал ее, „пошел с тетрадью к Пушкину в гостиницу Демута, убедил его прослушать от начала до конца, воспользовался многими, поныне очень памятными его поправками” и опубликовал под названием „Уединенный домик на Васильевском” в „Северных цветах” А.Дельвига на 1829 г.

с.94 *Шандал* (устар.) — подсвечник.

с.94 *Дельвиг* Антон Антонович (1798—1831) — поэт, издатель, ближайший лицейский товарищ А.С.Пушкина.

с.95 *Жуковский* Василий Андреевич (1783—1852) — поэт, один из ближайших друзей А.С.Пушкина.

с.95 *Карамзины* — Николай Михайлович (1766—1826), писатель, историк, автор „Истории государства Российского”; его жена Екатерина Андреевна (1780—1851), преданнейший друг А.С.Пушкина; их дети: Александр, Андрей, Владимир, Николай, Екатерина, Елизавета и Софья, с которыми Пушкин также находился в дружеских отношениях.

с.96 *Антихрист* (церк.) — противник Христа.

с.97 Публикуется впервые.

с.97 *Куоккала* (с 1948 г. *Ретимо*) — курортный поселок на берегу Финского залива в Ленинградской области.

с.97 *Метерлинк* Морис (1862—1949) — бельгийский драматург, поэт.

с.98 „Знаменитая пьеса” — пьеса М.Метерлинка „Синяя птица”, поставленная в 1908 г. Московским Художественным театром.

с.98 *Кронштадт* — город и порт на острове Котлин в Финском заливе.

- с.98 *Сапунов* Николай Николаевич (1880–1912) – живописец, театральный художник.
- с.99 „*Блок отвечал так строго*” – имеются в виду записи в Дневнике, сделанные поэтом в июне 1912 г.
- с.99 „*Пока ладью во малу не унесло*” – художник Н.Н.Сапунов утонул в Финском заливе 14 июня 1912 г. О его гибели подробно рассказала актриса В.П.Веригина в своих „Воспоминаниях” (Л., 1974).
- с.99 *Фирс* – персонаж пьесы А.П.Чехова „Вишнёвый сад” (1904).
- с.99 „*Вооруженный зрением узких ос...*” – начальные строки стихотворения О.Мандельштама (1937).
- с.100 *Бемоль, диез* (фр.) – нотные знаки.
- с.100 „*Есть у Бунина образ подобной козы*” – имеется в виду рассказ Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953) „Ночной разговор” (1911).
- с.101 *Териоки* (с 1948 г. *Зеленогорск*) – курортный город на берегу Финского залива в Ленинградской области.
- с.101 *МХАТ* – Московский Художественный академический театр.
- с.102 *Па-де-труа* – одна из музыкально-танцевальных форм в балете, рассчитанная на трёх танцовщиков.
- с.102 *Бельмондо* Жан Поль (р.1933) – французский киноактёр.
- с.102 *Стравинский* Игорь Фёдорович (1882–1971) – композитор и дирижер. С 1914 г. в эмиграции.
- с.102 *Куверт* (устар.) – столовый прибор.
- с.104 *Профундо* (итал.) – грудной, густой (о голосе).
- с.104 *Дебюсси* Клод Ашиль (1862–1918) – французский композитор, основоположник музыкального импрессионизма.
- с.104 *Нащокин* Павел Воинович (1801–1854) – один из близких друзей А.С.Пушкина. Поэт восхищался моделью московской квартиры Нащокина („нащокинский домик”), где ему случалось останавливаться.
- с.104 *Скалы Монрепо*. Монрепо (фр., буквально: мой отдых) – знаменитый садово-парковый ансамбль XVIII в. и особняк семейства Николаи в 2 км от Выборга на берегу Северного залива. На фамильном кладбище Николаи („Остров смерти”) сооружён своеобразный памятник – замок с 4 башенками.
- с.104 „*Знаменитый самобранный стол*” – вращающийся обеденный стол в доме художника Ильи Ефимовича *Репина* (1844–1930).
- с.105 *Периодическая таблица* – естественная система химических элементов, разработанная ученым-химиком Дмитрием Ивановичем *Менделеевым* (1834–1907).
- с.105 „*Пенаты*” – имение И.Е.Репина в Куоккале, в котором он жил с 1900 г.
- с.106 *Толедо* – старая столица Испании, где жил и работал художник *Эль Греко* (псевдоним Доменико Теотокопули) (1541–1614).
- с.106 *Старуха Изергиль*, *Данко* – персонажи рассказа Максима Горького (псевдоним Алексея Максимовича Пешкова) (1868–1936) „Старуха Изергиль” (1895).

- с.106 *Палладио* (наст. фамилия ди Пьетро) Андреа (1508–1580) – итальянский архитектор.
- с.106 *Кватроченто* – итальянское наименование XV века, отмеченного расцветом культуры Раннего возрождения.
- с.106 *„Барочные ужимки“*. Барокко (итал.) – одно из главных стилевых направлений в европейском и американском искусстве конца XVI – середины XVIII в.
- с.106 *Виченца* – город на северо-востоке Италии, в котором много построек архитектора А.Палладио.
- с.106 *Паллий* (лат.) – римское собирательное название греческой верхней одежды. Наиболее часто обозначает просторный плащ.
- с.106 *„Певец старуки знаменитой“*, *„Мрачный вестник бури“* – писатель М.Горький.
- с.106 *Сорренто* – город в южной Италии на берегу Неаполитанского залива, где в 1924–1928 гг. жил М.Горький.
- с.107 *Палермо* – город в Италии на острове Сицилия, административный центр провинции Сицилия.
- с.107 *Джузеппе ди Марино* – вымышленный персонаж.
- с.107 *Граппа* (итал.) – виноградная водка.
- с.108 *Аничков мост* в Санкт-Петербурге, украшенный четырьмя конными группами работы скульптора П.К.Клодта.
- с.108 *„С гостинцем Полуострова скушным“* – минеральная вода „Полуостров“.
- с.109 *„Красный Октябрь“* – ленинградская фабрика музыкальных инструментов.
- с.115 *Антокольские* – Павел Григорьевич (1896–1978), поэт, переводчик, эссеист, и его жена Зоя Константиновна Бажанова-Антокольская (1902–1968), артистка Театра им.Е.Вахтангова.
- с.116 Стихотворение написано в мастерской грузинского чеканщика *Кобы Гурфули*, исполнившего портрет Б.Ахмадулиной, на котором изобразил ее скованной цепью.
- с.117 *Граф де Мирабо* (Оноре Габриель Рикети) (1749–1791) – деятель Великой французской революции. *Мост Мирабо* – один из мостов через реку *Сену* в Париже.
- с.117 *Кама* – река, левый приток Волги.
- с.120 *Эскин Александр Моисеевич* (1901–1985) – первый директор Центрального дома актеров ВТО.
- с.122 *Левин Александр Леонидович* (1931–1996) – врач-отоларинголог.
- с.123 Стихотворения написаны к состоявшимся в декабре 1978 г. совместным выступлениям Б.Ахмадулиной и грузинской эстрадной певицы *Нани Брегвадзе* (р.1938), исполнительницы старинных романсов.
- с.130 *Каплан Анатолий Львович* (1902–1980) – живописец, график, керамист.
- с.132 *Ерофеев Виктор Владимирович* (р.1947) – писатель, критик.
- с.132 *Край Рокфеллера* – Соединенные Штаты Америки. *Рокфеллеры* – одна из богатейших финансовых групп США.

- с.132 *Попов Евгений Анатольевич* (р.1946) — писатель.
- с.132 *Битов Андрей Георгиевич* (р.1937) — писатель.
- с.132 *Искандер Фазиль Абдулович* (р.1929) — писатель.
- с.132 *Аксёнов Василий Павлович* (р.1932) — писатель. С 1980 г. в эмиграции.
- с.133 *Жилко Эдуард Иванович, Дэдик* (р.1931) — инженер.
- с.133 *Сурков Алексей Александрович* (1899—1983) — поэт, общественный деятель.
- с.135 Стихотворение написано по поводу отъезда писателя *Владимира Николаевича Войновича* (р.1932) в эмиграцию.
- с.138 *Роланд* (? —778) — франкский маркграф, участник испанского похода Карла Великого. Герой эпоса „Песнь о Роланде”, а также поэм итальянских поэтов М.Боярдо, Л.Ариосто и др.
- с.140 *Юрмала* — климатический курорт на южном берегу Рижского залива.
- с.140 *Дзинтари, Дубулты, Майори* — приморские посёлки в составе курорта Юрмала.
- с.141 *Бух Арон Фроимович* (р.1923) — живописец, график.
- с.141 *Наталья Ивановна Андреева* — директор Дома творчества Худфонда в Тарусе.
- с.142 *Мессерер Асаф Михайлович* (1903 — 1992) — артист балета, хореограф, педагог.
- с.142 *Одиллия* (Черный лебедь), *Одетта* (Белый лебедь) — действующие лица балета П.И.Чайковского „Лебединое озеро”.
- с.146 *Окуджава Булат Шалвович* (р.1924) — поэт, прозаик.
- с.148 Стихотворение прочитано на вечере памяти поэта *Семена Исааковича Кирсанова* (1906—1972), который состоялся в Музее В. Маяковского.
- с.149 *Высоцкий Владимир Семенович* (1938—1980) — поэт, артист Театра на Таганке, певец.
- с.150 *Чехов Михаил Александрович* (1891—1955) — актер, режиссер, педагог. Племянник А.П.Чехова. Стихотворение прочитано на вечере, посвященном 100-летию со дня рождения М.А.Чехова (16 декабря 1991 г. МХАТ им. А.П.Чехова).
- с.150 „*Кружка для кваса разбилась...*” — слова из письма А.П.Чехова к брату в Таганрог.
- с.151 *Дали Сальвадор* (1904—1989) — испанский живописец, ведущий представитель сюрреализма.
- с.151 *Сакартвело* (груз.) — Грузия.
- с.151 *Чочори* (груз.) — ослик.
- с.151 *Кари* (груз.) — ветер.
- с.151 *Картли* (Карталиния) — историческая область в Восточной Грузии.
- с.151 *Пиросманишвили Николоз* (Нико *Пиросмани*) (1862?—1918) — грузинский художник-примитивист.
- с.151 *Илия* (*Илья*) — великий ветхозаветный пророк, родом из Фесвы.

- с.151 *Зевс* — в греческой мифологии верховный бог.
- с.152 *Самойлов* (наст. фамилия Кауфман) *Давид* Самойлович (1920—1990) — поэт. Стихотворение прочитано автором 31 мая 1995 г. в телевизионной передаче, посвященной памяти Д.Самойлова.
- с.152 *Чемо* (груз.) — мой, милый.
- с.152 *Швило* (груз.) — дитя.
- с.152 *Гмерто* (груз.) — Бог, Боже (как обращение).
- с.153 *Элбе-Хаус* — вилла А.Тёпфера на берегу реки Эльбы.
- с.153 *Тёпфер Алфред* (1894—1993) — немецкий предприниматель, создатель Фонда поощрения литературы и искусства.
- с.153 *Зиггер* — небольшой немецкий городок, в котором получают пансион лауреаты Пушкинской премии, присуждаемой Фондом А.Тёпфера.
- с.153 „*Золотой дождь*” — садовое цветущее растение.
- с.153 *Хельмут, Лизелотта* — сын и сноха А.Тёпфера.
- с.155 *Гомиашвили Арчил* Михайлович (р.1926) — артист театра и кино, предприниматель, владелец клуба „*Золотой Остап*”. Стихотворение прочитано автором на праздновании 25-летия создания фильма „*Двенадцать стульев*” (режиссер Л.Гайдай), в котором А.Гомиашвили сыграл роль Остапа Бендера.
- с.155 Писатели Илья *Ильф* (1897—1937) и Евгений *Петров* (1902—1942) — авторы романов „*Двенадцать стульев*” и „*Золотой теленок*”.
- с.156 *Эйфель* Александр Гюстав (1832—1923) — французский инженер, по проекту которого была сооружена Эйфелева башня в Париже (для Всемирной выставки 1889 г.). Ее строительство вызвало резкие протесты со стороны писателя Эмиля *Золя* (1840—1902) и других деятелей французской литературы и искусства.
- с.156 *Толокнов Борис* Олегович (р.1932) — врач.
- с.157 *Хуциев Марлен* Мартынович (р.1925) — кинорежиссер. Стихотворение прочитано автором на юбилейном вечере режиссера „*Мне 20 лет*” в Киноцентре на Красной Пресне.
- с.157 „*Мне не двадцать лет*” — Б.Ахмадулина снималась в фильме М.Хуциева „*Застава Ильича*” („*Мне двадцать лет*”) (1965).
- с.158 *Адамович Алесь* (Александр Михайлович) (1927—1994) — белорусский писатель, общественный деятель.
- с.158 „*Глаза затравленной газели...*” — строка из стихотворного посвящения Б.Ахмадулиной П.К.Кравченко, бывшего министра иностранных дел Беларуси.
- с.159 *Морель Пьер* — посол Республики Франции в России. *Ольга Морель* — его жена.
- с.160 *Зяма* — Зиновий Ефимович Гердт (1916—1996), артист театра и кино. *Таня* — Татьяна Александровна Правдина, жена З.Е.Гердта.
- с.160 *Снежная королева, Герда* — персонажи сказки датского писателя Х.К.Андерсена (1805 — 1875) „*Снежная королева*”.
- с.161 *Мессерер Борис* Асафович (р.1933) — театральный художник, живописец, график. Муж Б.Ахмадулиной.

- c.161 *not always* (англ.) — не всегда, иногда.
- c.161 (*be careful, Borya*). *I am angry* (англ.) — (будь осторожен, Боря). Я сержусь.
- c.161 *but what a reason* (англ.) — но почему, в чём причина.
- c.161 *and want to cry* (англ.) — и хочу плакать.
- c.161 *be sure: it is true* (англ.) — будь уверен: это правда.
- c.161 *I love You* (англ.) — я люблю тебя.
- c.161 Колумб Христофор (1451–1506) — мореплаватель, открывший Америку.
- c.162 „*Двух Вертинских взгляд и взгляд*” — „Про Вертинских: висела фотография престелных Марьяны и Нasti Вертинских” (Примечание автора).
- c.163 „*And at the very end I'll say: / Good-by, don't commit yourself to love...*” (англ.) — перевод на английский язык начальных слов романса „Прощание”: А напоследок я скажу: / прощай, любить не обязуйся (см. т. I, с. 70).
- c.163 *Бёхово* — деревня на берегу Оки близ Поленова.
- c.168 *Ладыга* — деревня Ладыжино близ Тарусы.
- c.171 Впервые опубликовано в журнале „Колобок” (1976, № 9).
- c.179 *Дон Жуан* — соблазнитель, герой испанской легенды, сюжет которой многократно использован в литературе и на сцене.
- c.182 Подборка стихотворений Т. Гуэрры под названием „Звезда голубая” с предисловием переводчика впервые опубликована в „Литературной газете” 15 ноября 1978 г.
- c.182 *Антониони* Микеланджело (р. 1912) — итальянский кинорежиссер.
- c.182 *Феллини* Федерико (1920–1995) — итальянский сценарист и кинорежиссер.
- c.183 „*Более обширная подборка стихотворений Т. Гуэрры*” — опубликована в журнале „Иностранная литература” (1979, № 7).
- c.183 *Тарковский Андрей* Арсеньевич (1932–1986) — кинорежиссер. С 1982 г. в эмиграции.
- c.184 *Скарабей* — навозный жук, обитающий в южных странах.
- c.198 *Фьезоле* — небольшой очень живописный городок возле Флоренции, богатый историческими памятниками.
- c.198 *Ave* (лат.) — начало католической молитвы: „Радуйся!”; приветствие при встрече и при расставании.
- c.198 *Кампанила* — колокольня при соборе во Фьезоле, построенная в 1213 г.
- c.199 *Флорентийские лилии* — лилия является гербом города Флоренции.
- c.203 *Курпники* — Курпёвская пуща, лесной район на северо-востоке Польши.
- c.203 *Бортник* — пчеловод, занимающийся разведением диких пчел в выдолбленных дуплах или добыванием меда из естественных дупел.
- c.204 *Дукат* — золотая монета, чеканившаяся почти во всех европейских странах, особенно в XVI — XVII вв.

- с.205 *Курпн* — житель Курпёвского района.
- с.206 *Ченстохова* (Ченстохов) — город в Польше. В его костеле находится знаменитая икона „Ченстоховская богоматерь” (XIV в.).
- с.207 *Лорелея* — дева-сирена Рейна, чаровавшая рыбаков своим пением, а затем губившая их.
- с.209 *Рондель* (фр.) — старинная французская „твердая” стихотворная форма: законченное стихотворение в 13 строк, размещенное в 3 строфах.
- с.210 *Ноева голубка* — по велению Божию праведник Ной спасся от всемирного потопа с семьей и животными на построенном им ковчеге. В конце длительного и утомительного плавания Ной трижды выпускал голубя, чтобы узнать, есть ли пригодная для жилья земля.
- с.211 *Ренессанс* (фр.) — период расцвета, подъема, возрождения в развитии какой-либо страны или области науки, искусства.
- с.213 *Кьянти* (итал.) — тосканское виноградное вино.
- с.224 *Криптограмма* — надпись, сделанная с использованием тайнописи, системы изменения письма с целью сделать текст непонятным для непосвященных лиц.
- с.226 *Исфахан* — древний город в Иране, старинный центр художественных ремесел и миниатюры.
- с.228 *Пиццикато* (*пиччикато*) (итал.) — прием извлечения звука на смычковых инструментах щипком, задевая струну пальцем руки.
- с.229 *Пианиссимо* (итал.) — чрезвычайно тихое звучание, один из оттенков динамики в музыке.
- с.231 *Пасхальное яйцо* — одно из яств, употребляемых во время празднования Пасхи, христианского праздника в память Воскресения Иисуса Христа.
- с.234 *Вацлавская площадь* — торговый и деловой центр Праги. Площадь соединяет Старый и Новый город, на ней расположены Национальный музей и памятник Св. Вацлаву.
- с.236 *Влтава* — река в Чехии, левый приток реки Эльба. На Влтаве стоит Прага.
- с.236 *Смихов* — промышленный район Праги на левом берегу Влтавы.
- с.236 *Новое Место* (Новый Город) — пражский район, построенный в XIV в. по принципу регулярной планировки.
- с.238 *Венера* — в римской мифологии первоначально богиня весны и садов, впоследствии отождествлялась с греческой богиней Афродитой и почиталась как богиня любви и красоты.
- с.238 *Нептун* — в римской мифологии первоначально бог источников и рек; позднее стал почитаться как бог морей, приводящий их в волнение и усмиряющий своим трезубцем.
- с.239 *Либень* — окраинный район Праги на берегах реки Рокитки (правый приток Влтавы).
- с.239 *Карлова площадь* — одна из двух основных площадей района Новый Город в Праге, на которой находится Новоместская ратуша.

- с.241 Канн (*Канны*) – средиземноморский курорт на юго-востоке Франции
- с.243 *Стожары* (Плеяды) – рассеянное звездное скопление в созвездии Тельца.
- с.244 *Калужница* – травянистое растение с желтыми или белыми цветками, растущее по болотам и берегам водоемов.
- с.244 *Гертруда* – персонаж трагедии У.Шекспира „Трагическая история Гамлета, принца Датского“.
- с.250 *Suspiria* (греч.) – вздохи, стенания.
- с.260 *Гана* – государство в Западной Африке.
- с.266 *Маковский Винсент* (1900–1966) – чешский скульптор.
- с.267 *Судный* (церк.) – связанный со Страшным судом.
- с.281 *Нетопырь* – один из видов летучих мышей.
- с.290 *Вероника* – растение с мелкими голубыми цветками.
- с.295 *Финифть* – эмаль, покрывающая художественную роспись старинных металлических изделий.
- с.297 *Чемерица* – травянистое ядовитое луговое растение.
- с.303 *Бранковина* – небольшой сербский город к юго-западу от Белграда.
- с.309 *Кизил* – кустарник с крепкой древесиной, с терпкими красными съедобными плодами-ягодами.
- с.309 *Чалма* – мужской головной убор у мусульман, сооружаемый из длинного куска ткани, который обертывают несколько раз вокруг головы.
- с.310 *Цикута* – ядовитое травянистое растение.
- с.310 *Золототысячник* – травянистое растение с розовыми цветками с золотисто-желтыми пыльниками.
- с.315 *Агава* – многолетнее крупное растение с большими мясистыми линейно-ланцетными листьями.
- с.324 *Абреки* – у народов Северного Кавказа изгнанники из рода, ведущие скитальческую или разбойничью жизнь.
- с.328 *Инжир* (фиговое дерево, смоковница) – субтропическое плодое дерево.
- с.344 *Пастернак* Борис Леонидович (1890–1960) – поэт, прозаик, переводчик.
- с.345 *Милькович Бранко* (1934–1961) – сербский поэт, трагически погибший.
- с.353 *Фонограмма* – носитель записи музыки, шумов и других звуковых колебаний (пластинка, компакт-диск, киноплёнка, магнитная лента и др.).
- с.359 Впервые опубликовано в „Литературной газете“ в подборке материалов к 150-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова.
- с.360 „*И верится, и плачется, / И так легко, легко...*“ – заключительные строки стихотворения М.Ю.Лермонтова „Молитва“ (1839).
- с.360 „*Но не тем холодным сном могилы...*“ – строка из стихотворения М.Ю.Лермонтова „Выхожу один я на дорогу...“ (1841).
- с.360 „*Пускай она поплачет... / Ей ничего не значит!*“ – заключительные

- строки стихотворения М.Ю.Лермонтова „Завещание” (1840).
- с.360 *Святогорский (Успенский) монастырь* в посёлке Пушкинские Горы, там находится могила А.С.Пушкина.
- с.360 *Пятигорск* — город на Северном Кавказе, в районе Кавказских минеральных вод, тесно связанный с именем М.Ю.Лермонтова.
- с.360 *Мужетский храм* — Свети-Цховели, кафедральный собор в Мцхета, построенный в начале XI в.
- с.362 Впервые опубликовано в журнале „Литературная Грузия” (1965, № 7).
- с.363 *Царскосельский парк*. Царское Село (ныне г. Пушкин) — летняя резиденция российских императоров. Царскосельский дворцово-парковый ансамбль тесно связан с русской поэзией — от А.С.Пушкина до поэтов „серебряного века”.
- с.364 *Тригорское* — принадлежавшее П.А.Осиповой имение в Псковской губернии, по соседству с Михайловским.
- с.365 *Квартира на Мойке* — последняя петербургская квартира А.С.Пушкина.
- с.369 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 8 февраля 1967 г.
- с.372 *Парфенон* — храм Афины Парфенос на Акрополе в Афинах, памятник древнегреческой высокой классики.
- с.373 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 4 июня 1969 г.
- с.373 *„Подвезжая под Ижоры...”* — начальные строки стихотворения А.С.Пушкина (1829), обращенного к Екатерине Васильевне Вельяшевой (1813—1865), двоюродной сестре *Алексея Николаевича Вульфа* (1805—1881), помещика села Тригорского, близкого приятеля поэта. *Ижоры* — ближайшая к Петербургу почтовая станция на Московской дороге.
- с.374 *Осиповы-Вульф* — семейство Прасковьи Александровны Осиповой (урожд. Вындомская, в первом браке Вульф) (1781—1859), помещицы села Тригорского, имевшей 5 детей от первого и 2 от второго брака. Всё это семейство состояло в приятельских отношениях с А.С.Пушкиным.
- с.374 *Гейченко Семён Степанович* (1903—1993) — писатель, директор Государственного музея-заповедника А.С.Пушкина „Михайловское”.
- с.376 Впервые опубликовано в журнале „Смена” (1973, № 8, 9).
- с.378 *„Обожаемый батюшка”* — Соломон Михайлович Мартынов (1772—1839).
- с.378 *Диана* — в римской мифологии богиня Луны, охоты, покровительница рожениц.
- с.379 *„Брат Михаил”* — Михаил Соломонович Мартынов (1814—1860), однокурсник М.Ю.Лермонтова по Школе юнкеров.
- с.381 *Яр* — ресторан в Москве, славившийся выступлениями цыган.
- с.382 *„Нумидийская конница”* (Нумидийский эскадрон) — игра, придуманная М.Ю.Лермонтовым в Школе юнкеров и описанная в воспоминаниях Н.С.Мартынова и В.В.Боборыкина.
- с.382 *Мартынов* Николай Соломонович (1815—1875) — соученик

- М.Ю.Лермонтова по Школе юнкеров, участвовавший одновременно с ним в экспедициях в Чечню, убийца поэта на дуэли.
- с.382 *Есаков* Александр Дмитриевич — прапорщик 20-й артиллерийской бригады, участвовавший одновременно с М.Ю.Лермонтовым в экспедиции в Малую Чечню (октябрь—ноябрь 1840 г.).
- с.383 *Найтаки* Алексей Иванович — арендатор гостиниц (рестораций) в Пятигорске, Кисловодске и Ставрополе.
- с.383 *Монго* — прозвище *Алексея Аркадьевича Столыпина* (1816—1858), двоюродного дяди, друга и однополчанина М.Ю.Лермонтова, негласного секунданта на последней дуэли поэта.
- с.384 *Бакунина Татьяна Александровна* (1815—1871) изложила в письме к брату Н.А.Бакунину обстоятельства последней дуэли М.Ю.Лермонтова (со слов В.К.Ржевского).
- с.384 *Белинский* Виссарион Григорьевич (1811—1848) — литературный критик.
- с.384 *Ордопансауз* (нем.) — канцелярия коменданта.
- с.385 „*Знаменитый роман Лермонтова*” — „Герой нашего времени” (1840).
- с.386 *Грушницкий, княжна Мери* — персонажи романа М.Ю.Лермонтова „Герой нашего времени”.
- с.386 „*сестра Наталья Соломоновна*” — Н.С.Мартынова (в замужестве де ла Турдонне) (1819— ?).
- с.386 „*Августейший тёзка*” — российский император Николай I (1796 —1855).
- с.387 *Печорин* — главный персонаж романа М.Ю.Лермонтова „Герой нашего времени”.
- с.387 *Беклемишев* Пётр Никифорович (1770—1852) — тайный советник, шталмейстер двора.
- с.387 Князь *Щербатов* Дмитрий Алексеевич (1805— после 1853) — ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка.
- с.387 *Френзель* — поставщик лосины в Школу юнкеров.
- с.388 *Надя* (Надежда Петровна) *Верзилина* (в замужестве Шан-Гирей) (1826—1863) — дочь генерала П.С.Верзилина.
- с.388 *Эмилия* — Эмилия Александровна Шан-Гирей (урожд. Клингенберг) (1815—1891), мемуарист. Сводная сестра Н.П.Верзилиной.
- с.388 *Матушка* — Елизавета Михайловна Мартынова (1783—1851).
- с.389 *Глебов* Михаил Павлович (1819—1847) — офицер Конного полка, секунданта на последней дуэли М.Ю.Лермонтова.
- с.390 *Лисаневич* Семён Дмитриевич (1822—1877) — прапорщик Эриванского карабинерского полка, знакомый М.Ю.Лермонтова, которого склоняли к дуэли с поэтом.
- с.391 Барон *Шлиппенбах* Константин Антонович (1795—1859) — генерал-майор, с 1831 г. начальник Школы юнкеров.
- с.391 *Павел Григорьевич* — П.Г.Антокольский (см. с.115).
- с.391 *Сальери* — имеется в виду персонаж маленькой трагедии А.С.Пушкина „Моцарт и Сальери” (1830).

- с.392 *Арбенин* — главный персонаж драмы М. Ю. Лермонтова „Маскарад” (1835—1836).
- с.392 *Демон* — персонаж одноименной восточной повести М.Ю.Лермонтова (1829—1839).
- с.392 *Дантес* Жорж Шарль (1812—1895) — поручик Кавалергардского полка, убийца А.С.Пушкина на дуэли.
- с.394 *Князь Васильчиков Александр Илларионович* (1818—1881) — секундант на последней дуэли М.Ю.Лермонтова, мемуарист.
- с.394 *Мартыянов Пётр Кузьмич* (1827—1899) — писатель.
- с.394 *Князь Трубецкой Сергей Васильевич* (1815—1859) — офицер лейб-гвардии Кавалергардского полка, негласный секундант на последней дуэли М.Ю.Лермонтова.
- с.396 *Быховец* (в замужестве Ивановская) *Екатерина* Григорьевна (1820—1880) — дальняя родственница М.Ю.Лермонтова, описавшая в письме последние дни поэта.
- с.398 *„реформа 1861 года”* — 19 февраля 1861 г. Александр II подписал манифест и положения об освобождении крестьян от крепостной зависимости.
- с.398 *Висковатов* Павел Александрович (1842—1905) — историк литературы, биограф М.Ю.Лермонтова.
- с.400 *Машук* — гора, у подножия которой расположен Пятигорск.
- с.400 *Верзилины* — семейство генерал-майора Петра Семеновича Верзилина (1793—1849). В их доме в Пятигорске М.Ю.Лермонтов бывал летом 1841 г. Там произошла его ссора с Мартыновым, приведшая к дуэли.
- с.403 *Тамара* — персонаж восточной повести М.Ю.Лермонтова „Демон” (1829—1839).
- с.403 *„Печальный Демон, дух изгнания...”* — начальная строка восточной повести М.Ю.Лермонтова „Демон”.
- с.405 *Бэла* — персонаж романа М.Ю.Лермонтова „Герой нашего времени”.
- с.405 *„Канаусовая рубашка”*. Канаус — плотная шелковая ткань полотняного плетения.
- с.406 *Васильев* Юрий Васильевич (1925—1990) — живописец, скульптор, театральный художник.
- с.407 *Тенгинский пехотный полк*, в который М.Ю.Лермонтов был переведен после дуэли с Э.Барантом в феврале 1840 г., действовал на наиболее опасных участках боевых операций с чеченцами.
- с.407 *Чилаев (Чиляев)* Василий Иванович (1798—1873) — плац-майор, служивший в Пятигорской военной комендатуре. В его доме М.Ю.Лермонтов провел последние 2 месяца своей жизни.
- с.408 *Соколов Андрей* Иванович (1795—1875) — дядька и камердинер М.Ю.Лермонтова, на попечении которого он находился с двухлетнего возраста.
- с.410 *Дмитревский* Михаил Васильевич — тифлисский чиновник, близкий знакомый М.Ю.Лермонтова в последние месяцы его жизни.

- с.410 *Тарханы* — пензенское имение Арсеньевых, где прошли детские годы М.Ю.Лермонтова.
- с.410 „*Бабушка его Елизавета Алексеевна*” — Е.А.Арсеньева (урожд. Столыпина) (1773—1845) — бабушка М.Ю.Лермонтова со стороны матери, воспитавшая его и ставшая на всю жизнь самым близким ему человеком.
- с.410 *Аналой* (церк.) — высокий столик с покатым верхом для икон и книг, читаемых при церковных службах.
- с.411 Графиня *Ростопчина* (урожд. Сушкова) Евдокия Петровна (1811/1812—1858) — писательница.
- с.411 *Дюма* Александр (1802—1870) — французский писатель.
- с.412 *Лого* Виктор Мари (1802—1885) — французский писатель-романтик.
- с.414 *Вяземский* Петр Андреевич (1792—1878) — поэт, критик. В статье „Взгляд на литературу нашу после смерти Пушкина” (1847) писал о Лермонтове: „Преждевременная смерть его оставила неразрешенным вопрос: заместил ли бы он Пушкина или нет?”
- с.415 *Наталья Николаевна* Пушкина (урожд. Гончарова, во втором браке Ланская) (1812 —1863) — жена А.С.Пушкина.
- с.416 Граф *Соллогуб* Владимир Александрович (1813—1882) — писатель. В тексте приведена цитата из его „Воспоминаний” (1865).
- с.416 *Хитрово Елизавета Михайловна* (1783—1839) — хозяйка литературного салона в Петербурге.
- с.418 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 5 июня 1974 г.
- с.418 *Сороть* — река в Михайловском (см. с.40).
- с.420 *Данзас* Константин Карлович (1801—1870) — лицейский товарищ А.С.Пушкина, секундант в его дуэли с Дантесом.
- с.422 Записано на грампластинке в журнале „Кругозор” (1987, № 5).
- с.422 „*Слова Мандельштама*” — „...Смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, заключительное звено”. (О. Мандельштам. Скрыбин и христианство. — „Русская литература”, 1991, № 1).
- с.425 Предисловие к грампластинке „О, время, погоди...”. Текст напечатан на конверте альбома. Заглавие — заключительная строка стихотворения Ф.И.Тютчева „Так, в жизни есть мгновения...” (1855).
- с.427 „*Треск за треском, дым за дымом...*” — строки из стихотворения Ф.И.Тютчева „Пламя рдеет, пламя пышет...” (1855).
- с.427 „*Вот бреду я вдоль большой дороги...*” — начальная строфа стихотворения Ф.И.Тютчева „Накануне годовщины 4 августа 1864 г.” (1864).
- с.427 „*Женщина, любившая так сильно...*” — Елена Александровна Денисьева (1826—1864), „последняя любовь” Ф.И.Тютчева.
- с.427 *Козаков Михаил* Михайлович (р.1934) — актер и режиссер театра и кино.
- с.428 Впервые опубликовано в „Учительской газете” 15 января 1985 г.
- с.428 *Грибоедов Александр Сергеевич* (1795—1829) — поэт и дипломат.

- с.428 *Чацкий, Софья, Молчалин* — персонажи комедии А.С.Грибоедова „Горе от ума” (1822–1824).
- с.428 14 (26) декабря 1825 г. на *Сенатской площади* в Петербурге во время присяги военных частей императору Николаю I заговорщики „Северного общества” (вошедшие в историю как „декабристы”) предприняли попытку восстания.
- с.429 *Сады Цинандали*. Цинандали — имение князя Александра Чавчавадзе (1786–1846), грузинского поэта, тестя А.С.Грибоедова, на берегу реки Алазани в Кахетинской долине.
- с.429 „*Та красавица...*” — Нина Александровна Грибоедова (урожд. Чавчавадзе) (1812–1857), жена А.С.Грибоедова.
- с.430 *Мтацминда* (буквально: „Святая гора”) — гора в Тбилиси на правом берегу реки Куры, где находится *монастырь Святого Давида*, а также Пантеон выдающихся общественных деятелей и деятелей культуры Грузии. А.С.Грибоедов был похоронен у монастыря Святого Давида.
- с.432 Выступление на вечере, состоявшемся 26 декабря 1962 г. в Центральном доме литераторов, впервые опубликовано в книге: „Марина Цветаева. Поэт и время. Выставка к столетию со дня рождения (1892–1992)”. М. : ГАЛАРТ, 1992.
- с.435 Выступление на литературном вечере из цикла „Поэт о поэте”, состоявшемся 25 января 1978 г., впервые опубликовано в книге: „Марина Цветаева. Поэт и время. Выставка к столетию со дня рождения (1892–1992)”. М.: ГАЛАРТ, 1992.
- с.435 *Цветаева Анастасия Ивановна* (1894–1993) — писательница, мемуарист.
- с.435 *Павел Григорьевич* — П.Г.Антокольский (см. с.115).
- с.435 *Сосинский Владимир Брониславович* (Сосинский-Семихат Бронислав Брониславович) (1900–1987) — писатель, литературный критик.
- с.436 *Ахматова* (наст. фамилия Горенко) *Анна Андреевна* (1889–1966) — поэт, переводчик.
- с.438 „*Поэзия должна быть глуповата*” — усечённая цитата из письма А.С.Пушкина к П.А.Вяземскому (вторая половина мая 1826 г. из Михайловского): „Твои стихи к Мнимой Красавице (ах извини: Счастливице) слишком умны. — А поэзия, прости Господи, должна быть глуповата”.
- с.440 „*Сестра моя — жизнь*” — название поэтической книги Б. Л. Пастернака (1917, опубл. 1922).
- с.441 *Цветаевы-Эфрон* — семья Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) и Сергея Яковлевича Эфрона (1893–1941).
- с.441 *Эфрон Ариадна Сергеевна* (1912–1975) — мемуарист. Дочь М.И.Цветаевой и С.Я.Эфрона.
- с.442 *Волошин* (наст. фамилия Кириенко-Волошин) *Максимilian Александрович* (1877–1932) — поэт, литературный критик, художник.

- с.443 *„Прощай, свободная стихия!”* — начальная строка стихотворения А.С.Пушкина *„К морю”* (1824).
- с.443 *„Приедается всё. / Лишь тебе не дано примелькаться...”* — строки из поэмы Б.Л.Пастернака *„Девятьсот пятый год”* (1925–1926).
- с.445 *Елабуга* — город в Татарии на реке Каме, куда в августе 1941 г. была эвакуирована М.И.Цветаева с сыном Георгием.
- с.446 *Иловайские* — семья историка и публициста Дмитрия Ивановича Иловайского (1832–1920), состоявшая в родственных связях с семьей *Цветаевых*.
- с.446 *Надя* (1882–1905) и *Серёжа* (1885–1905) *Иловайские* — дети Д.И.Иловайского от второго брака — с А.А.Каврайской. История их жизни описана М. И. Цветаевой в очерке *„Дом у старого Пимена”* (1934).
- с.446 *Дом в Трёхпрудном переулке* был дан Д.И.Иловайским в приданое своей дочери Варваре (1858–1890), когда она выходила замуж за И.В.Цветаева. В этом доме прошли детские годы М. И. и А.И.Цветаевых.
- с.447 *„Моим стихам, как драгоценным винам...”* — заключительные строки стихотворения М.И.Цветаевой *„Моим стихам, написанным так рано...”* (1913).
- с.449 *Тютчев* Фёдор Иванович (1803–1873) — поэт.
- с.449 *„Ангел мой, ты видишь ли меня?”* — заключительная строка стихотворения Ф.И.Тютчева *„Накануне годовщины 4 августа 1864 г.”* (1864).
- с.450 *Тескова* Анна Антоновна (1872–1954) — чешская писательница, связанная с М.И.Цветаевой многолетней дружбой.
- с.454 *Шуман* Роберт (1810–1856) — немецкий композитор и музыкальный критик.
- с.454 *Шопен* Фридерик (1810–1849) — польский композитор и пианист.
- с.454 *„Ты больше, чем просят, даешь”* — заключительная строка стихотворения Б.Л.Пастернака *„Иней”* (1941)
- с.455 *Рильке* Райнер Мария (1875–1826) — австрийский поэт.
- с.455 *Маяковский* Владимир Владимирович (1893–1930) — поэт.
- с.459 *Бичер-Стоу* Гарриет (1811–1896) — американская писательница, автор романа *„Хижина дяди Тома”* (1852).
- с.459 *Хлебников* Велимир (Виктор Владимирович) (1885–1922) — поэт.
- с.462 *Розанов Василий Васильевич* (1856–1919) — писатель, публицист, философ.
- с.462 *Чирикова Людмила Евгеньевна* (в замужестве Шнитникова) (р.1896) — художница-график. Дочь писателя Е.Н.Чирикова. С 1920 г. в эмиграции.
- с.464 Впервые опубликовано в *„Литературной газете”* 1 января 1992 г. Вечер состоялся 25 октября 1982 г. в Центральном доме литераторов в Москве.
- с.466 *Цветаев Иван Владимирович* (1847–1913) — ученый, специалист в области античной истории, эпиграфики и искусства, создатель и первый директор Музея изящных искусств в Москве.

- с.467 Впервые опубликовано в газете „Комсомольская правда” 4 ноября 1973 г.
- с.467 *Табидзе Галактион* Васильевич (1892–1959) – грузинский поэт.
- с.470 *Гудиашвили Ладо* (Владимир Давидович) (1896–1980) – грузинский живописец и график.
- с.472 Впервые опубликовано в книге: Б.Ахмадулина. Сны о Грузии. (Тбилиси : Мерани, 1977). Вечер памяти Т.Табидзе состоялся 29 октября 1976 г. в Центральном доме литераторов в Москве.
- с.472 *Табидзе Тициан* Юстинович (1895–1937) – грузинский поэт.
- с.472 *Табидзе Нина* Александровна (1900–1965) – жена Т. Табидзе.
- с.473 *Мухрани* – селение в плодородной долине в Картли (Восточная Грузия).
- с.473 *Марани* (груз.) – винный погреб, хранилище для вина.
- с.473 *Алавердоба* (груз.) – традиционный храмовый праздник.
- с.473 *Дэв* (груз.) – исполинское злое чудовище в легендах и сказках.
- с.477 Впервые опубликовано в журнале „Литературная Грузия” (1960, № 7).
- с.478 *Каландадзе Анна* Павловна (р.1924) – грузинская поэтесса.
- с.478 *Чиковани Симон* Иванович (1902/1903–1966) – грузинский поэт.
- с.481 Публикуется впервые.
- с.481 *Пруст Марсель* (1871–1922) – французский писатель.
- с.481 *Павлов Иван* Петрович (1849–1936) – физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности.
- с.482 *Бабушка, мадемуазель Стермария, Сван* – персонажи цикла романов М. Пруста „В поисках утраченного времени”.
- с.482 *Гамсун* (наст. фамилия Педерсен) Кнут (1859–1952) – норвежский писатель.
- с.482 „*Селиновская прозорливость*”. Селин (наст. фамилия Детуш) Луи Фединанд (1894–1961) – французский писатель.
- с.483 „*Руся*” – рассказ И.А.Бунина из цикла „Темные аллеи” (1940).
- с.483 *Нагибин Юрий* Маркович (1920–1994) – писатель.
- с.483 *Эверс Ганс* Гейнц (1871–1943) – немецкий писатель.
- с.485 „*Год его премии и травли*” – 23 октября 1958 г. было объявлено о присуждении Б.Л.Пастернаку Нобелевской премии за роман „Доктор Живаго”. Это сообщение послужило началом беспрецедентной по масштабам травли поэта.
- с.485 „*Два его юных отступника*” – студенты Литературного института Ю. Панкратов и И. Харабаров, посетив Б.Л.Пастернака в Переделкине, рассказали ему о том, что, если они не подпишут письмо с требованием высылки поэта из России, их исключат из института, и спросили, как им быть. Этот эпизод описан в воспоминаниях О.В.Ивинской (М., 1992).
- с.486 *Лёня* – Леонид Борисович Пастернак (1938–1976), сын Б.Л.Пастернака.
- с.486 *Стасик* – Станислав Генрихович Нейгауз (1927–1980), пианист и педагог.

- с.486 *Ольга Всеволодовна* — О.В.Ивинская (1912–1995), мемуарист. Последняя любовь Б.Л.Пастернака.
- с.487 *„Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда, / Как желтый одуванчику забора, / Как лопухи и лебеда.“* — заключительная строфа стихотворения А.А.Ахматовой „Мне ни к чему одические рати...“ (1940) из цикла „Тайны ремесла“.
- с.488 *Набоков Владимир Владимирович* (1899–1977) — русско-американский писатель. С 1919 г. в эмиграции.
- с.488 *Б.Л.* — Б.Л.Пастернак (см. с.344).
- с.489 *Муся и Ася* — сёстры Цветаевы: Марина Ивановна (см. с.441) и Анастасия Ивановна (см. с.435).
- с.489 *Евгений Борисович* — Е.Б.Пастернак (р. 1923), литературовед. Сын Б.Л.Пастернака.
- с.489 *Павел Григорьевич* — П.Г.Антокольский (см. с.115).
- с.489 *Б.П.* — Б.Л.Пастернак (см. с.344).
- с.490 *Гонкур Эдмон де* (1822–1896) — французский писатель, работавший в содружестве со своим братом Жюлем (1830–1870). *Братья Гонкуры* вели „Дневник“, который с 1870 по 1895 г. продолжал Эдмон. В этом „Дневнике“ ярко отразилась литературная жизнь эпохи.
- с.490 *Флобер Гюстав* (1821–1880) — французский писатель.
- с.490 *Тургенев Иван Сергеевич* (1818–1883) — писатель.
- с.490 *Лиза* — дочь Б.Ахмадулиной.
- с.490 *„История с Альманахом“* — имеются в виду гонения на авторов литературного альманаха „МетрОполь“, выпущенного „самиздатом“ в 1979 г. и затем изданного на Западе.
- с.490 *„Присланные Гией экземпляры книги“* — грузинский критик и переводчик Г. Маргвелашвили (1923–1989) был редактором-составителем книги Б. Ахмадулиной „Сны о Грузии“ (Тбилиси : Мерани, 1979).
- с.491 *Орлов Владимир Николаевич* (1908–1985) — литературовед.
- с.491 *„Сегодня хоронят Ларису“* — кинорежиссер Л. Шепитько (1938–1979) погибла в результате автомобильной катастрофы.
- с.492 *Исаакий* — Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.
- с.492 *Комиссаржевская Вера Фёдоровна* (1864–1910) — актриса.
- с.493 *Юнна* — Юнна Петровна Мориц (р.1937), поэтесса.
- с.494 Выступление на конференции, посвященной вопросам художественного перевода (14–15 марта 1962 г., Тбилиси), впервые опубликовано в книге: Б.Ахмадулина. Сны о Грузии. (Тбилиси : Мерани, 1977).
- с.498 Впервые опубликовано в „Литературной газете“ 2 сентября 1970 г.
- с.501 Впервые опубликовано в „Литературной газете“ 1 января 1976 г.
- с.503 Впервые опубликовано в „Литературной газете“ 26 мая 1976 г.
- с.505 *„Входит человек...“* — А.М.Мессерер (см. с.142).

- с.506 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 29 декабря 1976 г. Текст был продиктован из Парижа по телефону с целью поддержать В.Высоцкого (см. с.149).
- с.508 Фрагменты выступления опубликованы в журнале „Юность” (1995, № 6). Церемония вручения Пушкинской премии состоялась 26 мая 1994 г. в Московском Художественном академическом театре им. А.П.Чехова.
- с.509 *Марбург* — немецкий город, в котором Б.Л.Пастернак провел летние месяцы 1912 г., занимаясь философией в Марбургском университете.
- с.510 Поэтесса *Ольга Постникова* и прозаик *Зуфар Гареев* были награждены премией фонда А.Тёпфера (см. с.153) для молодых писателей.
- с.510 *Чухонцев Олег Григорьевич* (р.1938) — поэт.
- с.516 *Ерофеев Венедикт Васильевич* (1938—1990), *Корнер Владимир Фёдорович* (1939—1986) — писатели.
- с.516 *Харитонов Евгений Владимирович* (1941—1981) — режиссер, писатель-авангардист.
- с.521 Впервые опубликовано в книге: „Песня, мечта и любовь. Поэтессы Советского Союза. Избранные стихотворения. Кн.2.” (М : Дет. лит., 1972) в качестве предисловия к подборке стихотворений.
- с.523 *Покровские ворота, Ильинский сквер* — места в историческом центре Москвы.
- с.524 *Сельвинский Илья* (Карл) Львович (1899—1968) — поэт, драматург.
- с.524 *Винокуров Евгений Михайлович* (1925—1993) — поэт.
- с.524 *Щипачёв Степан Петрович* (1899—1979) — поэт.
- с.524 *Светлов Михаил Аркадьевич* (1903—1964) — поэт.
- с.524 *Межиров Александр Петрович* (р.1923) — поэт, переводчик.
- с.524 *Евтушенко Евгений Александрович* (р.1933) — поэт, переводчик, прозаик, кинорежиссёр.
- с.524 *Лукокин Михаил Кузьмич* (1918—1976) — поэт.
- с.525 Предисловие к грампластинке „Потом я вспомню...”, выпущенной фирмой „Мелодия” (текст напечатан на конверте альбома).
- с.527 Впервые напечатано в журнале „Смена” (1985, № 21) как предисловие к подборке: „Несколько стихотворений из больницы тетради. (Ленинград, май и июнь 1984 г.)”.
- с.530 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 1 января 1986 г. как предисловие к подборке стихотворений.
- с.531 Предисловие к книге: Б.Ахмадулина. „Избранное. Стихи”. (М. : Сов. писатель, 1988).
- с.532 „*Месяц, месяц, мой дружок! / Позолоченный рожок!..*”; „*Погоди; об ней, быть может, / ветер знает. Он поможет...*” — строки из „Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях” А.С.Пушкина (1833).
- с.533 Предисловие к книге: Б.Ахмадулина. „Стихотворения”. (М. : Худож. лит., 1988).
- с.536 Публикуется впервые.

- с.536 *Авторханов* Абдурахман Гиназович (р.1909) – историк, политолог, публицист. С 1943 г. в эмиграции.
- с.536 *Герштейн* Эмма Григорьевна (р.1903) – литературовед.
- с.536 *Мандельштамы: Осип Эмильевич* (1891–1938) и *Надежда Яковлевна* (1899–1980).
- с.536 *Гумилёв* Николай Степанович (1886–1921) – поэт.
- с.541 Впервые опубликовано в еженедельнике „Литературная Россия” 6 января 1967 г.
- с.541 „Только детские книги читать...” – начальные строки стихотворения О.Мандельштама (1908).
- с.541 *Коринец* Юрий Иосифович (р.1923) – писатель.
- с.544 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 8 марта 1967 г.
- с.544 *Сумако Фукао* (р. 1893) – японская поэтесса.
- с.546 *Левитанский* Юрий Давыдович (1922 – 1996) – поэт и переводчик.
- с.547 Впервые опубликовано в журнале „Народы Азии и Африки” (1973, № 5).
- с.548 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 5 июля 1972 г.
- с.549 *Левенталь* Валерий Яковлевич (р.1938) – театральный художник.
- с.549 „Та, которой предстоит любить и страдать...” – исполнительница заглавной партии в балете „Анна Каренина” балерина Майя Михайловна Плисецкая (р.1925).
- с.550 *Владимиров* Юрий Кузьмич (р.1942), *Лиена Марис-Рудольф* Эдуардович (1936–1989), *Фадеечев* Николай Борисович (р.1933) – артисты балета Большого театра, исполнители партий в балете „Анна Каренина”.
- с.552 Впервые опубликовано в журнале „Советский экран” (1976, № 11).
- с.554 Впервые опубликовано в журнале „Советский экран” (1977, № 22).
- с.554 *Шостакович* Дмитрий Дмитриевич (1906 – 1975) – композитор.
- с.559 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 22 января 1992 г. Эпиграфы: начальная строфа сонета итальянского поэта Франческо Петрарки (1304–1374) в переводе Е. Солоновича и строка из стихотворения А.С.Пушкина „Элегия” (1830).
- с.559 *Эдисон* Томас Алва (1847–1931) – американский изобретатель и предприниматель.
- с.559 *Каварадосси* – персонаж оперы итальянского композитора Джакомо Пуччини „Тоска” (1899).
- с.561 *Эспри* (фр.) – украшение в виде пера или пучка перьев, расходящихся в разные стороны, которое прикалывается к женской причёске или женскому головному убору.
- с.561 *Глиссад* (фр.) – скользящее па в танцах.
- с.562 *Сараевское убийство* – убийство наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда и его жены 28 июня 1914 г. в Сараево явилось поводом для начала первой мировой войны.

О. Грушников

БИБЛИОГРАФИЯ

1 Книги Б.Ахмадулиной на русском языке

Струна : Стихи. [Худож.М.П.Клячко]. М. : Сов. писатель, 1962. — Суперобл., обл., 118, [1] с. 17 x 13 см. 20000 экз.

Озноб : Избранные произведения. [Под ред. Н.Тарасовой. Frankfurt/Main]: Посев, 1968. — Суперобл., пер., 271 с., 1 л. портр. 21 x 14 см.

Уроки музыки : Стихи. [Худож.А.Гольдман и В.Локшин]. М. : Сов. писатель, 1969. — Обл., 158, [1] с., 1 л. портр. 16 x 11 см. 20000 экз.

Стихи. [Предисл.П.Г.Антокольского. Оформл.К.Высоцкой]. М. : Худож. лит., 1975. — Пер., 173, [1] с., 1 л. портр. 17 x 11 см. 25000 экз.

Свеча : [Стихи. Худож.В.Красновский]. М. : Сов.Россия, 1977. — Пер. (часть тиража — обл.), 206 с., ил. 17 x 11 см. 75000 экз.

Сны о Грузии : [Стихи. Переводы. Проза. Ред.-сост. Г.Маргвелашвили. Худож.Б.Мессерер]. Тбилиси : Мерани, 1977. — Пер., 541, [1] с., 1 л. портр., ил. 17 x 13 см. 20000 экз.

Метель : Стихи. [Худож.Ю.А.Боярский]. М.: Сов.писатель, 1977. — Суперобл., обл., 101, [1] с. 17 x 13 см. 50000 экз.

Сны о Грузии : [Стихи. Переводы. Проза. Ред.-сост. и автор предисл. Г.Маргвелашвили. Худож.Б.Мессерер]. Тбилиси : Мерани, 1979. — Пер., 540, [1] с., ил. 21 x 14 см. 40000 экз.

Тайна : Новые стихи. [Худож.Б.Мессерер]. М. : Сов. писатель, 1983. — Обл., 126, [1] с. 16 x 13 см. 25000 экз.

Сад : Новые стихи. [Худож.Б.А.Мессерер]. М. : Сов. писатель, 1987. — Обл., 159, [1] с., портр. 16 x 13 см. 100000 экз.

Стихотворения. [Оформл. С.Серебряковой]. М. : Худож.лит., 1988. — Пер., 333, [1] с., 1 л. портр. 17 x 11 см. (Б-ка сов.поэзии). 25000 экз.

Стихи. Библиотечка журнала „Полиграфия”. [Гравюры Е.Баскакова, С.Харламова, А.Калашникова, М.Петренко, В.Тамбовцева, А.Гавричкова. Оформл. Н.Симагина]. М., 1988. — Пер., 63, [1] с., ил. 10 x 7 см. (Прилож. к журн. „Полиграфия”, № 7 за 1988 г.). 22000 экз.

Избранное : Стихи. [Худож.Е.Ененко]. М. : Сов.писатель, 1988. — Пер., 477, [1] с., портр. 21 x 13 см. 100000 экз.

Побережье : Стихотворения. М., 1991. — Обл., 30, [2] с. 16 x 13 см. (Б-ка „Огонек”. № 41). 81000 экз.

Ларец и ключ : [Стихи]. Спб. : Пушкинский фонд, МСМХСIV [1994]. — Обл., 62, [1] с. 20 x 14 см. 3000 экз.

Шум тишины : [Стихи. Оформл. и ил.И.Малер. Иерусалим] : Издание иерусалимского магазина русской книги „Малер”, 1995. — Обл., 55 с., ил. 20 x 16 см. (Серия „Иерусалимские тетради”).

Гряда камней : Стихотворения 1957—1992. [Сост. О.Грушников. Худож.А.Коноплёв]. М. : ПАН, 1995. — Суперобл., пер., 397, [1] с., портр. 22 x 15 см. 2500 экз.

То же. — 2400 экз.

[Стихотворения]. Серия „Самые мои стихи”. [Худож.В.Медведев]. М. : Слово/Slovo, МСМХСV [1995]. — Обл., 76, [1] с., [13] л. ил., факс. 29 x 17 см. 1000 экз.

Звук указующий : Избр. стихотворения. 1956—1992. [Сост. О.П. Грушников. Худож.А.В.Сергеев]. Спб. : Лениздат, 1995. — Суперобл., пер., 350, [1] с. 17 x 13 см. 10000 экз.

Однажды в декабре... : Рассказы, эссе, воспоминания. [Сост. и подгот. текста О.П.Грушников]. Спб. : Пушкинский фонд, МСМХСVI [1996]. — Обл., 164, [2] с. 20 x 15 см. 1000 экз.

II Книги Б.Ахмадулиной на иностранных языках

[Стихи. Пер. с рус. Худож. Н. Малазониа, О. Джишкариани. Тбилиси] : Накадули, [1962]. — Суперобл., обл., 10, [2] с. 16 x 13 см. (К декаде русской поэзии в Грузии). 1000 экз. — Груз.

Moј родослов. Превео с руског Др Сава Пенчић. Крушевац : Багда-ла, 1966. — Обл., 61, [2] с. 16 x 11 см. (Мала библиотека „Поезија у преводу“). 1000 экз. — Сербскохорв.

Môj rodokmeň. [Preložil Ján Majerník. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1966]. — Суперобл., пер., 73, [2] с. 17 x 13 см. (Otvorené Okná. [Zväzok 8]). — Словац.

Struna. Přeložil Václav Daněk. Praha : Svět sovětů, 1966. — Суперобл., пер., 89, [2] с., ил. 20 x 11 см. — Чеш.

Стихи. [Пер. с рус.]. Ереван: Айастан, 1968. — Суперобл., обл., 63, [1] с. 17 x 13 см. 3000 экз. — Арм.

Избрани стихотворения. Превела от руски Станка Пенчева. [София] : Народна култура, 1968. — Суперобл., пер., 97, [1] с. 14 x 11 см. (Библиотека съветски поети). 2100 экз. — Болг.

Грозница. Препевао Оскар Давичо. Београд: Нолит, 1968. — Пер., 66, [3] с. 20 x 13 см. 1000 экз. — Сербскохорв.

То же. — Обл., 66, [3] с. 17 x 12 см. (Мала Књига. 94). 1000 экз. — Сербскохорв.

Struna : Wiersze wybrane. Wybrala Anna Kamieńska. [Оформл. А. Stefanowski. Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, [1969]. — Суперобл., обл., 51, [1] с. 18 x 11 см. 1500 + 260 экз. — Польшк.

Fever & Other New Poems. With an Introduction by Yevgeny Yevtushenko. Translated by Geoffrey Dutton and Igor Mezhakoff-Koriakin. New York : William Morrow and Company, Inc., 1969. — Суперобл., пер., VI, 66 с. 22 x 15 см. — Англ.

То же. — Обл. VI., 66 с. 21 x 14 см. (Apollo Editions). — Англ.

То же. — London : Peter Owen, 1970. — Обл., V, 66 с. 23 x 15 см. — Англ.

Tenerezza e altri addii. Introduzione e traduzione di Serena Vitale. [Parma] : Guanda, [1971]. — Пер., 185 с. 23 x 15 см. — На пер. заглавие: "Tenerezza". — Итал.

Hodina hudby. Preložil Ján Majerník. [Bratislava] : Slovenský spisovateľ', 1972. — Суперобл., обл., 93 с. 19 x 11 см. (Knižnica Slovenského spisovateľ'a. 26). — Словац.

Сказка о Дожде в нескольких эпизодах, с диалогами и хором детей. Пер. А.Арони. Ил. Д.Караван. Иерусалим : Рашафим, 1974. — Суперобл., пер., 61 с., ил. 21 x 14 см. — Текст парал.: иврит, рус.

Musikstunden. Berlin : Verlag Volk und Welt, [1974]. — Суперобл., обл., 135, [2], ил., факс. 22 x 13 см. — Текст парал.: нем., рус.

Stopy v krvi. [Přeložil Václav Daněk. Praha] : Odeon, [1979]. — Обл., 105, [3] с. 20 x 13 см. (Plamen edice současné zahraniční poezie, svazek 75). — Чеш.

Muusikatunnid. Tõlkinud Leelo Tungal. Tallinn : Eesti Raamat, 1979. — Обл., 40, [3] с. 20 x 12 см. (Nõukogude luule). 2500 экз. — Эст.

Лекций де музикэ : Версурь. Традучере дин лимба русэ ши кувинт ынаинте де Анато́л Чокану. [Презентаре графикэ: Леонид Никитин]. Кишинэу: Литература артистикэ, 1983. — Обл., 69, [1] с., ил. 18 x 11 см. 3000 экз. — Молд.

Lumină și ceață. Свет и туман. În românește de Passionaria Stoicescu și Andrei Ivanov. Cuvînt înainte de Passionaria Stoicescu. București : Editura Univers, 1983. — Обл., 142, [1] с., портр. 19 x 12 см. (Orfeu). — Текст парал.: румын., рус.

Луна до сутринта : Стихове. Подбрал и превел от руски Димитър Василев. София: Народна култура, 1984. — Обл., 138, [3] с. 16 x 10 см. — Болг.

Noslēpums. Dzejoļu izlase. [Sastādījusi Lija Brīdaka]. Rīga : Liesma, 1987. — Пер., 124, [3] с. 17 x 12 см. 4000 экз. — Латвш.

Wyjść na scenę. Wybór i posłowie Jadwiga Szymak-Reiferowa. [Kraków]: Wydawnictwo Literackie, [1987]. — Суперобл., пер., 217, [1] с. 17 x 12 см. 5000 + 283 экз. — Текст парал.: польск., рус.

Efterårsuret. Oversat af Inger Christensen & Marie Tetzlaff. [Århus] : Husets Forlag/S.O.L., [1988]. — Обл., 52, [6] с. 20 x 12 см. (Litteraturen på scenen). — Дат., часть текста: рус.

Probdívání. Přeložil Václav Daněk. Ilustroval Václav Bláha. [Praha] : Odeon, [1990]. — Суперобл., пер., 130, [4] с., ил. 17 x 12 см. 3000 экз. — Чеш.

The Garden. New and Selected Poetry and Prose. Edited, Translated and Introduced by F.D.Reeve. New York : Henry Holt and Company, [1990]. — Обл., XVII, 171 с. 21 x 14 см. (An Owl Books). — Текст парал.: англ., рус.

То же. — Суперобл., пер., XVII, 171 с. 22 x 15 см. — Текст парал.: англ., рус.

То же. — London—New York : Marion Boyars, [1991]. — Обл., XVII, 171 с. 22 x 14 см. — Текст парал.: англ., рус.

Māja. Dzejoļi / Bella Ahmadulina, Lija Brīdaká. Rīga : Sprīdītis, [1992]. — Пер., 108, [2] с. 15 x 11 см. — Латыш.

Poesie scelte (1956—1984) a cura di Donata De Bartolomeo. Roma : Fondazione Piazzolla, [1993]. — Суперобл., обл., 186, [2] с. 21 x 14 см. (Poesia Europea Vivente. Collana diretta da Giacinto Spagnoletti. 8). — Текст парал.: итал., рус.

Das Geräusch des Verlusts : Gedichte. [Nachdichtungen von Peter Gosse. Holzschnitte von Karl-Georg Hirsch. Graphische Konzeption von Gert Wunderlich. Leipzig : Institut für Buchkunst, 1995]. — Футляр, суперобл., обл., 43 с., ил., 1 отд.л.ил. 25 x 22 см. — Текст парал.: нем., рус.

Составил О.Грушников

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
стихотворных произведений ,
помещенных в I—III томах Собрания сочинений

- „А напоследок я скажу...” (Прощание) I,70.
Август („Так щедро август звезды расточал...”) I,32.
Автомат с газированной водой („Вот к будке с газированной водой...”) I,42.
Александр Моисеевичу Эскину („Хитёр поэт, коль он пришёл под видом дамы...”) III,120.
Анне Каландадзе („Как мило всё было, как странно...”) I,251.
Апрель („Вот девочки — им хочется любви...”) I,64.
Асафу Михайловичу Мессереру („И волос бел, и голос побелел...”) III,142.
„Ах, мало мне другой заботы...” (Маленькие самолёты) I,95.
- Бабочка („День октября шестнадцатый столь тёпел...”) I,295.
„Беспорядок грозы в небесах!..” (Не писать о грозе) I,172.
„Бессмертьем душу обольщая...” II,167.
Биографическая справка („Всё началось далёкою порой...”) I,138.
„Благоволите, сестра и сестра...” (Ожидание ёлки) I,225.
Благодарю тебя... („Благодарю тебя, мой Левин...”) III,122.
„Благодарю тебя, мой Левин...” (Благодарю тебя...) III,122.
Болезнь („О боль, ты мудрость. Суть решений...”) I,88.
Боре („Дарю тебе сию тетрадь...”) III,168.
Борису Мессереру („Чердаком, граммофонами, главным...”) III,166.
„Брат-комната, где я была — не спрашивай...” (Ночь на 30-е апреля) II,123.
„Булат — суров, на ласку скуп...” (Дарственная надпись на книге „Гряди да камней”) III,154.
„Был вход возбранён. Я не знала о том и вошла...” II,157.
„Был май в начале. Хладных и кипящих...” (Вид снизу вверх) II,293.
„Быть по сему: оставьте мне...” II,137.
„Бьют часы, возвестившие осень...” I,212.
- „В апреле неделю худую, вторую...” (Друг столб) II,127,

- „В какой дали от Сакартвело...” (Надпись на книге воспоминаний Сальвадора Дали для Людмилы Черновой) III, 151.
- „В коридоре больничном поставили ёлку. Она...” (Ёлка в больничном коридоре) II, 256.
- В метро на остановке „Сокол” („Не знаю, что со мной творилось...”) I, 68.
- В ночь на 21 декабря 1980 года („Войнович — в чем виновен? Он — в одном лишь...”) III, 135.
- „В ночь на тридцатый марта день я пла...” (Ночь на тридцатое марта) II, 109.
- „В окне, как в чуждом букваре...” (Дождь и сад) I, 157.
- В опустевшем доме отдыха („Впасть в обморок беспамятства, как плод...”) I, 112.
- „В саду дрозды перекликались...” III, 153.
- „В той комнате под чердаком...” (Магнитофон) I, 66.
- „В той тоске, на какую способен...” I, 195.
- „В том времени, где и злодей...” I, 152.
- „В тот день случился праздник на земле...” (Воспоминание о Ялте) I, 184.
- „В тот месяц май, в тот месяц мой...” I, 35.
- „В ту комнату, где прошлою зимой...” (Печали и шуточки: комната) II, 99.
- Варфоломеевская ночь („Я думала в уютный час дождя...”) I, 150.
- Венеция моя („Темно, и розных вод смешались имена...”) II, 283.
- „Весной, весной, в ее начале...” I, 136.
- Ветреная осень (Наслаждения в Куоккале, V) III, 104.
- „Взамен элегий — шуточки, сарказмы...” II, 178.
- Взойти на сцену („Пришла и говорю: как нынешнему снегу...”) I, 204.
- „Вид из окна: кирпичная стена...” (Стена) II, 170.
- „Вид рынка в Гагре душу веселит...” (Роза) I, 276.
- Вид снизу вверх („Был май в начале. Хладных и кипящих...”) II, 293.
- Владимиру Высоцкому (I — III) II, 9.
- „Влечет меня старинный слог...” I, 50.
- „Вниз к Оке, упавая сквозь лес...” (Премирательства и примирения) II, 50.
- Возвращение в Тарусу („Пред Окой преклоненность земли...”) II, 49.
- Возвращение из Ленинграда („Всё б глаз не отрывать от города Петрова...”) I, 287.
- „Воздух августа: плавность услад и услуг...” II, 103.
- „Войнович — в чём виновен? Он — в одном лишь...” (В ночь на 21 декабря 1980 года) III, 135.

- Вокзальчик („Сердчишко — жил да был вокзальчик...”) II,290.
- „Воскресенье настало. Мне не было грустно ничуть...” II,159.
- Воскресный день („О, как люблю я пребыванье рук...”) I,90.
- Вослед 27-мудню марта („У пред-весны с весною столько распрей...”) II,46.
- Вослед 27-му дню февраля („День пред весной, мне жаль моей зимы...”) II,16.
- Воспоминание („Мне говорят: который год...”) I,240.
- Воспоминание о Ялте („В тот день случился праздник на земле...”) I,184.
- „Восславим дам, как Пушкин нам велел...” III,144.
- „Вот было что со мной, что было не со мною...” (Смерть Французова) II,131.
- „Вот вам роман из жизни дачной...” (Дачный роман) III,54.
- „Вот девочки — им хочется любви...” (Апрель) I,64.
- „Вот звук дождя как будто звук домбры...” I,22.
- „Вот к будке с газированной водой...” (Автомат с газированной водой) I,42.
- „Вот не такой, как двадцать лет назад...” I,268.
- „Вошла в лиловом в логово и в лоно...” II,243.
- „Впасть в обморок беспамятства, как плод...” (В опустевшем доме отдыха) I,112.
- „Всего-то — чтоб была свеча...” (Свеча) I,63.
- „Всех обожаний бедствие огромно...” II,183.
- „Всё б глаз не отрывать от города Петрова...” (Возвращение из Ленинграда) I,287.
- „Всё в лес хожу. Заел меня репей...” (Лебедин мой) II,80.
- „Всё началось далекою порой...” (Биографическая справка) I,138.
- „Всё понятно: добрый дождик...” (Песенки для Ани и других мальчиков и девочек) III,174.
- „Всё чаще голос твой...” III,149.
- „Всё шхеры, фиорды, ущельных существ...” II,229.
- „Всё этот голос, этот голос странный...” (Посвящение) II,149.
- „Вспять времени идет идущий по аллее...” (Гроза в Малеевке) II,280.
- „Встает луна, и мстит она за муки...” (Лунатики) I,29.
- Вступление в простуду („Прост путь к свободе, к ясности ума...”) I,93.
- „Вся тьма — в отсутствии, в опале...” II,224.
- Гагра: кафе „Рица” („Как будто сон тягучий и огромный...”) I,291.
- „Где в эту ночь душа витала?...” (Дарственная надпись на книге „Fever”) III,163.
- „Где Питкьярнта? Житель питкьярнтский...” II,219.

- „Глаза затравленной газели...” III, 158.
- „Глубокий нежный сад, впадающий в Оку...” I, 199.
- „Глубокий плюш казенного Эдема...” (Описание ночи) I, 168.
- Гостить у художника („Итог увяданья подводит октябрь...”) I, 154.
- Гребенников здесь жил... („Гребенников здесь жил. Он был богач и плут...”) II, 95.
- „Гребенников здесь жил. Он был богач и плут...” (Гребенников здесь жил) II, 95.
- Гроза в Малеевке („Вспять времени идет идущий по аллее...”) II, 280.
- Грузинских женщин имена („Там в море паруса плутали...”) I, 19.
- Гряда камней (I— III) II, 197.
- „Грядущий день намечен был вчерне...” (Подражание) I, 190.
- Гусиный Паркер („Когда под бездной многостройной...”) II, 70.
- „Дали жизни, прекрасно короткой...” (Посвящения Нани, 4) III, 128.
- Дарственная надпись на книге Анны Ахматовой „Poesie” („Сей том, подарок итальянца...”) III, 162.
- Дарственная надпись на книге „Гряда камней” („Булат — суров, на ласку скуп...”) III, 154.
- Дарственная надпись на книге „Однажды в декабре” („Как я люблю вас, Таня, Зяма!...”) III, 160.
- Дарственная надпись на книге „Самые мои стихи” („На Эйфеля был зол Золя...”) III, 156.
- Дарственная надпись на книге „Fever” („Где в эту ночь душа видала?...”) III, 163.
- „Дарю тебе сию тетрадь...” (Боре) III, 168.
- Дачный роман („Вот вам роман из жизни дачной...”) III, 54.
- Два гепарда („Этот ад, этот сад, этот зоо...”) I, 236.
- „Двадцать два, значит, года тому...” (Павлу Антокольскому, 2) I, 17.
- 29-й день февраля („Тот лишний день, который нам дается...”) II, 142.
- „Двенадцать часов. День июля десятый...” (Луна в Тарусе) I, 261.
- Дворец („Мне во владенье дан дворец из алебаstra...”) II, 277.
- 19 октября 1996 года („Осенний день, особый день...”) II, 294.
- Декабрь („Мы соблюдаем правила зимы...”) I, 73.
- День: 12 марта 1981 года („Дни марта меж собою не в родстве...”) II, 33.
- „День октября шестнадцатый столь тёпел...” (Бабочка) I, 295.
- „День пред весной, мне жаль моей зимы...” (Вослед 27-мудню февраля) II, 16.
- День-Рафаэль („Пришелец День, не стой на розовом холме!...”) II, 89.
- „Деревни Бёхово крестьянин...” I, 263.
- „Дни марта меж собою не в родстве...” (День: 12 марта 1981 года) II, 33.

- Дождик (Песенки для Ани и других мальчиков и девочек) III, 174.
 „Дождь в лицо и ключицы...” I, 10.
 Дождь и сад („В окне, как в чуждом букваре...”) I, 157.
 Дом („Я вам клянусь: я здесь бывала!..”) I, 229.
 Дом и лес („Этот дом увядает, как лес...”) I, 208.
 Дом с башней („Луны еще не вдосталь, а заря ведь...”) II, 184.
 Домик (Наслаждения в Куоккале, IV) III, 103.
 „Дорога на Паршино, дале — к Тарусе...” II, 144.
 Друг столб („В апреле неделю худую, вторую...”) II, 127.
 Другое („Что сделалось? Зачем я не могу...”) I, 127.
- „Есть в сумерках блаженная свобода...” (Сумерки) I, 128.
 „Есть тайна у меня от чудного цветенья...” II, 59.
 „Еще и обещанья не давала...” (Скончание черемухи-2) II, 138.
 „Еще ноябрь, а благодать...” (Пейзаж) I, 72.
 Ёлка в больничном коридоре („В коридоре больничном поставили ёлку. Она...”) II, 256.
- Женщины („Какая сладостная власть...”) I, 84.
 „Живут на улице Песчаной...” I, 30.
 „Жила в позоре окаянном...” I, 77.
 „Жилось мне весело и шибко...” I, 58.
- „За что мне всё это? Февральской теплыни подарки...” I, 246.
 „Забьли мяч (он досаждал мне летом)...” (Забытый мяч) II, 104.
 Забытый мяч („Забьли мяч (он досаждал мне летом)...”) II, 104.
 „Завидев дом, в испуге безъязыком...” II, 189.
 „Завиден мне полёт твоих колес...” (Мотороллер) I, 40.
 „Завидна мне извечная привычка...” I, 234.
 Заклинание („Не плачьте обо мне — я проживу...”) I, 177.
 „Замечаю, что жизнь не прочна...” (Медлительность) I, 198.
 Запоздалый ответ Пабло Неруде („Коль впрямь качнулась и упала...”) I, 250.
 „Зачем? — да так, как входят в глушь осин...” (Приключение в антикварном магазине) III, 47.
 „Зачем он ходит? Я люблю одна...” II, 111.
 Звук указующий („Звук указующий, десятый день...”) II, 108.
 „Звук указующий, десятый день...” (Звук указующий) II, 108.
 „Здесь никогда пространство не игриво...” II, 214.
 „Здесь дом стоял. Столетие назад...” (Таруса, II) I, 270.
 Зима („О жест зимы ко мне...”) I, 86.
 „Зима на юге. Далеко зашло...” I, 159.

- Зимний день („Мороз, сиянье детских лиц...”) I,75.
- Зимняя замкнутость („Странный гость побывал у меня в феврале...”) I,117.
- „Знаю: праздник будет завтра...” III,155.
- „И волос бел, и голос побелел... (Асафу Михайловичу Мессереру) III,142.
- Ивановские припевки („Созвали семинар — проникнуть в злобу дня...”) II,259.
- Игры и шалости („Мне кажется, со мной играет кто-то...”) II,19.
- „Из высшего мрака, из вечности грозной...” (Посвящения Нани, 3) III,127.
- „Из глубины моих невзгод...” I,83.
- „Итог увяданья подводит октябрь...” (Гостить у художника) I,154.
- „Как будто сон тягучий и огромный...” (Гагра: кафе „Рица”) I,291.
- „Как вольно я брожу, как одиноко...” (Прогулка) II,78.
- „Как долго я не выспалась...” (Описание обеда) I,143.
- „Как знать, вдруг — мало, а не много...” (Таруса, VI) I,272.
- „Как любила я жизнь! — О любимая, длись!...” (Тифлис) I,289.
- „Как мило всё было, как странно...” (Анне Каландадзе) I,251.
- „Как много у маленькой музыки этой...” II,129.
- „Как никогда беспечна и добра...” I,228.
- „Как строить твой портрет, дородное палаццо?...” (Портрет, пейзаж и интерьер) II,287.
- „Как холодно в Эшери и как строго...” I,294.
- „Как хороши, как свежи...” О, как свежи...” (Поступок розы) II,194.
- „Как щедр сей фолиант, о Боже!...” (Шутка для милого Дэдика в день его рождения) III,133.
- „Как я люблю вас, Таня, Зяма!...” (Дарственная надпись на книге „Однажды в декабре”) III,160.
- „Какая зелень глаз вам свойственна, однако...” (Таруса, I) I,270.
- „Какая сладостная власть...” (Женщины) I,84.
- „Какая участь нас постигла...” (Мазурка Шопена) I,28.
- „Какое блаженство, что блещут снега...” I,242.
- „Какому ни предамся краю...” II,163.
- Клянусь („Тем летним снимком: на крыльце чужом...”) I,141.
- „Когда б спросили... — некому спросить...” I,103.
- „Когда бы этот день — тому, о ком читаю...” (Ларец и ключ) II,274.
- „Когда влюбленный ум был мартом очарован...” (Черемуха) II,53.
- „Когда жалела я Бориса...” II,154.
- „Когда под бездной многостройной...” (Гусиный Паркер) II,70.

- Козлёнок („Раз месяца нет над дорогой...“) III,130.
 „Коль впрямь качнулась и упала...“ (Запоздальный ответ Пабло Неруде) I,250.
 Кофейный чёртик („Опять четвертый час. Да что это, ей-богу!..“) II,31.
 „Крепнет и множится вихрь, обрывающий...“ III,132.
 „Кривая Нинка: нет зубов, нет глаза...“ (Смерть совы) II,92.
 „Кто же был так силен и умен?..“ (Немота) I,125.
 „Кто знает — вечность или миг...“ I,71.
 „Кхе-кхе... кхе-кхе... а завтра Рождество...“ (Недуг) III,90.
- Ладыжино („Я этих мест не видела давно...“) II,14.
 „Лакомка-неженка-Юрмала...“ III,140.
 „Лапландских летних льдов недалняя граница...“ II,227.
 Ларец и ключ („Когда бы этот день — тому, о ком читаю...“) II,274.
 Лебедин мой (Всё в лес хожу. Заел меня репей...) II,80.
 Ленинград („Опять дана глазам награда Ленинграда...“) I,284.
 „— Лену Д. Вы не помните? — Лену?..“ (Памяти Лены Д.) I,247.
 Лермонтов и дитя („Под сердцем, говорят. Не знаю. Не вполне...“) I,200.
 „Лишь июнь сортавальские воды согрел...“ II,235.
 Луна в Тарусе („Двенадцать часов. День июля десятый...“) I,261.
 Луна до утра („Что опыт? Вздор! Нет опыта любви...“) II,41.
 Лунатики („Встает луна, и мстит она за муки...“) I,29.
 Луне от ревнивца („Явилась, да не вся. Где полтвоей красы?..“) II,116.
 „Луны еще не вдосталь, а заря ведь...“ (Дом с башней) II,184.
 „Любезный друг, мой милый Бух...“ III,141.
 „Люблю, люблю! — при снегопаде...“ III,115.
 „Люблю, Марина, что тебя, как всех...“ (Уроки музыки) I,108.
 „Люблю ночные промедленья...“ II,147.
 „Любовь моя, Ваш день рожденья...“ III,118.
- Магнитофон („В той комнате под чердаком...“) I,66.
 Мазурка Шопена („Какая участь нас постигла...“) I,28.
 Маленькие самолеты („Ах, мало мне другой заботы...“) I,95.
 Медлительность („Замечаю, что жизнь не прочна...“) I,198.
 Метель („Февраль — любовь и гнев погоды...“) I,165.
 Милость пространства. 10 марта („Я описала марта день девятый...“) II,26.
 „Мне во владенье дан дворец из алебастра...“ (Дворец) II,277.
 „Мне вспоминать сподручней, чем иметь...“ I,166.
 „Мне говорят: который год...“ (Воспоминание) I,240.

- „Мне дан июнь холодный и пространный...” II,206.
- „Мне Звёздкин говорил, что он в меня влюблен...” II,122.
- „Мне кажется, со мной играет кто-то...” (Игры и шалости) II,19.
- „Мне ль помышлять о примиренье...” III,157.
- „Мне — пляшущей под мхетскую луной...” (Спать) I,61.
- „Мне скакать, мне в степи озираться...” I,14.
- „Мозг занемог: весна. О воду капли бьются...” (Сиреневое блюдо)
II,87.
- „Моих слепых движений поводырь...” III,167.
- „Мой этот год — вдоль бездны путь...” (Песенка для Булата) I,197.
- Молитва („Ты, населивший мглу Вселенной...”) I,161.
- „Молчали той. Зато хвалима эта...” (Таруса, IV) I,271.
- „Мороз, сиянье детских лиц...” (Зимний день) I,75.
- „Морская — так иди в свои моря...” (Таруса, III) I,271.
- Москва: дом на Беговой улице (Владимиру Высоцкому, II) II,10.
- Москва ночью при снегопаде („Родитель-хранитель-ревнитель души...”) I,257.
- Мотороллер („Завиден мне полет твоих колес...”) I,40.
- „Моя машинка — не моя...” (Чужая машинка) I,235.
- Моя родословная III,23.
- „Мы начали вместе: рабочие, я и зима...” I,298.
- „Мы расстаемся — и одновременно...” I,65.
- „Мы соблюдаем правила зимы...” (Декабрь) I,73.
- „На Эйфеля был зол Золя...” (Дарственная надпись на книге „Самые мои стихи”) III,156.
- Надпись на книге воспоминаний Сальвадора Дали для Людмилы Черновой („В какой дали от Сакартвело...”) III,151.
- Надпись на книге: 19 октября („Согласьем розных одиночеств...”) II,297.
- Надпись на книге, подаренной вместе с подковой Ольге и Пьеру Морель („О, Пьер, о, Ольга — вот подкова...”) III,159.
- „Нас одурачил нынешний сентябрь...” I,47.
- Наслаждения в Куоккале (I — VIII) III,97.
- Наслаждения в Куоккале (Наслаждения в Куоккале, III) III,102.
- „Начну издалека, не здесь, а там...” (Памяти Бориса Пастернака) I,98.
- „Не грех ли на залив сменять...” (Побережье) II,191.
- „Не действуя и не дыша...” (Осень) I,97.
- „Не добела раскалена...” I,286.
- „Не довольно ли нам пререкаться...” (Посвящения Нани, 2) III,125.

- „Не знаю, что со мной творилось...” (В метро на остановке „Сокол”) I,68.
- „Не надо! Никогда! — ни дома и ни сада...” III,148.
- Не писать о грозе („Беспорядок грозы в небесах!..”) I,172.
- „Не плачьте обо мне — я проживу...” (Заклинание) I,177.
- „Не полюбить бы этот дом чужой...” (Постой) II,181.
- „Не сани летели — телега...” (Февраль без снега) I,243.
- „Не состязались. Но реванш...” III,136.
- „Не то чтоб я забыла что-нибудь...” II,213.
- „Не уделяй мне много времени...” I,26.
- Невеста („Хочу я быть невестой...”) I,12.
- Недуг („Кхе-кхе... кхе-кхе... а завтра Рождество...”) III,89.
- Нежность („Так ощутима эта нежность...”) I,36.
- Немота („Кто же был так силен и умен?...”) I,125.
- Непослушание вещей („Что говорить про вольный дух свечей...”) II,37.
- Несмеяна („Так и сажу — царевна Несмеяна...”) I,38.
- „Ни слова о любви! Но я о ней ни слова...” I,207.
- Новая тетрадь („Смущаюсь и робею пред листом...”) I,9.
- Ночное („Ночные измышленья, кто вы, что вы?...”) II,222.
- „Ночные измышленья, кто вы, что вы?...” (Ночное) II,222.
- Ночь („Уже рассвет темнеет с трех сторон...”) I,120.
- „Ночь: белый сонм колонн надводных. Никого нет...” II,205.
- Ночь на 30-е апреля („Брат-комната, где я была — не спрашивай...”) II,123.
- Ночь на тридцатое марта („В ночь на тридцатый марта день я шла...”) II,109.
- Ночь на 6-е июня („Перечит дрёме въедливая дрель...”) II,161.
- Ночь перед выступлением („Сегодня, куда вы спали, надеюсь...”) I,215.
- Ночь упадания яблок („Уж август в половине. По откосам...”) II,65.
- „Ночью подъехала к дому...” III,150.
- „О боль, ты — мудрость. Суть решений...” (Болезнь) I,88.
- „О гость грядущий, гость любезный!...” (Приметы мастерской) I,266.
- „О Грузия, лишь по твоей вине...” (Тоска по Лермонтову) I,114.
- „О, еще с тобой случится...” I,24.
- „О жест зимы ко мне...” (Зима) I,86.
- „О, как люблю я пребыванье рук...” (Воскресный день) I,90.
- „О мой застенчивый герой...” I,78.
- „О прометчивость моя!...” (Сон) I,106.
- „О, Пьер, о, Ольга — вот подкова...” (Надпись на книге, подарен-

- ной вместе с подковой Ольге и Пьеру Морель) III,159.
 „Объяты — вот занятие и досуг...” (Ревность пространства. 9 марта)
 II,24.
- Одевание ребёнка („Ребёнка одевают. Он стоит...”) II,285.
 „Однажды, покачнувшись на краю...” I,192.
 Ожидание ёлки („Благоволите, сестра и сестра...”) I,225.
 Озноб („Хвораю, что ли, — третий день дрожу...”) III,7.
 Окрестности (Наслаждения в Куоккале, VII) III,106.
 Он — Ей (Отрывок из маленькой поэмы о Пушкине) I,222.
 Он и Она (Отрывок из маленькой поэмы о Пушкине) I,221.
 „Он утверждал: „Между теплиц...” (Памяти Бориса Пастернака)
 I,101.
- Описание боли в солнечном сплетении („Сплетенье солнечное —
 чупь!...”) I,170.
- Описание ночи („Глубокий плюш казенного Эдема...”) I,168.
 Описание обеда („Как долго я не выспалась...”) I,143.
 Описание удода (Песенки для Ани и других мальчиков и девочек)
 III,172.
- „Опять в природе перемена...” I,46.
 „Опять дана глазам награда Ленинграда...” (Ленинград) I,284.
 „Опять сентябрь, как тьму времён назад...” I,213.
 „Опять четвертый час. Да что это, ей-богу!...” (Кофейный чертик)
 II,31.
- „Осенний день, особый день...” (19 октября 1996 года) II,294.
 Осень („Не действуя и не дыша...”) I,97.
 Отрывок из маленькой поэмы о Пушкине I,221.
 „Отселева за тридцать земель...” II,140.
 Отступление о Козе (Наслаждения в Куоккале, II) III,100.
 „Официант в поношенном крахмале...” (Павлу Антокольскому, I)
 I,16.
- Павлу Антокольскому (1 — 2) I,16.
 Палец на губах („По улице крадусь. Кто бедный был Алферов...”)
 II,84.
 Памяти Агилы Йожефа III,73.
 Памяти Бориса Пастернака I,98.
 Памяти Генриха Нейгауза („Что — музыка? Зачем? Я — не искатель
 муки...”) I,278.
 Памяти Лены Д. („— Лену Д. Вы не помните? — Лену?..”) I,247.
 Пачёвский мой („— Скучаете в своей глуши? — Возможно ль...”)
 II,120.
 Пашка („Пять лет. Изнежен. Столько же запуган...”) II,118.

- Пейзаж („Еще ноябрь, а благодать...”) I,72.
- „Перед тем, как ступить на балкон...” (Пререкание с Крымом) I,186.
- Переделкино после разлуки („Темнела долгая загадка...”) I,280.
- „Перечит дреме въедливая дрель...” (Ночь на 6-е июня) II,161.
- Песенка для Булата („Мой этот год — вдоль бездны путь...”) I,197.
- Песенки для Ани и других мальчиков и девочек III,171.
- „Петра там нет. Не эту же великость...” I,288.
- Печали и шуточки: комната („В ту комнату, где прошлою зимой...”) II,99.
- Письмо Булату из Калифорнии („Что в Калифорнии, Булат...”) I,281.
- „Пластинки глупенькое чудо...” (Строка) I,174.
- Плохая весна („Пока клялись беспечные снега...”) I,132.
- „По улице крадусь. Кто бедный был Алферов...” (Палец на губах) II,84.
- „По улице моей который год...” I,33.
- Побережье („Не грех ли на залив сменять...”) II,191.
- „Под горой — дом-горюн, дом-горыныч живет...” II,215.
- „Под сердцем, говорят. Не знаю. Не вполне...” (Лермонтов и дитя) I,200.
- Подарок Боре („Тихонею, скромницей и недотрогой...”) III,164.
- Подарок Боре в минуту гнева („Подвержена дурной манере...”) III,161.
- „Подвержена дурной манере...” (Подарок Боре в минуту гнева) III,161.
- Подражание („Грядущий день намечен был вчерне...”) I,190.
- Поездка в город („Я собиралась в город ехать...”) II,301.
- Поездка в Зеленогорск (Наслаждения в Куоккале, VIII) III,107.
- „Поздней весны польза-обнова...” II,258.
- „Пока клялись беспечные снега...” (Плохая весна) I,132.
- „Пока черемухи влиянье...” (Черемуха предпоследняя) II,61.
- „Покуда жилкой голубою...” (Шуточное послание к другу) I,283.
- „Помню — как вижу, зрачки затемню...” I,254.
- „Пора, прощай, моя скала...” II,247.
- Поросёнок (Песенки для Ани и других мальчиков и девочек) III,173.
- Портрет, пейзаж и интерьер („Как строить твой портрет, дородное палаццо?..”) II,287.
- Посвящение („Всё этот голос, этот голос странный...”) II,149.
- Посвящение Лулу („Я думала вчера, воззрившись на луну...”) III,117.
- Посвящения Нани (1 — 4) III,123.
- „Последний день живу я в странном доме...” I,122.
- Постой („Не полюбить бы этот дом чужой...”) II,181.

- „Постоялец вникает в реестр проявлений...” II,271.
- Поступок розы („Как хороши, как свежи...” О, как свежи...) II,194.
- „Потом я вспомню, что была жива...” I,233
- „Пред Окой преклоненность земли...” (Возвращение в Тарусу) II,49.
- „Предутренний час драгоценный...” I,188.
- „Прекрасной медленной дорогой...” (Путник) I,264.
- „Преодолима с Паршином разлука...” (Шум типины) II,145.
- Преппирательства и примирения („Вниз, к Оке, упадая сквозь лес...”)
II,50.
- Пререкание с Крымом („Перед тем, как ступить на балкон...”) I,186.
- „Претерпева медленную юность...” (Слово) I,123.
- Пригород: названья улиц („Стихам о люксембургских розах...”)
II,266.
- Приключение в антикварном магазине („Зачем? — да так, как входят в глушь осин...”) III,47.
- Приметы мастерской („О гость грядущий, гость любезный!..”) I,266.
- „Пришелец День, не стой на розовом холме!..” (День-Рафаэль) II,89.
- „Пришелец, этих мест название: курорт...” I,293.
- „Пришла и говорю: как нынешнему снегу...” (Взойти на сцену) I,204.
- „Пришла. Стоит. Ей восемнадцать лет...” I,239.
- Прогулка („Как вольно я брожу, как одиноко...”) II,78.
- „Проснулась в тишине, но словно бы от крика...” (Рига) III,138.
- „Прост путь к свободе, к ясности ума...” (Вступление в простуду) I,93.
- „Прохожий, мальчик, что ты? Мимо...” I,227.
- „Прощай! Прощай! Со лба сотру...” I,182.
- Прощание („А напоследок я скажу...”) I,70.
- „Пусть так, и в тайну тишины...” (Экспромт Кобе Гурули) III,116.
- Путешествие („Человек, засыпая, из мглы выкликает звезду...”)
I,274.
- Путник („Прекрасной медленной дорогой...”) I,264.
- Пятнадцать мальчиков („Пятнадцать мальчиков, а может быть, и больше...”) I,55.
- „Пятнадцать мальчиков, а может быть, и больше...” (Пятнадцать мальчиков) I,55.
- „Пять дней назад, бесформенной луны...” (Февральское полнолуние) II,67.
- „Пять лет. Изнежен. Столько же запуган...” (Пашка) II,118.
- Радость в Тарусе („Я позабыла, что всё это есть...”) II,21.
- „Раз месяца нет над дорогой...” (Козлёнок) III,130.
- Рассвет („Светает раньше, чем вчера светало...”) II,36.
- „Растает снег. Я в зоопарк схожу...” (Таруса, V) I,272.

- „Ребёнка одевают. Он стоит...” (Одевание ребёнка) II,285.
 Ревность пространства. 9 марта („Объятье — вот занятие и досуг...”)
 II,24.
 Рига („Проснулась в тишине, но словно бы от крика...”) III,138.
 Рисунок („Рисую женщину в лиловом...”) I,181.
 „Рисую женщину в лиловом...” (Рисунок) I,181.
 „Ровно полночь, а ночь пребывает в изгоях...” II,151.
 Род занятий („Упорствуешь. Не хочешь быть. Прощай...”) II,73.
 „Родитель-хранитель-ревнитель души...” (Москва ночью при снего-
 паде) I,257.
 Роза („Вид рынка в Гагре душу веселит...”) I,276.
 Ромео и Джульетта (Стихи к симфониям Гектора Берлиоза) III,59.
- Сад („Я вышла в сад, но глушь и роскошь...”) II,7.
 Сад-всадник („Сад-всадник летит по отвесному склону...”) II,90.
 „Сад-всадник летит по отвесному склону...” (Сад-всадник) II,90.
 „Сад еще не облетал...” I,210.
 „Сверканье блёсен, жалобы уключин...” II,240.
 Свет и туман („Сколь ни живи, сколь ни учи наук...”) II,39.
 Светает (Наслаждения в Куоккале, VI) III,105.
 „Светает раньше, чем вчера светало...” (Рассвет) II,36.
 Светофоры („Светофоры. И я перед ними...”) I,52.
 „Светофоры. И я перед ними...” (Светофоры) I,52.
 Свеча („Всего-то — чтоб была свеча...”) I,63.
 „Сегодня, куда вы спали, надеюсь...” (Ночь перед выступлением)
 I,215.
 „Сей том, подарок итальянца...” (Дарственная надпись на книге
 Анны Ахматовой „Poesie”) III,162.
 Семья и быт („Сперва дитя явилось из потёмков...”) I,175.
 „Сердчишко жизни — жилда был вокзальчик...” (Вокзальчик) II,290.
 Симону Чиковани („Явиться утром в чистый север сада...”) I,104.
 Синяя арка (Наслаждения в Куоккале, I) III,97.
 Сиреневое блюдце („Мозг занемог: весна. О воду капли бьются...”)
 II,87.
 „Сирень, сирень — не кончилось бы худом...” II,250.
 Сказка о Дожде III,12.
 „Сколь ни живи, сколь ни учи наук...” (Свет и туман) II,39.
 Скончание черемухи-1 („Тринадцатый с тобой я встретила вос-
 ход...”) II,135.
 Скончание черемухи-2 („Еще и обещанья не давала...”) II,138
 „— Скучаете в своей глуши? — Возможно ль...” (Пачёвский мой)
 II,120.

- „Словно лев, охраняющий важность ворот...” (Шестой день июня)
II, 208.
- Слово („Претерпевая медленную юность...”) I, 123.
- „Случилось так, что двадцати семи...” I, 110.
- „Смеркается в пятом часу, а к пяти...” I, 296.
- Смерть сьвы („Кривая Нинка: нет зубов, нет глаза...”) II, 92.
- Смерть Французова („Вот было что со мной, что было не со мною...”) II, 131.
- „Смеясь, ликуя и бунтуя...” I, 21.
- „Смотрю на женщин, как смотрели встарь...” I, 80.
- „Смущаюсь и робею пред листом...” (Новая тетрадь) I, 9.
- Снегопад („Снегопад свое действие начал...”) I, 163.
- „Снегопад свое действие начал...” (Снегопад) I, 163.
- Снегурочка („Что так Снегурочку тянуло...”) I, 27.
- Снимок („Улыбкой юности и славы...”) I, 217.
- Сны о Грузии („Сны о Грузии — вот радость!..”) I, 60.
- „Сны о Грузии — вот радость!..” (Сны о Грузии) I, 60.
- „Собрались, завели разговор...” I, 193.
- „Согласьем розных одиночеств...” (Надпись на книге: 19 октября)
II, 297.
- „Созвали семинар — проникнуть в злобу дня...” (Ивановские при-
певки) II, 259.
- Сон („О опрометчивость моя!..”) I, 106.
- Спать („Мне — пляшущей под михетскою луной...”) I, 61.
- „Сперва дитя явилось из потёмок...” (Семья и быт) I, 175.
- „Сплетенье солнечное — чужь!..” (Описание боли в солнечном спле-
тении) I, 170.
- „Средь роз в халате и в палате...” III, 146.
- Стена („Вид из окна: кирпичная стена...”) II, 170.
- „Стихам о люксембургских розах...” (Пригород: названья улиц)
II, 266.
- Стихи к симфониям Гектора Берлиоза III, 59.
- „Стихотворения чудный театр...” I, 249.
- „Странный гость побывалу меня в феврале...” (Зимняя замкнутость)
I, 117.
- Строгость пространства. 11 марта („Что марту дни его: девятый и
десятый?..”) II, 29.
- Строка („Пластинки глупенькое чудо...”) I, 174.
- Суббота в Тарусе („Так дружно весна начиналась: все други...”)
II, 124.
- Сумерки („Есть в сумерках блаженная свобода...”) I, 128.

- „Так бел, что опаляет веки...” II, 232.
- „Так дружно весна начиналась: все други...” (Суббота в Тарусе) II, 124.
- „Так дурно жить, как я вчера жила...” I, 148.
- „Так запрокинут лоб, оторванный от яви...” II, 273.
- „Так, значит, как вы делаете, други?...” I, 206.
- „Так и живем — напрасно маясь...” I, 81.
- „Так и сижу — царевна Несмеяна...” (Несмеяна) I, 38.
- „Так ощутима эта нежность...” (Нежность) I, 36.
- „Так щедро август звёзды расточал...” (Август) I, 32.
- „Так я жила-была: не зная...” (Посвящения Нани, 1) III, 123.
- „Такая пала на душу метель...” II, 176.
- „Там в море паруса плутали...” (Грузинских женщин имена) I, 19.
- Таруса (I — VI) I, 270.
- Твой дом („Твой дом, не ведая беды...”) I, 44.
- „Твой дом, не ведая беды...” (Твой дом) I, 44.
- „Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий...” (Владимиру Высоцкому, I) II, 9.
- „Тем летним снимком: на крыльце чужом...” (Клянусь) I, 141.
- „Темнеет в полночь и светает вскоре...” II, 187.
- „Темнела долгая загадка...” (Переделкино после разлуки) I, 280.
- „Темно, и розных вод смешались имена...” (Венеция моя) II, 283.
- „Теперь о тех, чьи детские портреты...” I, 223.
- Тифлис („Как любила я жизнь! — О любимая, длись!..”) I, 289.
- „Тихонею, скромницей и недотрогой...” (Подарок Боре) III, 164.
- „То ль потому, что ландыш пожелтел...” II, 238.
- „То снился он тебе, а ныне — ты ему...” I, 290.
- „Тому назад два года, но в июне...” II, 269.
- Тоска по Лермонтову („О Грузия, лишь по твоей вине...”) I, 114.
- „Тот лишний день, который нам дается...” (29-й день февраля) II, 142.
- „Три дня тебе, красавица моя!...” (Черемуха трёхдневная) II, 56.
- „Тринадцатый с тобой я встретила восход...” (Скончание черемухи-I) II, 135.
- „Ты говоришь — не надо плакать...” I, 48.
- „Ты, населивший мглу Вселенной...” (Молитва) I, 161.
- „У пред-весны с весною столько распрей...” (Вослед 27-мудню марта) II, 46.
- „Уж август в половине. По откосам...” (Ночь упаданья яблок) II, 65.
- „Уже рассвет темнеет с трех сторон...” (Ночь) I, 120.
- „Улыбкой юности и славы...” (Снимок) I, 217.
- „Упорствуешь. Не хочешь быть. Прощай...” (Род занятий) II, 73.

- Уроки музыки („Люблю, Марина, что тебя, как всех...”) I,108.
 Утро после луны („Что там с луною — видит лишь стена...”) II,44.
- Фантастическая симфония (Стихи к симфониям Гектора Берлиоза) III,65.
- Февраль без снега („Не сани летели — телега...”) I,243.
 „Февраль — любовь и гнев погоды...” (Метель) I,165.
 Февральское полнолуние („Пять дней назад, бесформенной луны...”) II,67.
- „Хвораю, что ли, — третий день дрожу...” (Озноб) III,7.
 „Хитёр поэт, коль он пришёл под видом дамы...” (Александру Моисеевичу Эскину) III,120.
 „Ход вам навстречу так плавлен...” III,147.
 „Хожу по околицам дюжей весны...” II,262.
 „Хочу я быть невестой...” (Невеста) I,12.
- Цветений очерёдность („Я помню, как с небес день тридцать первый марта...”) II,133.
- Цветы („Цветы росли в оранжерее...”) I,11.
 „Цветы росли в оранжерее...” (Цветы) I,11.
- „Человек, засыпая, из мглы выкликает звезду...” (Путешествие) I,274.
 „Чем отличаюсь я от женщины с цветком...” I,59.
 „Чемо Дэзик, чемо швило...” III,152.
 „Чердаком, граммофонами, главным...” (Борису Мессереру) III,166.
 Черемуха („Когда влюбленный ум был мартом очарован...”) II,53.
 Черемуха белоношная („Черемухи вдыхатель, воздыхатель...”) II,210.
 Черемуха предпоследняя („Пока черемухи влиянье...”) II,61.
 Черемуха трёхдневная („Три дня тебе, красавица моя!..”) II,56.
 „Черемухи вдыхатель, воздыхатель...” (Черемуха белоношная) II,210.
 „Четверть века, Марина, тому...” I,130.
 „Что в Калифорнии, Булат...” (Письмо Булату из Калифорнии) I,281.
 „Что говорить про вольный дух свечей...” (Непослушание вещей) II,37.
 „Что за мгновенье! Родное дитя...” I,202.
 „Что марту дни его: девятый и десятый?..” (Строгость пространства. 11 марта) II,29.

- „Что — музыка? Зачем? Я — не искатель муки...” (Памяти Генриха Нейгауза) I,278.
- „Что опыт? Вздор! Нет опыта любви...” (Луна до утра) II,41.
- „Что сделалось? Зачем я не могу...” (Другое) I,127.
- „Что так Снегурочку тянуло...” (Снегурочка) I,27.
- „Что там с луною — видит лишь стена...” (Утро после луны) II,44.
- „— Что это, что? — Спи, это жарво лбу...” II,254.
- „Чудовищный и призрачный курорт...” II,173.
- Чужая машинка („Моя машинка — не моя...”) I,235.
- Чужое ремесло („Чужое ремесло мной помывает...”) I,53.
- „Чужое ремесло мной помывает...” (Чужое ремесло) I,53.

Шестой день июня („Словно лев, охраняющий важность ворот...”) II,208.

Шум тишины („Преодолима с Паршином разлука...”) II,145.

Шутка для милого Дэдика в день его рождения („Как щедр сей фолиант, о Боже!..”) III,133.

Шуточное послание к другу („Покуда жилкой голубою...”) I,283.

Экспромт Кобе Гурули („Пусть так, и в тайну тишины...”) III,116.

„Эта смерть не моя есть ущерб и зачет...” (Владимиру Высоцкому, III) II,13.

Это я... („Это я — в два часа пополудни...”) I,178.

„Это я — в два часа пополудни...” (Это я) I,178.

„Этот ад, этот сад, этот зоо...” (Два гепарда) I,236.

„Этот брег — только бред двух схватившихся зорь...” II,203.

„Этот дом увядает, как лес...” (Дом и лес) I,208.

„Я вам клянусь: я здесь бывала!..” (Дом) I,229.

„Я вас люблю, красавицы столетий...” I,219.

„Я встала в шесть часов. Виднелась тьма во тьме...” II,115.

„Я вышла в сад, но глушь и роскошь...” (Сад) II,7.

„Я думала в уютный час дождя...” (Варфоломеевская ночь) I,150.

„Я думала вчера, воззрившись на луну...” (Посвящение Лулу) III,117.

„Я думала, что ты мой враг...” I,57.

„Я думаю: как я была глупа...” I,146.

„Я завидую ей — молодой...” I,237.

„Я знаю, всё будет: архивы, таблицы...” I,256.

„Я — лишь горы моей подножье...” II,217.

„Я лишь объём, где обитает что-то...” II,106.

„Я описала марта день девятый...” (Милость пространства. 10 марта) II,26.

- „Я позабыла, что всё это есть...” (Радость в Тарусе) II,21.
- „Я помню, как с небес день тридцать первый марта...” (Цветений
очередность) II,133.
- „Я собиралась в город ехать...” (Поездка в город) II,301.
- „Я столько раз была мертва...” I,253.
- „Я школу Гнесиных люблю...” I,258.
- „Я этих мест не видела давно...” (Ладьжино) II,14.
- „Явилась, да не вся. Где пол твоей красоты?..” (Луне от ревнивца)
II,116.
- „Явиться утром в чистый север сада...” (Симону Чиковани) I,104.

Составил О.Грушников

СОДЕРЖАНИЕ

П О Э М Ы

Озноб	7
Сказка о Дожде	12
Моя родословная	23
Приключение в антикварном магазине	47
Дачный роман	54
Стихи к симфониям Гектора Берлиоза:	
Ромео и Джульетта	59
Фантастическая симфония	65
Памяти Аттилы Йожефа	73
Недуг	89
Наслаждения в Куоккале	97

П О Э Т И Ч Е С К И Е П О С В Я Щ Е Н И Я И Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е Н А Д П И С И

„Люблю, люблю! — при снегопаде...”	115
Экспромт Кобе Гурули	116
Посвящение Лулу	117
„Любовь моя, Ваш день рождения...”	118
Александрю Моисеевичу Эскину	120
Благодарю тебя...	122
Посвящения Нани:	
1. „Так я жила-была: не зная...”	123
2. „Не довольно ли нам пререкаться...”	125
3. „Из высшего мрака, из вечности грозной...”	127
4. „Дали жизни, прекрасно короткой...”	128
Козлёнок	130
„Крепнет и множится вихрь, обрывающий...”	132
Шутка для милого Дэдика в день его рождения.	133
В ночь на 21 декабря 1980 года	135
„Не состязались. Но реванш...”	136
Рига	138
„Лакомка-неженка-Юрмала...”	140
„Любезный друг, мой милый Бух...”	141
Асафу Михайловичу Мессереру	142

„Восславим дам, как Пушкин нам велел...”	144
„Средь роз в халате и в палате...”	146
„Ход вам навстречу так плавлен...”	147
„Не надо! Никогда! — ни дома и ни сада...”	148
„Всё чаще голос твой...”	149
„Ночью подъехала к дому...”	150
Надпись на книге воспоминаний Сальвадора Дали для Людмилы Черновой	151
„Чемо Дэзик, чемо швило...”	152
„В саду дрозды перекликались...”	153
Дарственная надпись на книге „Гряда камней”	154
„Знаю: праздник будет завтра...”	155
Дарственная надпись на книге „Самые мои стихи”	156
„Мне ль помышлять о примиреньи...”	157
„Глаза затравленной газели...”	158
Надпись на книге, подаренной вместе с подковой Ольге и Пьеру Морель	159
Дарственная надпись на книге „Однажды в декабре”	160
Посвящения и дарственные надписи Борису Мессереру:	
1. Подарок Боре в минуту гнева	161
2. Дарственная надпись на книге Анны Ахматовой „Poesie”, Guanda	162
3. Дарственная надпись на книге „Fever”	163
4. Подарок Боре	164
5. Борису Мессереру	166
6. „Моих слепых движений поводырь...”	167
7. Боре	168

СТИХИ ДЕТЯМ

Песенки для Ани и для других мальчиков и девочек	171
Описание удода	172
Поросёнок	173
Дождик	174
„Всё понятно: добрый дождик...”	174

ПЕРЕВОДЫ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Гийом Аполлинер

Всегда	179
О, моя покинутая молодость...	181

Тонино Гуэрра

Пироц	184
Лимоны	186
Страшный рай	188
Неурядицы житья-бытья	189

Лошадиная лихорадка	190
Кот на абрикосовом дереве	191
Прекрасный мир	193
Иногда	194
Три волоска	195
<i>Мария Конопницкая</i>	
Закат во Фьезоле	198
В городишке	200
На Курпиках	203
<i>Витезслав Незвал</i>	
Осенние листья	207
Рондель („Я папоротник рвал, губил я ветки...”)	209
Рондель („Прости меня, что я помыслить смел...”)	210
Пастели:	
„За горизонтом, близко к небесам...”	211
„За городом, за горизонтом, там...”	211
На острие ножа	212
Восторг	213
Вечер	214
Январь	215
Август	216
Октябрь	217
Ноябрь	218
Женщина во множественном числе	219
В улыбке дней	222
Талисман	225
Лунный вечер	230
Торжество	231
До свиданья	232
Знамение	233
Сирень у музея на Вацлавской площади	234
Словак-проволочник	235
Ночь акаций	236
Пражские домовые знаки:	
Скрипка	238
Весы	238
У солнца	238
Пражские празднества	239
Не ведаю	241
Иду по улице	242
Сонет вечернего порта	243
<i>Вилем Завада</i>	
Засыпающая женщина	244
За изгородью тишины	245
Стрекоза	246

Вырубленный лес	247
Зимнее	248
Женщина с младенцем	249
Suspigia	250
Старые привычки	253
За одним столом	254
Отдых	255
Незабудки	256
Летели дикие гуси...	257
<i>Олдржих Микулашек</i>	
Гана во время грозы	260
Цвет черешни	261
Дикие утки	262
Осенняя песня	263
Вороны	265
Борьба:	
I вариант	266
II вариант	267
III вариант	268
Выкликающий	269
Приговор	272
Упрёки	274
Первые горести	276
Финал	279
Деревенские похороны	280
Мимолетности:	
Цикл первый	281
Цикл второй	285
Цикл третий	288
Цикл четвертый	290
На последнем листе	292
Воскрешение	293
Лес	294
Точная игра	295
<i>Десанка Максимович</i>	
Над жизнью	296
Любовь	299
Змеиные глаза	300
Заклинание и молитва	301
Бранковина	303
Ожидание	304
Поэзия	306
Но и тебя прошу	307
Цвета	309

Весна Парун

Девичество	311
Первая любовь	313
Маслины, шиповник и облака	314
Уснувший юноша	315
Адам и Ева	317
Элегия сердцу	318
Сад	320
Когда б ты близко был	321
О ты, другая	323
Вечерние стихи	326
Река и море	327
Маслиновая роща	328

Стеван Раичкович

Они будили мир	330
Открой всю тишину	331
Букет	332
О, дай мне	333
Нити	334
Скончание солнца	335
Вид	336
Крепость	337
Картина в родительском доме	338
При расставании	339
Дом	340
Двойник	341
Дерево	342
На Невском проспекте	343
Этюд о Пастернаке и зиме	344
Набросок	345

Элисавета Багряна

Крик	346
Апрель	347
Святая	348
Встреча	349
Случай	350
Единственный	351
Два страха	352
Фонограмма	353
Долгоиграющая пластинка	354
Баллада о якоря	355

Миг его зрения	359
Пушкин. Лермонтов	362
Встреча	369
Вечное присутствие	373
Лермонтов	376
Чудная вечность	418
Слово о Пушкине	422
„О время, погоди!“	425
Позвольте поздравить вас	428
Прекрасный образ	432
О Марине Цветаевой	435
Божьей милостью	464
Поэзия — прежде всего	467
Жизнь Тициана длится	472

С Т А Т Ь И И В Ы С Т У П Л Е Н И Я

Стихотворение, подлежащее переводу	477
Из дневника	481
Грузинская поэзия будет всегда со мной	494
...К тайне первоначального звучания	498
Слово, равное поступку	501
Маленький экспромт в честь Большого театра	503
Однажды в декабре	506
Речь на церемонии вручения Пушкинской премии	508

П Р Е Д И С Л О В И Я К А В Т О Р С К И М С Б О Р Н И К А М,
Ж У Р Н А Л Ь Н Ы М И Г А З Е Т Н Ы М П У Б Л И К А Ц И Я М,
Г Р А М П Л А С Т И Н К А М

Я должна рассказать	521
„Потом я вспомню...“	525
Предупреждение автора	527
Минувший год	530
Краткое предисловие	531
Моим читателям	533
Авторский комментарий к стихотворению „Ларец и ключ“	536

Р Е Ц Е Н З И И

Счастливым дар доброты	541
Добрый и ясный свет	544
Блаженство чтения	547
Чудо танца	548

Вечно и повседневно	552
Сначала — музыка	554

„ П О С В Я Щ Е Н И Е Д А М А М И Г О С П О Д А М . . . ”

Посвящение дамам и господам, запечатленным фотографом летом 1913 года в Н-ской губернии великой Российской империи	559
--	-----

Комментарии	564
Библиография	585
Алфавитный указатель стихотворных произведений, помещенных в I—III томах собрания сочинений	590
Содержание	608

Белла Ахатовна Ахмадулина

СОЧИНЕНИЯ · ТОМ 3

Составители

Б.А.Мессерер, О.П.Грушников

Редактор В.И.Цветков

Художник А.Б.Коноплев

Корректор В.С.Антонова

ЛР №064604 от 22.05.96

ISBN5 – 901040 – 03 – 1

ЛР №060019 от 15.11.96

Формат 60x90 ¹/₁₆. Печать офсетная
Гарнитура NewBaskervilleС (ParaType)

Печ. л. 38,5

Тираж 5000. Заказ №5300

ООО «Издательство ПАН»

117321 Москва, а/я 76

ТОО «Корона-Принт»

125284 Москва,

Хорошевское шоссе, 2/1, стр.2

Отпечатано с оригинал-макета
в ордена Трудового Красного Знамени

ГУПП «Детская книга»

127018 Москва, Сушеvский вал, 49



У поэтического дара Беллы Ахмадулиной есть редкое достоинство – быть понятным и близким всем, не теряя ни в музыке стиха, ни в его глубине. Наследница и носительница классической традиции начала века, она всегда была и остается ей верной при любой общественной погоде.

Негромкий голос слышней, а сказанное им слово помнится – в этом эффекте предстоит убедиться всем, кто возьмет в руки новый трехтомник поэтессы. Голос Ахмадулиной узнаваем, его не перепутать ни с каким иным, ибо на многоцветной палитре российской поэзии ее краска светится своим особым цветом.

Альфа-банк, который неизменно следует своей традиции содействовать проектам, направленным на развитие и процветание отечественной культуры, имеет честь и удовольствие принять участие в выпуске нового трехтомника Беллы Ахмадулиной и надеется, что радость встречи с ее поэтическим талантом разделят многие и многие почитатели ее дарования.

*Белла
Ахмадулина*
СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 3

ПОЭМЫ

ПОЭТИЧЕСКИЕ ПОСВЯЩЕНИЯ
И ДАРСТВЕННЫЕ НАДПИСИ

СТИХИ ДЕТЯМ

ПЕРЕВОДЫ

ИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭЗИИ

ПОЭТ О ПОЭТЕ

СТАТЬИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЯ

РЕЦЕНЗИИ

«ПОСВЯЩЕНИЯ ДАМАМ

И ГОСПОДАМ ... »

Белла Ахмадулина

3

*Белла
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 3



Две белизны, причиняющие муку нежности, расстилаются передо мной: чистая страница и Москва после первого ночного снегопада. Наверное, эти две страсти, незримо и нерасторжимо связанные между собою, составили мою судьбу и душу: заманивающий и пугающий лист бумаги, не дающий отпуска и поблажки, и этот город во главе земли, без которой нет и не надо меня.

Я вижу крыши в снегу, проём между зданий, где подразумевается и неминуемо есть Тверской бульвар, небо над памятником Пушкину. Но зачем я это упоминаю? Не затем ли, что мне хочется сказать всё как есть, без прикрас и утайки? Получается, что я пишу письмо множеству незнакомых людей как единственному и близкому человеку. Может быть, к этой путанице и сводится точная цель моего ремесла: обнаружить наготу чувства и помысла перед тем, кто неведом, но родим.

Белла Ахмадулина